

Помните эту историю, когда где-то в Африке нашли древнюю скульптуру? Фотография женского лица обошла все газеты. Скульптуре было 12 тысяч лет, цивилизация времен Атлантиды, но не это было самым интересным, для нас, по крайней мере. Самое интересное было то, что она была как две капли воды похожа на лицо с пожелтевшего фото, которое каждый из нас хранил с самого детства.

ФАНТАСТИКА 1966

3

ВЫПУСК

# ФАНТАСТИКА

19

66







# ФАНТАСТИКА

1966

# СС

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



МОСКВА

ТАСТИКА

ФАН 

1966  

ВЫПУСК 

Д. Биленкин  
З. Юрьев  
П. Багряк  
М. Анчаров  
Н. Суханова  
Б. Зубков  
Е. Муслин  
В. Щербаков  
Р. Яров  
Р. Нудельман

P2  
Φ22

**Составитель В. РЕВИЧ**

# АНКЕТА СБОРНИКА «ФАНТАСТИКА, 1966»

[Адресуется читателям, систематически интересующимся научной фантастикой]

1. Что более всего интересует Вас в фантастическом произведении: сюжет, образы или научные идеи и проблемы? философские идеи и проблемы? социальные идеи и проблемы?
2. Помогают ли Вам фантастические произведения разобраться в современной действительности, в проблемах мира и нашего общества, в тенденциях научного прогресса? Если да, то какие и в чем?
3. Помогает ли Вам фантастика понимать, осмысливать новое в нашей жизни? Стимулирует ли фантастика Ваше личное творчество в области науки, изобретательства, литературы, искусств?
4. Какие проблемы занимают Вас? Какие из них советская фантастика отражает, по Вашему мнению, недостаточно?
5. Что, по Вашему мнению, могло бы способствовать дальнейшему развитию фантастической литературы, какие недостатки вообще имеет современная советская фантастическая литература?
6. Какие произведения современных советских писателей-фантастов Вам нравятся?
7. Какие произведения данного сборника Вам более всего понравились?
8. Укажите Ваш возраст, пол, образование, профессию.

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Кажется, Бальзак сказал, что предисловие романиста равно честному слову гасконца. Примерно так же надо оценивать вступительные слова составителей, которые принимаются расхваливать собранные ими произведения. Между тем отношение составителя ясно уже из самого факта включения той или иной вещи в книгу. Поэтому речь может идти только о представлении авторов.

Впрочем, даже в этом нет большой нужды, так как почти все имена, которые читатель найдет в третьем выпуске «Фантастика, 1966», ему, вероятно, знакомы. Это вовсе не означает, что здесь объединились маститые литераторы; как раз наоборот, авторы сборника весьма молоды, если даже не по возрасту, то уж, во всяком случае, по стажу работы над фантастической темой.

Предлагаемые произведения можно разбить на две примерно равные по объему группы.

К первой половине относится фантастика, озабоченная какими-либо серьезными проблемами, например научными, как в повести Д. Биленкина «Десант на Меркурий», или социальными у З. Юрьева. Конечно, не надо думать, что автор повести «Башня Мозга» воображает, будто машинная цивилизация кирдов, в которую внесли оздоровляющее смятение три советских космонавта, может и вправду существовать где-либо в просторах Галактики. Это всего лишь фантастическая модель обесчеловеченного, диктаторского общества.

Заметим, что З. Юрьев изменил своему амплуа — специалиста по зарубежной тематике (так зарекомендовал он себя прежними повестями, например, «Финансист на четвереньках», «Фантастика, 1965», выпуск I). Зато эстафетную палочку памфлета подняли на этот раз Б. Зубков и Е. Муслин. Они продолжили,

или, как говорят писатели-фантасты — большие любители научной терминологии, экстраполировали в будущее тенденции современного общественного развития капиталистических стран, где все сильнее расцветает промыпленный шпионаж и «контроль над мозгами».

М. Аничарова главным образом занимают этические, нравственные проблемы. В его новой повести «Голубая жилка Афродиты» действуют все те же «три мушкетера» — художник Якушев, поэт Панфилов и физик Аносов, которые были представлены читателям раньше, в частности в повести «Сода-солнце» («Фантастика, 1965», выпуск III).

Н. Суханова («Ошибка размером в столетие») выступает в фантастическом жанре впервые. Если до сих пор машина времени верно служила фантастическим героям комфортабельным транспортом для прогулок по векам, то Н. Суханова подошла к делу с новой стороны: она задумалась над тем, какое влияние на окружающее может иметь сама машина. Да, впрочем, была ли машина, может быть, никакой машины-то и не было, а мрачные картины изуродованного мира родились в воспаленном мозгу мелкого служащего Поля Хорди под влиянием неустройства окружающей действительности и острой неудовлетворенности собственной судьбой. Но как бы то ни было — мысль ясна. Точнее, даже две мысли: во-первых, человек несет ответственность за самого себя перед другими, он не может уйти от нее, «перепрыгнув» через препятствия и предоставив кому-то другому их устранение; а во-вторых, человек несет ответственность и за других, за весь мир, никакая «неприметность» не в состоянии освободить его от этой ответственности, он не может, не должен соглашаться на непродуманные, неизвестно к чему могущие привести эксперименты, какими бы невинными на первый взгляд они ни казались.

С небольшими рассказами — жанр, начавший умирать в фантастике, так как почему-то в последнее время все пишут только повести, — выступают совсем еще начинающий В. Щербаков и, наоборот, хорошо известный нашим читателям Р. Яров.

Однако рассказы Р. Ярова относятся уже ко второй группе. Ее составляет фантастика юмористическая, которая, впрочем, тоже занята серьезными делами, но решает их своими собственными веселыми способами. Конечно, такое деление в значительной степени условно: элементы пародии есть, скажем, и в памфлете Б. Зубкова и Е. Муслина. Но там авторы

не столько смеются, сколько негодуют. В повести П. Багряка, пародирующей традиционный зарубежный детектив с загадочным убийством и сыщиком-любителем, гораздо больше скрытой издевки, что послужило поводом для отнесения повести во вторую группу, хотя принадлежность ее к юмористике может и оспариваться. Впрочем, это не единственная неясность с П. Багряком. Данный автор, с которым читатели могли познакомиться впервые по публикации в журнале «Юность», — лицо не совсем обычное. К сожалению, вот все, что мы можем сказать: авторское вето пока не дает возможности расшифровать это, бесспорно, интригующее сообщение.

Мы совершенно уверены, что большинство любителей фантастики услышат впервые о многих советских писателях и книгах, прочитав большой критический обзор фантастики 20-х годов.

И наконец, отвечая на пожелания читателей, мы включили в сборник полную и вполне научную библиографию научной фантастики за два предыдущих года.

*В. РЕВИЧ*

## ДЕСАНТ НА МЕРКУРИЙ



Олынов знал, что к психологам в космосе относятся с иронией. Прежде всего потому, что редко кто замечал их работу. И не случайно: плох тот психолог, чья деятельность заметна для окружающих.

В этом были, конечно, свои минусы. Когда человека брали в полет на должность «врача-биолога-психолога», капитана несравненно больше интересовало, какой он врач и какой биолог. А зря! На последней конференции космопсихологов кем-то из выступавших был рассказал случай из практики. Ситуация была точно такой: чужая планета, посадка, нервная лихорадка пальцев... Психолог на том корабле был шляпой из шляп: хорошо зная капитана корабля Тугаринова, он тем не менее не удосужился провести профилактику. И в самый ответственный миг Тугаринов взял управление кораблем на себя!

Тугаринова вовремя оттащили. Но секунда, когда капитан руководил спуском на Венеру, кое-кому стоила седины в волосах. Даже стажеру известно, что человек с его медлительной реакцией, неспешной сообразительностью просто не в силах сам, без участия автоматов посадить корабль на незнакомую планету, что взяться в такой ситуации за рули — значит прямехонько улечься в гроб да еще захлопнуть крышку.

Конечно, поступок Тугаринова объясним. Трудно, очень трудно покорно лежать в кресле, когда решается: чет или нечет, победа или гибель. Решается автоматикой. Взвоешь! Не один Тугаринов, многие ворчали. А сорвался именно Тугаринов. Недоверие к автоматам? Ха... Не к автоматам, а к лю-

дям. Тем для космолетчиков безвестным, безымянным людям, которые делали всю эту аппаратуру. Тугаринова испортила былая слава — вот что. Высокомерие и самоуверенность таились в нем как болезнь; в опасную минуту наступил кризис.

И межпланетчик «погиб». Ему запретили летать, поместили в санаторий «чинить нервы».

Эти воспоминания всегда будили в Полынове злость.

Нервы! Сколько можно доказывать всем и каждому, что они требуют неизмеримо большей заботы, чем механизмы? И на Земле и в космосе. Особенно в космосе. Ладно, пусть тот же Бааде считает психолога кустарем, пусть! Шумерин, конечно, не чета Тугаринову, но на всякий случай он, Полынов, обязан позаботиться, чтобы сейчас капитаном не овладели ненужные мысли.

— Интересно, — сказал Полынов, — каким окажется Меркурий?

— Обыкновенным, — ответил Шумерин, не задумываясь. Его руки отдыхали на подлокотниках кресла. — Мы знаем о Меркурии почти все. АМС-51, АМС-63, я уже сбился со счета, сколько их там побывало.

Бааде, севший было за расчеты, поднял голову.

— Ты, Михаил, не романтик. Сухарь ты. На встречу с новой планеты, — он важно поднял палец, — надлежит идти как на свидание с Прекрасной Незнакомкой.

Иногда трудно было понять: иронизирует Бааде или говорит серьезно.

— Правильно, — подзадорил Полынов, — пока не поздно — почитай Блока. Способствует настрою. А то какой в тебе будет азарт, когда ты впервые вступишь на Меркурий?

— К чему мне все это, я не мальчишка...

— А солидный капитан-межпланетник, — подхватил Полынов. — Между прочим, я однажды слышал хорошие слова: «Мы стареем потому, что стыдимся молодости».

Шумерин что-то пробурчал и протянул руку к киберштурману, давая понять, что ему некогда.

— О, это колоссальная мысль! — проронил Бааде, качая головой.

— А вы вспомните, — не выдержал Шумерин, — каким нам представлялся Марс! Необыкновенным, таинственным. Прилетели. И ничего особенного.

— Вот это да! — Бааде снова оторвался от расчетов. — А епихордизация, например?

— Я не о том, поймите. Для ума там много интересного. И на Венере тоже. Я же говорю о чувственном восприятии... Небо, песок, горы... Похоже, все похоже!

— И ты разочаровался? — Психолога заинтересовал разговор. Он открывал в капитане что-то новое.

— Разочаровался — не летал бы. Просто я не жду встречи с Прекрасной Незнакомкой, как вы только что выразились.

— Правильно, — сказал Бааде. — Правильно! Дважды два — четыре, и никаких гвоздей. Все остальное эмоции, я тоже так считаю.

Полынов ничего не сказал. Он вслушивался. Рубку всегда наполнял легкий стрекот — лишнее напоминание о титанической работе, которую ведут спрятанные за панелями и кожухами приборы: тысячи, миллионы всяких там реле, схем и прочих деталей электронной кабалистики. Теперь стрекот чуть усилился. Значит, жди сигнала посадки.

— Знаешь, Михаил, кто ты? Думаешь, скептик? Межпланетный Нечорин? Ничего подобного. Ты примитивный мистик, как тот школьник, который твердит перед экзаменом: «Провалюсь, провалюсь», в надежде, что судьба любит поступать на перекор.

Молчание. Шумерин смотрит в обзор.

— Яша, у нас, по-моему, еще масса дел, — наконец проговорил он. Вежливый подтекст: «Я занят, ты мне мешаешь».

«Все в порядке», — решил психолог. — Теперь он будет переживать. Переживай, переживай, это заставит тебя забыть о своем положении Ионы во чреве кита.

Меркурий уже напоминал о себе. Органы чувств корабля ощущали его близость. Поверхность планеты ощупывали импульсы радаров; разглядывали глаза телескопов — пристально, километр за километром; пальцы дистанционных анализаторов, управляя бомбозондами, шарили в атмосфере. Ничего этого люди не видели и не слышали: все представляло перед ними в препарированном, дистиллированном образе цифр, знаков, электронных символов. Впрочем, люди могли любоваться серебристым, слегка затуманенным, быстро растущим серпиком планеты. Или следить за ускоренным бегом цифр и знаков, чтобы поправить корабль, если нужно. Но этого, как правило, не требовалось.

Когда до поверхности осталось совсем немного, включилось еще одно реле, ибо пришло время напомнить людям, чтобы они сделали то-то и то-то. Зажглось табло, прозвучал сигнал, кресла пришли в движение, занимая противоположное положение. Все захлопотали.

Послышалось гудение, оно охватило весь корабль — заработала тормозная установка. Огромный корабль первого класса «Александр Невский» падал вниз: туда, где был невидимый Меркурий. Но люди могли видеть небывалое — первую посадку на эту планету — опять лишь в зеркале осциллографов, в электронных рисунках кривых.

Перегрузка росла. Вопреки этому, вопреки растущей тяжести они ощущали падение, от которого холодело в груди. Они падали из космоса, из пустоты, и она уходила из-под ног, разваливалась, крошилась; сжавшееся тело невольно ждало удара.

Он не замедлил последовать.

\* \* \*

Конечно, смешно было назвать его ударом: просто толчок. Как при внезапной остановке лифта. Но его слишком долго ждали.

Спинки кресел приподнялись и посадили их. Шумерин вытер пот.

«Пожалуй, мы так избалуемся, — подумал Полынов. — Летели, летели — томились; сели в кресла, поволновались чуть-чуть; толчок — здрасьте! — Меркурий! Пассажиры могут выйти...»

Но выйти они пока не могли. Нельзя было открыть люк, покуда автоматы не проведут разведку по «форме № 7». Замеры радиации, напряженности полей, пробы на присутствие вирусов, невесть что еще, пулеметные очереди цифр и символов в окошке анализатора, прежде чем загорится зеленый огонек и электронный мозг голосом хорошенечкой стюардессы объявит: «Выход разрешен. Необходим скафандр №...»

Они стояли друг против друга, смущенно улыбаясь и решительно не зная, как держать себя в такую минуту. Хорошо, Бааде умудрился обезвредить киноаппарат, который автоматически срабатывает при посадке и запечатлевает для истории их лица.

— Включите-ка звукопеленгатор, — нашелся Полынов.

Шумерин пожал плечами (какой может быть звук в столь разреженной атмосфере?), но просьбу выполнил.

Звук, однако, был. Космонавты переглянулись. Первый услышанный ими на Меркурии звук донельзя напоминал что-то.

— Похоже на шуршание сухих листьев, — определил Полынов.

— Вот-вот, — не удержался Шумерин. — Летели на край света послушать шелест осенних листьев.

— Согласитесь, однако, что мы не ожидали этого. Неужели ветер?

— Скоро узнаем.

Когда ждешь, время обретает тяжесть, от которой болят плечи. Шумерин уже начал переминаться с ноги на ногу.

Наконец кибернетическая «стюардесса» смилиостивилась. Она подтвердила, что человека за бортом не поджидает никакая опасность.

— Вы — первым, — почему-то переходя на «вы», сказал капитану Полынов.

Он стоял у люка и смотрел, как Шумерин медленно и неуклюже спускается вниз.

Психолог впервые высаживался на планету, где никто еще не бывал. Сбывались детские мечты, но тогда все представлялось, разумеется, не так. Как именно, помнилось плохо. Кажется, все выглядело лазоревым, сердце сжималось и ликовало от счастья. Вероятно, так. Был ли он счастлив теперь? Полынов остерегался ответить: все слишком спокойно и буднично. Немного тревожно, как при взгляде с большой высоты. Но разочарования ни малейшего; может быть, так оно и выглядит — счастье большого свершения?

Почва была необычной. Прежде всего нерезкой по цвету, словно на нее смотришь сквозь запотевшие стекла шлема. Над гладким и серым, похожим на асфальт покровом возвышались иссиня-черные камни. Их удлиняли тени. И так всюду. Черные камни в оправе асфальта.

Естественно, Шумерин прицелился ступить на ровную площадку. Немного поколебался, видимо, и его смущала странная нерезкость окружающего. Высоко занес ногу, откинулся голову и шагнул, как на церемониальном марше.

И едва не упал, потому что нога ушла в «асфальт» по щиколотку. Взвился дымок.

Бааде и Полынов, не выдержав, расхохотались чуть более нервно, чем того требовали обстоятельства.

— Вот так штука! — присвистнул Шумерин, согнувшись. — Это же пылевое облако!

Космонавты сбежали вниз. Да, капитан не ошибся: «асфальт» был плотным облаком пыли, сухим туманом, закрывающим выемки почвы.

— Ну, это понятно, — Бааде поднялся с колен и машинально обмахнул их перчаткой. — Почва нагрета до двухсот градусов, сила тяжести невелика. Вот пылинки и исполняют танец броуновского движения.

Разглядывать дорожные пейзажи всегда было для Полынова наслаждением. Тем более он мечтал о мгновении первой встречи с Меркурием. Но сейчас, чем далее он вглядывался в пейзаж чужой планеты, тем сильней в нем росли безотчетное раздражение и неприязнь.

Огромное солнце опиралось на горизонт Меркурия стеной белого пламени. Такой яркой, что он плавился и прогибался, как под тяжестью. Равнина вдали мутно пылала, подожженная нестерпимым светом.

Вверху застыло черно-фиолетовое небо. В космическом холде медленно шевелились багровые языки протуберанцев. Оттого еще более усиливалось впечатление развернутой печи, готовой обрушить на Меркурий жар и пламя.

Но от Солнца отлетали жемчужные крылья короны; в их взмахе таилась прохлада сумерек. Неистощимый полдень, непроглядная ночь, мягкий вечер — все соседствовало в противовесственном контрасте. Меркурианский воздух мерцал и светился, пропитывая собой и свет и тень. Как мгла, хоть это и не было мглой. Неосязаемый трепет пространства, дрожание эфира — этому не было точного имени. Все смотрелось нечетко и зыбко, как сквозь струящуюся пелену, которую так и хотелось сбросить.

— Черт! — выругался Полынов, отчаянно мигая. Глаз невольно учащал движение век, чтобы устранить помеху — стереть несуществующую слезу.

Остальные чувствовали то же самое — досаду и раздражение. Разум почему-то не хотел принимать того, что видел глаз; это было незнакомым и неприятным ощущением.

— Никак не могу понять, что же это такое, — вздохнул, наконец, Шумерин.

— Просто мы внутри газосветовой трубы, — щурясь, сказал Бааде. — Или внутри полярного сияния, если так больше нравится. Разреженная атмосфера, близость Солнца и, как следствие, высокая ионизация газов. Вот и все. И между прочим...

Он обвел взглядом друзей.

— ...Между прочим, мы превратились в святых.

Он протянул руку, и тогда все заметили, что над шлемами горят еле заметные лучистые нимбы. Огоньки бежали и по корпусу корабля.

— Электризация! — догадался Полынов.

— Точно. И знаете, что мы приняли за шорох листьев? Потрескивание этих самых искр.

— Могли бы сразу догадаться.

— Конечно.

— Но какой вид у Меркурия...

— Неуютный.

— Верно...

Они долго переговаривались так, потому что дольше разглядывать Меркурий почему-то не хотелось, а признаться в этом было неловко. Здесь ничего не значили обычные оценки. «Прекрасный», «жуткий» — эти и подобные им слова не годились. То был воистину чужой мир, требующий новых определений.

Но они прилетели исследовать, а не любоваться пейзажами и потому не придали первому впечатлению особого значения. У них были программа, задачи и цель. Эмоции не имели к этому ни малейшего отношения, так им казалось.

\* \* \*

Шумерин хозяйственным взглядом окинул площадку. Порядок. Блестит сейсмограф, похожий на гигантскую канцелярскую кнопку, включенную в почву; если местности будет грозить землетрясение, то благодаря сейсмографу они узнают о нем заранее. В тени скалы притаились счетчики Черенкова. Ливень космических частиц их тоже не застигнет врасплох. Правда, такие же приборы дежурят и на корабле, но инструкция есть инструкция.

Иначе нельзя, никак нельзя. Они не беззаботные туристы.

Им, как альпинистам, нужны страховка, невидимые помочи в руках у тех, кто послал их вперед.

Вся площадка поблескивает усиками, проводами, чашами антенн, оскаленными пастьми газозаборников. Стадо умных механизмов. Нет, скорей плантация диковинных растений, взращенных усилиями тысяч умов. На ней зреет урожай информации. Садовник, наконец, может уйти: урожай вырастет без него.

Но сколько времени потеряно! Зря или не зря? Если не считать двух-трех приборов, остальные либо дублировали работу корабельных установок (для сопоставления результатов!), либо вновь и вновь уточняли, дополняли, перепроверяли сведения, полученные от автоматических станций, сброшенных ранее. Все это было нужно, необходимо, но они лишились по крайней мере двух экскурсий в глубь планеты. Обидно, по-человечески обидно. Хочется идти, смотреть, ощущать, переживать. А цифры везде одинаковы. Что здесь, что на Земле, что в другой галактике.

И к чему вообще, если вдуматься, сводится их роль первооткрывателей? Надзиратели за умными машинами? Экскурсанты, которые осматривают планету, по ходу дела подтверждая данные, полученные от автоматов?

Нет, конечно, он не прав. Цифры безгласны и мертвы. Что такое сама по себе «температура плюс сорок градусов по Цельсию», скажем? Пустой звук. Лишь ощущения человека оживляют ее. Сухость губ, рубашка, прилипшая к телу, горячая кровь, стучащая в сердце, и многое, многое другое связывается тогда с ней.

Меркурий еще не коснулся души человека, так-то вот. Автоматы открыли его для разума. Но только люди откроют его для чувств. Нельзя любить, ненавидеть абстракцию. Нельзя жить в мире графиков и физических величин, если он не обжигт сердцем. Нельзя расселить ум и чувство по разным квартирам — человеку станет плохо, сквозь душу пройдет трещина. Что-то останется в прошлом среди идиллии лесов и пашен, а что-то уйдет в будущее, поселятся на голой пустыне фактов.

Им обживать Меркурий. Им открывать его для человека. То, как они это сделают, — от этого зависит, станет ли человечество богаче. Богаче красками, волнением, пониманием природы и себя в природе. Мир должен стать щедрое, гармоничней, яснее после их полета.

— Капитан, вездеход подготовлен.

Бааде и Полынов приближались к нему, и странно было видеть, как их ноги, погружаясь в тень, исчезают там, словно обрубленные, и люди в блестящих скафандрах повисают над пустотой. Бааде и Полынов уже миновали тень. Теперь солнце оказалось за их спиной, и они мгновенно превратились в бесплотные силуэты.

— Зайдите сбоку, — попросил Шумерин, — неприятно разговаривать с дырками в небе.

Они засмеялись. Они никак не могли привыкнуть к дикой светотени, уродующей любой предмет. Правда, если вглядываться, скраденные очертания затем вновь проступали из мрака зеленоватыми пятнами. Но это если вглядываться.

— Так в путь, капитан? — спросил Бааде, поворачиваясь боком. — Двигаться, наблюдать, хорошо-то как!

— Сначала отдых и сон, — остановил его Полынов.

Бааде посмотрел на психолога осуждающе.

— Слово врача — закон, — развел руками Шумерин.

Бааде заворчал, Шумерин повернулся к ракете, давая понять, что спор излишен.

Тут-то Шумерин и увидел это.

Оно надвигалось из темного полушария Меркурия бесшумно и быстро. Серая полоска чего-то.

Условный рефлекс опасности сработал тотчас.

— Берегитесь! — предостерегающе закричал Шумерин.

В полоске не было ничего угрожающего, кроме того, что она приближалась и была неизвестно чем.

— К кораблю! — Шумерин зачем-то топнул ногой.

И они побежали, но нехотя, то и дело оборачиваясь, ибо все еще не могли принять опасность всерьез.

Переход от невозмутимого спокойствия к тревоге и к бегству был так стремителен, а перемена настолько неправдоподобна, что разум упорно отказывался в нее поверить.

Близкий горизонт Меркурия мешал определить расстояние до полоски. Впрочем, это уже не было полоской. То был вал, который рос, ширился и мчался, вставая стеной и смахивая звезды.

— Приборы... — вспомнил Бааде, когда они достигли люка.

Приборы оставались беззащитными.

— На гребне — пена... — сказал Полынов.

И тут они поняли, на что это похоже. На воду. И это было

самым невероятным. По раскаленной равнине катился вал воды, серой осенней воды с хлопьями пены на гребне... Солнечный свет тонул в ее вогнутой поверхности, местами отражаясь хмурыми бликами. Впрочем, многое дорисовывало воображение. Проклятое мерцание, как назло, было необычайно сильным.

— Люк! — закричал Шумерин.

«Правильно, — успел подумать Полынов. — Приборы — дело десятое».

Массивный люк щелчком захлопнулся за ними. Насосы с шумом послали внутрь камеры струи воздуха. Тени, отбрасываемые лампами потолка, быстро теряли космическую черноту, становясь прозрачными, земными. И с той же быстротой к людям возвращалось спокойствие.

— В рубку, — сказал Шумерин, когда шум насосов смолк.

Они ждали толчка. Ждали и верили, что он окажется несильным, — корабль был слишком могучим препятствием для вала. Но толчка не было. Никакого. Ни слабого, ни сильного.

— Ну, знаете... — сказал Шумерин, когда шторки иллюминаторов раздвинулись.

Кругом было пусто. Гладкая равнина в грифельных пятнах теней. Ни малейшего признака промчавшегося вала.

Бааде тупо посмотрел на Полынова, тот на капитана. Шумерин пожал плечами.

— Чушь какая-то...

— Надо разобраться в феномене, — сказал механик.

— В двух, — уточнил Полынов. — В том, откуда взялась... гм... жидкость, и в том, куда она делась.

Разбираться им было не привыкать. Разбираться им приходилось часто в самых неожиданных и сложных ситуациях.

— Итак? — настаивал Шумерин.

— По-моему, все просто, — начал Бааде, постепенно обретая уверенность. — С неосвещенной стороны Меркурия на нас ринулся поток жидкости неизвестного состава. Это первый факт. Нам известно, что в темном полушарии есть ледники замерзших газов различного состава и озера у подножья гор. Это факт номер два. Отсюда следует, что в силу каких-то причин там прорвало запруду. Меркурианское наводнение — вот как это называется.

— Генрих, да ты поэт простоты! — воскликнул Полынов. — Есть только одна неясность: почему эта жидкость не кипела,

выйдя на освещенную равнину? И почему она вдруг исчезла?

— Выходит, две неясности, — невозмутимо уточнил Бааде. — Итак, почему эта проклятая жидкость не кипела в условиях повышенной температуры и низкого давления...

Со стороны их разговор производил, вероятно, странное впечатление. Люди, только что пережившие сильное потрясение, спокойно сидят друг против друга и спорят так, будто решают абстрактную, академическую задачу. Без лишних эмоций и лишних слов, совсем как логические машины. Но в космосе это был единственный возможный стиль поведения. Всякая отсебятина влекла за собой потерю времени, иногда невозвратимую.

— Отвечу на вопрос, почему она могла не кипеть, — продолжал Бааде. — Во-первых, она кипела. Вы обратили внимание на усиление мерцания? Разумеется, оно было вызвано сильным испарением, другого объяснения я не вижу. Во-вторых, опыты Николаева — Графтена с жидкими газами переменного состава (а нам, подчеркиваю, неизвестен состав жидкости) показывают, что в определенных условиях ряд промежуточных соединений благородных газов играет роль замедлителей испарения. Это лабораторный факт.

— Однако висячное исчезновение...

— Не висячное. Мы были лишены возможности наблюдать поток в течение нескольких минут. Бессспорно, в начале своего движения он имел низкую температуру. Быстрота движения замедлила его прогрев. Но рано или поздно температура массы жидкости должна была достичь критической точки, при которой жидкость быстро и даже мгновенно (зависит как от состава, так и от внешних факторов) превращается в пар. Вот почему не было толчка.

— Могучий ум физика! — Полянов обрадованно хлопнул Бааде по плечу. — Недаром говорят, что математика может объяснить все.

— Генрих выдвинул стройную гипотезу, — сказал Шумерин. — И у нас есть объективный свидетель, который может подтвердить ее или опровергнуть.

— Кто?

— Газоанализатор.

Полянов тотчас встал.

— Пойду посмотрю.

- Можно запросить корабельный, — сказал Шумерин.  
— Нет, Полынов прав, — остановил его Бааде. — Корабельный расположен слишком высоко.  
— Я быстро, — сказал Полынов.

Капитан и механик, припав к иллюминаторам, смотрели, как Полынов спрыгнул вниз, как он подошел к газоанализатору, как возился с кассетами. Наконец психолог выпрямился и несколько секунд озабоченно смотрел на прибор.

- Он нашел что-то интересное, — сказал Бааде.  
— Да, — согласился Шумерин.

Полынов вернулся.

- Ну? — хором спросили оба.

Утвердительный кивок был ответом.

- Состав? — потребовал Шумерин.

— Сложная смесь из соединений гелия с азотом, неоном и водородом. Мне жалко было портить пленку, вот запись на бумаге.

Бааде перехватил листок.

— Николаев и Графтен будут довольны, — сказал он, пряча его в карман.

— Прости за нескромный вопрос, — сказал Шумерин. — Почему ты медлил с возвращением?

— Что? — не понял Полынов. — А... Меня удивил состав жидкости. Нейтральные газы не так-то легко образуют соединения, тем более такие.

— Нет, все-таки биологи неисправимый народ, — расхохотался Бааде. — Сильная радиация увеличивает реакционную способность вещества.

— Ах, так! Ну, тогда все в порядке. Какие будут распоряжения, капитан?

— Как и намечали, — ответил Шумерин, — отдых, сон, потом разведка.

- Согласен, — сказал Полынов. — Только...

— Что?

— Сначала мне нужно проверить здоровье всех.

— Яша, ты никогда не был педантом и рабом инструкций, — удивленно поднялся Бааде.

— Капитан, я настаиваю.

— Тебе видней, — пожал плечами Шумерин. — Хотя я не вижу необходимости, но... Ты опасаешься чего-нибудь?

— Нет, я ничего не боюсь. Но в ушах у меня все еще звонит твой крик: «Берегитесь!»

— Теперь я тоже настаиваю на проверке, — сказал Шумерин. — Экипаж начинает нервничать.

\* \* \*

— Кто согласен остаться? — спросил Шумерин. Он заранее предвидел, что добровольца не будет, и готовил себя к неприятной обязанности сказать одному из друзей: «Останешься ты».

Но вопреки ожиданию согласился Полынов.

Бааде посмотрел на него с изумлением.

— Люблю самопожертвование.

— Кому-то надо остаться, — отвернулся Полынов. — Лучше мне. Для биолога на Меркурии нет работы.

— А уж мы постараемся, чтобы ее и для врача не было! — пообещал механик.

Лязгая гусеницами, вездеход съехал по наклонному пандусу. Рядом с ракетой он казался скорлупкой — эта машина с атомным сердцем, похожая на старинный танк.

Шумерин и Бааде сели. Полынов помахал им вслед. Взмах руки метнулся по почве черной молнией. И когда вездеход скрылся, психолог внезапно почувствовал себя маленьким и беззащитным, как ребенок в пустой и темной комнате. Он заторопился к люку.

\* \* \*

Вездеход мерно покачивало. Он шел прямо к солнцу, и стена белого пламени постепенно приподнималась над горизонтом, пока не повисла слепящим сгустком.

Однообразный пейзаж — серый покров пыли, обожженные бока глыб, мозаика светотени — менялся. Казалось, они ехали прямо в огонь, и он развертывал перед ними слепящий ковер. Иногда это походило на скольжение по зеркалу, яркому, отражающему свет зеркалу. Даже светофильтры не могли его притупить.

Зеленоватое свечение неба померкло вовсе. Теперь, по контрасту, оно было совершенно черным, и звездная пыль в нем выглядела как отблески.

Солнце поднималось им навстречу. Оно, будто чудовищный огненный краб, ползло к зениту. Тени исчезли. Все стало гладким, отполированным.

Люди молчали. Не хотелось говорить, трудно было говорить.

Они проехали мимо необычной гряды. Длинные прозрачные кристаллы кварца, как пики, были устремлены к солнцу. Острием к свету, чтобы доля энергии, поглощаемой минералом, была наименьшей. Здесь даже камень боялся солнца.

Появление кристаллов ненадолго оживило путешественников.

— Свет и смерть, здесь они равнозначны, — сказал Шумерин.

— Самое горячее место на всех планетах, — добавил Бааде. И разговор оборвался.

Даже в космосе, а уж на Земле тем более, они чувствовали наполненность времени. Десять минут, час — эти слова всегда что-то говорили уму. Сейчас — ничего. Уже и такие понятия, как «меньше», «больше», теряли здесь смысл. Меньше чего? Больше чего? Как можно было ответить на эти вопросы в мире, где ничто не менялось и ничего не происходило, где солнце всегда стояло на месте, свет никогда не ослабевал, а любая точка пространства неизменно оставалась неподвижной! Как можно осознать течение времени, находясь, как бы быстро ни шел вездеход, в центре ровного круга, строго очерченного чернотой неба?

И еще — жара. Она проникала со светом, ее усиливало воображение — ведь за стенкой могло бы плавиться олово. Человеку не обязательно требуется бросить взгляд на солнце, чтобы ощутить боль в глазах. Достаточно в кромешной темноте представить солнце.

Однако Бааде не поворачивал руля, а Шумерин не возражал против бездумного бега в огонь. Жадное, почти гипнотическое стремление видеть, видеть: а что будет дальше, — растворялось в прострации безвременья.

И вездеход, а в нем застывший у руля Бааде, застывший рядом Шумерин летели вперед, углубляясь все дальше в сверкающую бесконечность.

— Генрих, Миша, куда вы так далеко?

Встревоженный голос Полынова в динамике точно разбудил их от сна.

Они задвигались, Шумерин глянул на счетчик спидометра и выругался.

— Ничего, Яша, сейчас поворачиваем, все в порядке! — прокричал он в микрофон.

— Хорошо, — слова почти тонули в треске помех. — А то я слежу за пеленгом и никак не возьму в толк, почему вы лежите в пекло против расчетного маршрута.

Шумерин хотел ответить, что это вышло невольно, но сдержался: психологу лишь дай повод — вцепится.

— Нет, нет, Яша, все в порядке. Просто очень интересно. Потом расскажу.

Он выключил связь.

— Знаешь, — сказал Бааде, круто разворачивая машину, — я человек трезвого склада. Все эти эмоции у меня вот где, — он сжал кулак. — Но сейчас мне вспомнилось...

— Что?

— Как я мальчишкой в деревне ходил на лыжах. Заберемся далеко-далеко, снег слепит, кругом голо, пусто, холодно, и местность уже незнакомая, и дома ждут, беспокоятся, а все тянут вперед... Ну же, еще десять шагов, еще сто... Глупо, боязно, не нужно, а идешь. И жутко и, ах, как славно. Почему так?

— Спроси у Поляниова. Он специалист и с радостью покопается в твоих переживаниях.

— Наших, Миша, наших!

Теперь обрубленная тень вездехода бежала впереди них. Словно привязанная к колесам яма, словно черный провал без дна и стенок.

— Она действует мне на нервы, — наконец пожаловался Бааде. — И еще это противное мерцание...

Внезапно — механик даже притормозил — небосвод колыхнулся, как занавес, пошел складками. Звезды дрогнули, сбиваясь в кучи. Упругие складки налились белесым светом и, точно под его тяжестью, вдруг лопнули, бросив вниз жидкие ручьи сияния.

Перемена свершилась за несколько секунд.

— Полярное сияние? — спросил Шумерин.

— Похоже, — Бааде бросил взгляд на табло приборов. — Так оно и есть.

— На Земле оно, пожалуй, эффектней.

— Точно.

Шумерин ждал игры красок, багровых сполохов, праздничного хоровода, но с неба по-прежнему лился молочный свет, холодный и ровный, как свечение газосветной трубы. От него на душе становилось неуютно и холодно, как ненастным утром, глядящим в окно неприбранной комнаты. «И никуда ты не уйдешь от Земли, — подумалось Шумерину, — от ее воспоминаний, окрашивающих все и вся».

Сияние потихоньку меркло.

И снова начался бег через жару, под черным небом, единоборство с тенью, сухостью губ, дрожание света. Однообразие нагоняло сон, тем более что взгляду было утомительно бороться с призрачным движением воздуха, искажающим перспективу подобно неровному стеклу. Напрасно Шумерин стыдил себя: «Я же на Меркурии, все, что я вижу здесь, — впервые...» Физиология брала свое.

...Толчок, удар локтем, крик Бааде. Сердце быстро заколотилось, как это бывает при резком переходе от полусна к тревоге.

— Там, там... — шептал Бааде.

— Что там? — зло спросил Шумерин, потирая локоть.

Бааде показал. Посреди слепящей равнины стоял концертный рояль.

Шумерин замотал головой. Потом достал термос, набрал в ладонь воды и плеснул себе в лицо.

Рояль не исчез. Нестерпимо сверкали его лакированные бока, крышка была приподнята, клавиши словно ждали прикосновения пальцев.

— Он... появился сразу? — решился, наконец, спросить Шумерин.

— Нет, из пятна... Я думал, мне померещилось...

— Ну и?..

— Этого не может быть.

— Сам знаю! Но кто из нас сопел с ума: мы или Меркурий?

— Подъедем ближе.

— Только осторожно.

Шумерин ждал, что с приближением рояль исчезнет. Но ничего не происходило. Плыл горизонт, перед глазами мельтешило белесое марево, и в нем незыблемо стоял призрак рояля.

— Надо выйти, — сказал Бааде.

— А ты не боишься?

В ответ он услышал хмыканье.

Они надвинули шлемы и вышли. Тотчас Шумерина потянуло назад. Черная пропасть неба над головой, огненный камень внизу, в посредине — то, чего быть не могло: концертный рояль. Шумерин прикусил губу и сделал шаг вперед.

Рояль был рядом. Шумерин протянул руку. Она свободно прошла сквозь полированное дерево. Шумерин отдернул руку — не выдержали нервы.

— Проклятие! — крикнул Бааде.

По «роялю» прошло колебание, он дрогнул, подался назад. И исчез. Теперь на его месте пульсировал воздух.

Они долго молчали, не решаясь посмотреть друг на друга, боясь увидеть в глазах товарища страх.

Если бы они не так рвались вперед и не были бы так погружены в раздумье, а верней, в сумбур мыслей, они, верно, заметили бы, что вокруг неладно. Они опомнились, лишь когда ослепительная, даже на фоне раскаленной равнины, полоска стала приближаться к машине. Она придвинулась, и уже нельзя было не заметить прозрачных напросвет языков огня.

— Ну... — только и смог сказать Шумерин.

Быстро и верно действовать можно, когда известно, против чего надо действовать. Но то, что происходило, было выше понимания капитана. Сжималось не просто кольцо опасности; сходился круг непонятного, против которого опыт был бессилен. И Шумерин ждал, тупо глядя перед собой. Просто ждал: что же будет дальше?

Бааде было трудней вывести из равновесия. Он выключил двигатель, отдуваясь, вытер пот и с минуту вглядывался приструясь.

— Кажется, мы влипли. Это лава, и она приближается к нам. Не слишком ли много неожиданностей за раз?

Шумерин встрепенулся.

— Лава? Ты уверен, что это лава?

— Я не слепой. Правда, в глазах у меня рябит, но это лава. Характерные вздутия, языки пламени, вон курится газ...

Шумерину вдруг стало легко и радостно. Настолько, что он чуть не рассмеялся. Действительно, лава, просто лава, всего только лава!

Предусмотрительный Бааде остановил вездеход на возвышенности, поэтому лава бурлила и лопалась пузырями на безопасном расстоянии. На секунду закралось сомнение: откуда

она могла взяться? Нет, нет, чушь, пуганая ворона и куста боится. Трецинное излияние, которое не раз наблюдалось на Меркурии. Обыкновенное, нормальное излияние расплавленного базальта. Как хорошо, когда все понятно!

Кое-где виднелись такие же островки. Но лава прибывала. Она могла подняться выше. А если и не поднимется, то сколько им придется ждать, пока она затвердеет? Во всяком случае, больше, чем они могли себе позволить. Ого, надо всерьез подумать, как быть.

— У нас есть шансы изжариться, — заметил Бааде, котому пришли те же мысли.

— Пустое, — теперь уже спокойно возразил Шумерин. — Вызовем Полынова, он прилетит и снимет нас. Места для реалета достаточно.

— Да, если лава не поднимется.

— Что, ты не знаешь Полынова? Он умудрится сесть на крышу вездехода. Вызови его.

Сквозь хрипы и треск сигналы пробивались с трудом. Видимо, это было следствием все той же электромагнитной бури, которая заставила небо полыхнуть сиянием. Упрямо, с ювелирной точностью Шумерин настраивал волну. Бааде тем временем без особого удовольствия отметил, что лава все-таки поднимается. Ее поверхность кое-где расцветили пятнами красные островки остывающей коры, меж ними пробегали голубоватые огоньки.

— Красивое зрелище, — пробормотал он. — Что, связаться не удается?

Но тут отчетливо, будто Полынов очутился в кабине, послышался вопрос:

— Сознавайтесь, черти, почему застрияли?

Шумерин коротко объяснил.

— Понятно, понятно. Сейчас запущу телезонд и немедленно вылечу.

Шумерин довольно подмигнул.

— Вот и все.

Он откровенно наслаждался ясностью ситуации. Такая опасность, как появление лавы, была ему по душе, хотя бы уже потому, что загоняла в дальний угол памяти необъяснимую историю с роялем.

Сверкающей каплей ртути по небу прокатился телезонд. Снизился, замер над вездеходом.

— Послушайте, — донесся голос Полынова, — лава еще не подступила к вам?

— Нет, места для реалета пока хватает, — удивленно ответил Шумерин. — А что, тебе плохо видно?

Ответ последовал не сразу. Полынов явно медлил.

— Вот что, — сказал он наконец. — Не обращайте внимания на пустяки. Гоните машину сквозь лаву. Если только снаружи температура не будет повышаться.

Шумерин вдруг понял.

— Полынов! — закричал он. — Что происходит с нами?

— Все в порядке. Смело езжайте.

— Я что-то перестаю соображать, — пробормотал Бааде. Его глаза растерянно искали поддержки. — Или мы... Или он...

— Неважно, включай!

Бездеход, покачиваясь, сполз. Шумерин ухватился за поручни, не отрывая взгляда от термоскопа. С приближением к раскаленной жидкости температура не повышалась.

Бааде выругался и прибавил скорость.

Гусеницы машины коснулись лавы, и она расступилась. Бездеход мчался посреди голубых факелов, и перед ним раздвигался проход.

— Теперь, — подытожил Шумерин, — самое лучшее для нас — закрыть глаза и не открывать их до ракеты, что бы ни творилось вокруг.

\* \* \*

По настоянию Шумерина иллюминатор был зашторен. Помесячи уютного мирка, образованного четырьмя стенами, на столе пускал струйки пара кофейник.

Шумерин то вставал, то садился, отхлебывая кофе, обжигался, не глядя, ставил чашку обратно (вокруг уже образовалась лужица) и снова тянулся к кофе.

— Нет, Яша, ты скажи прямо: мы... здоровы?

Полынов неторопливо размешивал сахар, медлительно набирал в ложечку кофе, осторожно дул на нее, сливал обратно, не попробовав. Шумерин невольно следил за движениями психолога. Его руки, которые беспокойно рыскали по столу, хватая то солонку, то ложечку, легли, наконец, спокойно.

— Так-то лучше, — удовлетворенно кивнул Полынов, отодвигая чашку. — Что ж, я отвечу прямо: вы оба совершенно здоровы.

— Почему ты так уверен? — сказал угрюмо молчавший Бааде. Он методично пил кофе, чашку за чашкой, не замечая ни количества выпитого, ни кофейной гущи.

— Во-первых, я не случайно настоял на проверке вашего здоровья перед отправлением в экспедицию. Немножко была повышена нервная возбудимость — и только. Сие вполне объясняется необычностью обстановки и неожиданным появлением вала.

— Какого вала? — не сразу понял Бааде.

— Того самого, который потом испарился.

— Ага! Я успел позабыть о нем.

— Напрасно. Во-вторых, моя убежденность основывается на том, что в ваше отсутствие я проверил и свое состояние.

— Как? — опешил Шумерин. — Ты тоже усомнился...

— Ни в чем я не усомнился, но порядок обязателен для всех. Наконец, третья, самое главное: все это был мираж, обыкновенный мираж.

— Я ждал, что ты скажешь именно это, — с неожиданным спокойствием заметил Шумерин. — Но, пожалуйста, не надо успокоительных пилюль. Скажи правду.

— Правду?! — Полынов не смог скрыть изумления. Но он тотчас овладел собой. — Хорошо, давай разберемся. Я не понял тебя.

— А я тебя.

— Все, что я говорил, — правда.

— А вал?

— Что вал?

— Ты считаешь его миражем?

— Да.

— Но показания приборов...

Полынов опустил взгляд.

— Ладно, — глухо сказал он. — Я виноват, вот моя голова, рубите. Никаких показаний не было. Я скрыл это. Иначе мне трудно было бы разобраться в состоянии вашей психики, картину осложнили бы сильные эмоции. А мне надо было знать точно — галлюцинация это или мираж.

Бааде неожиданно махнул рукой — мол, все равно безнадежно, не разберетесь — и поудобней устроился в кресле. Непредвиденным последствием этого жеста было то, что и капитан и психолог рассмеялись. И всем как-то сразу стало легче.

— Твой поступок сейчас меня мало волнует. Сейчас, —

капитан выразительно посмотрел на Полынова. — Пока. Скажи лучше вот что: лава — это тоже мираж?

— Когда я сравнил ваше описание обстановки с тем, что увидел на телеэкране, я не мог не заметить некоторой разницы. Я отчетливо видел, как лава затошила гусеницы вездехода, чего, по вашим словам, в действительности не было. Отсюда простейшее умозаключение.

— Ах, вот как, простейшее! — Шумерин не мог сдержать раздражения. — Но, насколько я знаю, мираж, пусть даже меркурианский, есть переброшенное через пространство изображение реально существующих предметов. Я ошибаюсь?

— Нет. Добавь только, что это изображение не всегда можно отличить от действительности.

— Тогда откуда, черт побери, на этой дикой планете мог появиться рояль?!

— Какой рояль?

Шумерин объяснил. Полынов приложил неимоверное усилие, чтобы хотя бы внешне оставаться спокойным.

— Все? — спросил он, когда Шумерин умолк.

— Все...

— Почему ты сразу не сказал мне об этом?

— Ты сам настоял: потом, потом, сначала отдохнем, выпьем кофе... Я догадываюсь, к чему все эти психологические штучки, но, право, сейчас они излишни.

Шумерин говорил сдержанно, но голос его дрожал. Тогда вместо ответа Полынов закрыл глаза, развел пальцы и вслепую вновь свел их. Они сошлись точно. Шумерина затрясло. Полынов бросил на него быстрый взгляд.

— Друзья, мы перестали быть такими, какими были раньше, вот что я вам замечу, — вдруг подал голос Бааде.

— Да, ты прав, — Полынов потер лоб, — мы изменились. Любопытная планетка, этот Меркурий... Ничего, разберемся. Нет, рояль миражем, конечно, не был. Это очень похоже на галлюцинацию.

— Так я и знал! — воскликнул Шумерин.

— Почему-то именно здоровые люди болезненней всего воспринимают это слово, — холодно ответил психолог. — Между тем галлюцинации бывают у самого что ни на есть нормального человека. Необычность обстановки, нервозность — готово.

— Это точно?

— Ручаюсь.

— Даже рояль?

— Хоть Эйфелева башня.

— Утешил... Значит, мы и шагу теперь не сможем ступить, не рискуя получить оплеуху от какого-нибудь призрака собственного воображения?

— Беспокоиться нечего. У нас есть кофродеин. Еще не было случая, чтобы он не снимал галлюцинаций. Моя ошибка, что не дал его вам перед поездкой.

— И это не первая твоя ошибка.

Полынов ничего не мог возразить. Про себя он подумал, что даже не может толком объяснить, почему он поступил так, а не иначе. Это угнетало больше всего.

— Бааде, а ты что думаешь? — спросил Шумерин.

— Я? Я не думаю, я молчу. Всякие там галлюцинации, психические кризисы относятся к той потусторонней области, в которой порядочному инженеру делать нечего. Наука лишь то, что подвластно числу и мере. А в субъективном хозяйстве нашего друга нет даже единиц измерения — каких-нибудь там чувстваампер или волиметров...

Полынов засмеялся.

— Ладно, Генрих, я это тебе еще припомню! Тем более что все это устарелые представления. Но ты вот что мне скажи: мираж тоже потустороннее явление?

— Нет, почему же? Мираж — чистая физика.

— Можно отличить мираж от немиража?

— В принципе да.

— Это я и хотел услышать. Вот план проверки. Мы вновь отправляемся на разведку. Я и Бааде. Кофродеином я заранее снимаю всякую возможность галлюцинаций. Если нам и тогда встретится что-то необычное, Бааде возьмет свои числа и меры... И все станет ясным.

— Ясность, какое замечательное слово! — Шумерин налил себе кофе. — План действительно прост: или — или, а третьего не дано. Только...

— Что только? — ревниво переспросил Полынов.

— Нет, ничего. Твое мнение, Генрих?

Бааде важно кивнул.

— Как ни странно, Полынов мыслит как физик.

У инженера это было высшей похвалой. Психолог поклонился.

— Тогда решено, — сказал Шумерин.

— Но прежде, — Полынов повысил голос, — еще раз проверим свое состояние.

\* \* \*

Оставшись наедине, Полынов оценивающе оглядел стол — стопка книг, гамма-микроскоп, игрушечный Буратино, — схватил блокнот и с силой запустил его в угол. Трепеща страницами, как голубь, блокнот описал широкую дугу и шлепнулся о стену.

Испытанное средство (гневу надо давать безобидную разрядку) помогло. Полынов сел, поправил рефлектор, чтобы конус света падал на свободную часть стола, сосредоточил на ней взгляд и прежде всего постарался вспомнить, где, когда, при каких обстоятельствах он делал несколько ошибок подряд. Память услужливо подсказала: после быстрого перехода из привычной спокойной обстановки в незнакомую, бурную. Самоочевидность вывода что-то объясняла, но не успокаивала, нет. Он знал об этой особенности человеческой психики, знал давно. И уже много лет назад разработал для себя безотказный, как он до сих пор считал, рефлекс страховки — целую серию умственных упражнений, которые обязаны были подготовить его к любым потрясениям. Но испытанная система не помогла — почему? Две ошибки подряд, совершенно непростительные для психолога! Только ли потому, что переход был слишком резким и обстановка пересчур новой?

Докопаться до истины никак не удавалось — вот это злило и раздражало. Оставалось загнать эти размышления в подсознание и заняться совсем другим делом. Тогда, быть может, ответ рано или поздно постучится сам. В старину такой случай назывался озарением.

Полынов прошел в аппаратную и, не зажигая света, щелкнул кнопкой. В темноте призрачно засиял желтый шар психомодели. Полынов склонился над ним. Для непосвященного объем шара представлял головоломкой сотканных из света римановых плоскостей, цветных узоров, усеянных голубоватыми звездочками; все лежало внутри пульсирующих сфер, отдаленно похожих на полушария мозга. Видимого порядка в этом сплетении не было, но для Полынова модель душевного состояния его друзей и его самого была открытой книгой. Он набрал на диске нужное сочетание сигналов, и в желтоватой прозрач-

ности шара шевельнулись три тонкие, как нерв, кривые. Он подвел их ближе к сетчатой, изогнутой парусом поверхности.

— Галлюцинаторные кривые в норме, — пробормотал он, регулируя яркость. — У Бааде она вообще вне всякой критики. Попробуем внести кофродеин.

Как и ожидалось, после посылки сигнала кривые оцали и почти погасли.

— Попробуем так...

И он обрушил на модель ливень потрясений. Опасности, неожиданности, в которых было все — блеск молнии, порыв урагана, прыжок тигра из зарослей, зловещий бег цунами, — сотрясали шар. В нем закружилась метель голубых звезд, подстегиваемая прыжками кривых; столкновение двух звездочек рождало фонтанирующую вспышку; там же, где друг с другом соприкасались кривые, по ним, как по нити электрической лампочки, пробегал ослепительный разряд. Отчаяние, смелость, растерянность — весь спектр чувств в доли секунды пробегал перед глазами психолога, вызывая в модели лавинные сдвиги состояния, сотрясая самые основы духовного мира тех, чьи мысли, чувства, воля, желания были запрограммированы в этом хаосе огоньков.

Полынов не раз думал, каким жестоким оружием могла бы стать эта пусть не вполне совершенная и точная модель в руках интригана, завистника, демагога или фанатика. Она наделила бы его безмерной властью, знанием того, как поведет себя жертва в той или иной ситуации. Он сам пользовался психомоделью лишь тогда, когда не оставалось другого выхода. Не из-за ложной скромности, чуждой врачу, а из-за простой человеческой неловкости, которую он испытывал всякий раз, следя за поведением шара. Той неловкости и деликатности, которая категоричней любых запретов не позволяет честному человеку подглядывать за интимностями других. И еще всякий раз Полынова охватывала робость: его пугала возможность вот так издали, свысока наблюдать тайное тайи чужой жизни, расчлененное и препарированное по всем правилам математики. Было в этом что-то нескромное и кощунственное.

Полынов остановил сумятицу сигналов. Все замерло в шаре, лишь некоторые звездочки еще трепетали, как биение взорванного сердца. Полынов приблизил лицо. Свет, льющийся из шара, грубо подчеркнул хмурые морщины лба, желваки на скулах, плотно сжатые губы.

— Уф! — Морщины на лбу разгладились. Полынов с облегчением вздохнул. Нет, если верить шару, самые свирепые бури по-прежнему не властны над ним и его друзьями. Но почему же тогда...

Теперь он попытался смоделировать ситуацию, в которой они оказались все трое, когда появился вал, и ситуацию, в которой очутились Шумерин и Бааде. Состояние психики вначале он задал самое что ни на есть благоприятное. Затем он повторил опыт, немного расстроив систему.

Результаты удивили его своей противоречивостью. В общих чертах все совпадало — то, что было в действительности, и то, что моделировал шар. Но только в общих чертах. И в первом и во втором случае модель отказывалась повторить некоторые поступки, которые на самом деле люди совершали. Так, она упрямо не хотела воспроизвести его, Полынова, ошибки. Она не давала слепящему безмолвию равнинны загипнотизировать людей так, как это было с Шумерином и Бааде. Вообще смещениями модели гораздо больше управляла логика, в них сильней, чем это было в действительности, пропускал момент критического анализа совершаемых поступков.

Этому могло быть два объяснения. Первое: несовершенство модели. Второе: ей заданы были не все внешние раздражители. Последнее, впрочем, требовало уточнения: абсолютно все воздействия нельзя было задать никакими способами. Но благодаря компенсатору отсутствие нескольких второстепенных факторов существенно не могло отразиться на поведении модели. Лишь бы учитывались главные.

— Неужели я забыл что-то... — пробормотал Полынов.

Он вновь повторил опыт, на этот раз очень тщательно проверяя вводимые данные. Тот же результат!

Тупик. Если что-то существенное было опущено, то оно могло скрываться лишь в особенностях меркурианской обстановки. Значит, найти его мог только человек.

Полынов выключил установку.

\* \* \*

Ему приснился странный сон.

Он очутился посреди равнинны, поросшей белой травой. Один.

Над горизонтом висело солнце, такое же огромное, как на Меркурии, но негреющее. Воздух тоже светился — белесым фосфорическим блеском; и Полынов как будто знал, что трава потому и бела, что ее обесцвил воздух. Все же он ни на секунду не сомневался, что он на Земле, а не на Меркурии. Он знал также, что его ждет встреча с кем-то или с чем-то, и встреча неприятная. Он не знал, где она произойдет и когда, и хотел уйти, чтобы ее избежать. Ему почему-то казалось, что для этого надо избегать теней, непроницаемых черных теней, которые ширились, хотя предметов, которые могли бы их отбрасывать, не было. Впрочем, и это его не удивляло, так оно и должно было быть — крадущиеся тени на голой земле.

Он ускорил шаг (бежать не позволяла гордость), но как ни быстро он шел, ноги несли его не прочь от теней, а, наоборот, к теням, которые вырастали на глазах и вставали по бокам гладкими стенами. И это напоминало бег по коридору, по суживающемуся коридору, готовому сомкнуться, если бы не солнце, которое не давало теням сойтись и с отчетливой резкостью высвечивало каждую травинку впереди него. Он шел вперед, шел с мрачной решимостью, и светящийся воздух во-круг понемногу собирался в складки над головой, прозрачные вуалевые складки, которые опадали все ниже и ниже, словно кто-то набрасывал сети. За пологом складок исчезло солнце, и только тени стояли по бокам; их изгиб указывал, что сейчас будет поворот.

Он покорно свернулся, и воздух над ним стал материей, парусиновым тентом шатровой палатки. Тени исчезли. Сквозь парусину пробивались лучи солнца, образуя на покатости радужный круг. Посреди палатки — она стояла в ущелье, он этого не видел, но ощущал — стоял складной походный столик, заставленный рулонами кальки и ватмана. За столом сидел человек в выгоревшей старомодной ковбойке с темным, круглым, морщинистым лицом, держал в руке пиалу, дымящуюся чаем, и пощипывал редкую бородку.

— Вот вы и пришли, Полынов, — сказал человек.

И Полынов узнал в нем своего старого учителя биологии, но радости не испытал, скорее наоборот, потому что в немигающих глазах старика не было зрачков. Он послушно повиновался движению, которым тот показал ему на складной стул, сел напротив учителя и стал ждать.

— Вы долго избегали экзамена, — сказал старик.

— Я был очень занят...

— Знаю. Люди все больше и больше становятся занятными, и у них совсем не остается времени думать. Тем более нужен экзамен. Ну ничего, Меркурий привел вас. Итак, первый вопрос: что есть небо?

— Небо? Это... масса воздуха, которая окружает...

— Думайте, Полынов, думайте. Самые сложные вещи — самые простые вещи. Меркурий тоже окружает воздух, но есть ли там небо?

Полынов вдруг почувствовал себя студентом, который забыл глянуть в шпаргалку.

— Другой бы билетик, — попросил он.

Учитель нахмурился и с состраданием взглянул на Полынова. Рулон миллиметровки зашуршал, из него выползла змея, черная, как уголь, изогнувшись вопросительным знаком. Ее агатовые, вбирающие свет глаза смотрели мимо Полынова. Учитель погладил змею. И только тут Полынов заметил на змейной коже рисунок — непонятные математические символы образовывали формулы, странно знакомые, однако он не мог вспомнить, что они обозначают.

— Вот другой билет.

Старик протянул листок бумаги. Полынов взял его. Листок был пуст.

— Здесь ничего не написано...

В ответ он услышал клекочущий старческий смех.

— Ха-ха-ха... Это будущее, Полынов, будущее! Его надо уметь прочесть, надо уметь... Ладно, я вам помогу.

Он ткнул пальцем в листок. «Чем отличается земля от неземли?» — с ужасом увидел Полынов.

— Земля от неземли... Отличается тем, что... Но это же вопрос не по специальности! Из высшей математики бы что-нибудь.

— Специалистов нет, — строго поправил экзаменатор. — Есть люди, и есть машины, понятно? — Змея согласно покачала головой. — К какому классу разума вы принадлежите?

— Не знаю...

— Плохо, очень плохо. А все гипноз математики. Хорошо, пусть будет вопрос по специальности: где возник человек?

— Согласно последним теориям, — радостно воскликнул Полынов, — центров возникновения человека несколько! В Африке...

Змея тихо зашипела. Стой математических символов на ее коже изменился.

— Ах, Полянов, лучший мой ученик! — горестно всплеснул руками экзаменатор, покачивая головой, как маятник. — Вы совсем не думаете, совсем. И вы забыли дома шпаргалку! («Откуда он знает?» — спросил себя Полянов.) Человек возник на Земле, понимаете? На Земле! Теперь еще вопрос: зачем утро? Что такое ностальгия? О чем свидетельствует мираж? Почему обезьяны не видят инфракрасных лучей?

Он сыпал и сыпал вопросами, рот его ширился зияющим провалом, вот уже провал занял пол-лица...

— Знаю, знаю! — закричал Полянов только затем, чтобы остановить ужасное превращение.

С этим криком он и проснулся.

\* \* \*

Теперь Бааде ни на минуту не упускал из виду шкалы приборов, следящих за внешними условиями. Это не мешало ему умело лавировать между тенями, которые множились и ширились по мере приближения к сумеречной зоне планеты. Полянов думал, что поступать так инженера заставляет предательская неразличимость предметов в тенях. Но вскоре он убедился, что не только это.

Местность все более походила на горное плато. Почву испещряли борозды, словно кто-то поработал исполинскими граблями. Это явно была работа пыли. Камни, уже не гладкие, не лакированные «пустынным загаром», а растрескавшиеся, угловатые, потряхивали вездеход, и путешественники покорно подпрыгивали в своей металлической скорлупке. Даже скафандр переставал быть удобной одеждой, ибо при сильных толчках в нем обнаруживались какие-то острые углы, о существовании которых они раньше не подозревали. Молочные жилы кварца, похожие на брызги белил, еще более увеличивали сходство окружающего с каким-то вполне земным нагорьем. Если бы не близкий, круто падающий горизонт, если бы не фосфоресцирующая мгла вокруг, деформирующая скалы, если бы не мохнатое солнце за спиной, иллюзия была бы полной.

Вездеход приблизился к границе темного пространства, в которое причудливо вдавались языки света. Последние лучи солнца били из-за горизонта, как прожекторы. Они упирались

в ночь, самую странную ночь, которую когда-либо видели Полынов и Бааде: она высилаась стеной черного стекла, за которой, однако, не было тьмы. Там что-то тлело, что-то пульсировало клубами зеленоватого дыма.

— Сейчас я покажу тебе фокус, — подмигнул Бааде, притормаживая машину.

Он откинул дверцу ящичка, покопался, вынул провод с лампочкой, приладил концы провода к клеммам. Полынов заметил, что в миниатюрной лампочке пряталась толстая, рассчитанная на большое напряжение спираль.

— Гляди, — предупредил Бааде.

Мотор взревел, машина дернулась, и в тот миг, когда она проскачивала рубеж света и тени, лампочка ярко вспыхнула в наступившей вдруг темноте. И тотчас погасла.

— Это что еще такое? — Полынов старался не выдать удивления.

— О, инженерное предвидение, не более! — смехом добродушного медведя пророкотал Бааде. — Свет есть, темнота есть — где? На границе огромного перепада температур. Термопара, не так ли? И вблизи электромагнитный генератор — Солнце. Верно? Четыре действия арифметики в уме, и я подбираю лампочку, подключаю ее к корпусу и машиной замыкаю контакт, чтобы позабавить тебя видом короткого замыкания. Меркурианского замыкания!

Полынов с уважением оглядел стенки тесной кабины. Вроде бы мягкая обшивка, только и всего, но сколько же в нее вложено труда и ухищрений, чтобы она выдерживала и жару, и холод, и радиацию, и электризацию, оставаясь при этом удобной, назаметной.

— Так-то, — с удовлетворением отметил Бааде, перехватывая взгляд. — Мы-то все предусмотрели заранее. Непробиваемая броня! — он стукнул кулаком по обшивке.

— Дважды два — четыре, и никаких гвоздей...

— Что?

— Так, к слову. Следи лучше за дорогой, а то еще врежешься во что-нибудь... нерасчетное.

Вездеход плыл в темноте, фарами высоверливая в ней тоннель. И все же темноты как таковой не было. Скорей она походила на мрак, пронизанный излучением мощных ультрафиолетовых ламп, свет которых не столько виден глазу, сколько чувствуется им.

Полынов глянул через плечо Бааде на экран телелокатора. Облизал внезапно пересохшие губы. Мир на экране, в котором не было ни глухой темноты, ни ослепительного света фар, тоже выглядел чуть-чуть выбким и нереальным!

— Не очень-то хорошее изображение, — заметил он.

— Есть грех, — кивнул Бааде. — Локатор настраивали на Луне, учитывая данные о Меркурии, сообщенные АМС, но немножко тумана осталось. Тут ведь проблема не только в том, чтобы устраниить помехи, а и в том, чтобы изображение оставалось привычным для глаза.

— Тут есть какое-нибудь противоречие?

— Еще какое! Наш глаз, к сожалению, несовершенный инструмент. Помню, я участвовал в разработке новой системы цветного телевидения. Нам пришлось, чтобы цвет выглядел совершенно натуральным, применить «мигающую передачу». В то время мы уже отказались от электронного луча, да... Цвет получился бесподобным, но многие стали жаловаться: нерезко. Хотя никакой нерезкости и в помине не было! Что же ты думаешь? Пришлось переделывать, идти на компромисс. Цвет стал хуже, зато на нерезкость уже никто не жаловался.

— Значит, найти точное соответствие действительности...

— Что значит «точное»? Для кого точное? Пожалуйста, мы могли создать телевизор, передающий все так же, как видит пчела. И пчелы не смогли бы отличить цветок на экране от цветка на лугу. Но человек вряд ли был бы доволен такой передачей... Если хочешь знать, это очень серьезная проблема: как пропустить все ширящийся поток информации через каналы человеческого восприятия.

— Как-то не замечал здесь больших трудностей...

— Хм! Представь себе, что все «органы чувств» корабля подключены к органам чувств человека. Все эти радиотелескопы, просто телескопы, нейтриноаппараты, счетчики электронов, счетчики мезонов, датчики магнитных полей, датчики гравитационных полей и так далее и тому подобное, все эти сотни, тысячи приборов. Что бы тут было с человеком, а?

— Он бы и секунды не выдержал.

— Не сомневаюсь. Вот почему от приборов мы получаем не все сведения об окружающем мире, а только главные.

— А кто определяет, какие сведения в тех или иных условиях главные, а какие нет? Люди?

— Конечно.

— Так.

Впереди в сверлящем свете фар появилось белое пятно. Затем оно превратилось в дорожку, усыпанную снегом дорожку, которую ограждал мрак и которую поворот руля вслед за лучами фар бросал то влево, то вправо.

— Замерзшие газы, — сказал Бааде.

В воздухе заклубились снежинки, взбитые гусеницами. Дорога шла под уклон.

— Кстати, Генрих... Перед тем как увидеть там, в пустыне, концертный рояль, ты не думал о нем?

— Конечно, нет! Может быть, Шумерин?

— Нет, я его спрашивал.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Пока ничего.

«Снежная дорога» оборвалась. Ее обрезала каменная гряда. За ней что-то блестело, будто зеркало.

— Осторожней... — предупредил Полянов.

Но Бааде и без того сбавил ход.

Поворот, еще поворот — им открылась смоляно-черная гладь озера. Противоположный берег нависал козырьками скал, ближний полого подходил к неподвижной жидкости, слабо курившейся туманом.

— Это как понимать? — спросил Полянов.

— Так, как показывает термолокатор. А он показывает, что температура почвы повысилась. Видимо, местный разогрев, растопивший газы. Но я хочу предупредить, — Бааде повысил голос, — я хочу предупредить, что сейчас, возможно, начнутся кое-какие пиротехнические эффекты.

— Какие же?

— Не знаю. Но видишь, стрелка индикатора метнулась. Очевидно, на Солнце произошла мощная вспышка, и теперь нас ждет электромагнитная буря.

— Она чем-нибудь грозит нам?

— Чем она может нам грозить, интересно? Эта возможность, мой друг, просчитана. Боюсь только, что зрелище не будет слишком эффектным: там, в пустыне, оно выглядело жидкоквато. Замечаешь? Вокруг что-то затевается. Я думаю, имеет смысл здесь сделать остановку, благо озеро все равно требует исследования.

Бааде был прав: что-то менялось. Серия неуловимых переходов, которые воспринимаются скорее чувством, чем разумом,

подобно тем предвестникам, которые на Земле предупреждали о первом порыве грозы тогда, когда воздух еще тих и спокоен. Темнота словно линяла; в ней обнаружился подслой, который просвечивал сквозь нее. Иногда из глубин темноты выплывали какие-то клубы черней самой черноты, но они быстро таяли, уступая место полусвету.

Так длилось приготовление. Но сам покров ночи был отброшен сразу! Полынов и Бааде дружно ахнули: с неба летели холодные и беззвучные молнии. Озеро мигало ответными вспышками отблесков. Все осветилось, тени уничтожились. Вершины скал полыхали голубоватым призрачным сиянием, которое трепетало, будто раздуваемое ветром.

Над озером вдруг выгнулась зеленоватая дуга. Она повисла, смыкаясь с собственным отражением в озере; по ней прошел ток пульсаций. И с каждой пульсацией она словно напала — все сильней, сильней, пока не рассыпалась искрами, затопив все окрест мятущимися бликами. Из призрачных глыб льда, нависших над озером, брызнула радуга.

— Ого-го! — закричал Бааде, подпрыгивая на сиденье. Инженер был неузнаваем. — Стоило лететь сюда, черт побери!

Психолог согласно кивнул.

Бааде быстро и смиренно глянул на Полынова.

— Яша, — сказал он умоляюще, — опасности никакой. Я выйду, пожалуй, а?

— Ты думаешь, мне не хочется?

Они вышли. И попали в круг хоровода разноцветных холодных огней. Они кружились над ними, как светляки.

— Ей-ей, это так красиво, что я сейчас тоже пущусь в пляс, — пообещал Бааде.

И не было конца блеску бесшумных молний, парению радуг, миганию отсветов в озере, всему этому пышному и бесполковому празднику Меркурия. Впервые планета не выглядела чужой и враждебной, и потому людям не хотелось думать, что великолепие когда-нибудь кончится.

Но фейерверк постепенно гас. Медленно наползала муть. Плотный чад гаснущих огней обволакивал все.

— Представление окончено, — сказал Бааде, и эти трафаретные слова уже не могли показаться кощунством. — Пора и за дело.

— Ты не очень-то копайся, — откликнулся Полынов.

— Тебе что-нибудь не нравится?

- Да. Мгла падает сверху.
- Хм... Не все ли равно, откуда она падает?
- Возможно. Но мне почему-то не нравится.
- Чувства, эмоции, подсознательные комплексы... — пробурчал Бааде. — Наступит темнота, вот что будет. Так что стой возле машины, чтобы быстремко включить свет. А я пойду.

Полынов был не совсем прав, утверждая, что мгла падает сверху. Она надвигалась отовсюду и ниоткуда конкретно. Темнота боролась со светом так, как иной раз зло борется с добром, — принимая его обличие, его оболочку. Но внимание Полынова по ассоциации с давними видениями сна было обращено лишь на зримое движение волн тьмы — глухой накат ночи, суживающий вокруг пространство.

От наблюдений его отвлек голос Бааде.

— Слушай, здесь мелко, и я, пожалуй, немножко залезу, так сказать, искупаться.

Его шлем маячил в расщелине.

— Генрих, да ты что?!

— Так ведь безопасно! Мелко, я промерил. Чистая вода, так и ждешь, что выплынет золотая рыбка... Нет, ты пойми: искупаться в меркурианском озере!!! Каково? Ну, подойди для страховки с тросом, что ли...

Полынов подбежал к краю нависшей над озером плиты. Бааде сидел на корточках, водя рукавицей по «воде» и глядя на медленно и неохотно разбегающиеся круги. Рядом валялся пробоотборник, жалобно мигая контрольной лампочкой. Сквозь густую маслянистую жидкость просвечивали мелкие камешки на дне. Полынов понял, что противиться желанию Бааде было бы слишком жестоко. «Мальчишка, — с нежностью подумал психолог. — Взрослый мальчишка... Впрочем, он, видимо, прав: реальной опасности нет. А искупаться — заманчиво...»

— Подожди, — сказал он, включая на всякий случай прожекторы вездехода. Он достал трос и кинул конец Бааде. — Обвязись.

Бааде шагнул в озеро навстречу своему отражению, искаленному всплеском.

— Ух! Да тут еще мельче, чем я думал... Ну да: это же не вода, другой показатель преломления...

Внушительная глыба металла — так Бааде выглядел в скафандре — медленно входила в озеро. Присела, шлепнула ладо-

нями, окунулась. Человек купался в смеси благородных газов, купался там, где никогда не было и не будет солнца. Инженер громко фыркал от удовольствия. Волночки с тихим шелестом набегали на берег. Кругом медленно темнело.

Полынов — пока не поздно — застремился киноаппаратом. То, что они проделывали, не лезло ни в какие инструкции. Это было чудовищное нарушение всех правил и предписаний. Но Полынов по собственному опыту, по опыту многих экспедиций знал: ничто так не запоминается празднику, ничто так не сближает человека с природой, ничто так не поднимает настроения, как вот такие незапланированные, пожалуй, даже запретные развлечения, чья прелест и польза именно в том, что их не ждешь, что они приходят как подарок, возникают как оазис в разграфленной пустыне обязанностей и дел. Бааде знал это не хуже. Он ворочался в озере, плескался, будто исполняя какой-то танец.

— Пожалуй, хватит, — поколебавшись, сказал, наконец, Полынов.

Инженер послушно вылез, отряхнулся.

— Ну, славно.

Полынова тоже подмывало окунуться. Но он сдерживался: дважды испытывать судьбу не стоит. И все же он чувствовал, что после купания друга планета переставала быть совсем чужой.

Меж тем противоположный берег помутнел и словно приблизился, повис над озером. Ночь, однако, все еще медлила. Посоветовавшись, космонавты решили, что они могут успеть осмотреть окрестности озера. Тем более что этого все равно требовала программа: нельзя сжиться с местностью, наблюдая ее сквозь стекло машины. Для этого нужно ходить пешком, обязательно пешком.

Полынов брел — просто брел, разглядывая берег, иском переворачивая камни. Камни как камни, такие же, как везде: базальт, габбро с полупрозрачными включениями оливина. Если бы не светящийся и темный — одновременно! — туман, смузающий своей непохожестью на земные туманы, можно было бы, пожалуй, вообразить, что наконец-то достигнуто соответствие между тем, что видится, и тем, что есть на самом деле. Но соответствие все же не было.

«Пожалуй, все гораздо сложней, чем просто мираж, просто галлюцинация, — подумал Полынов. — Но будь я проклят,

я не могу подобрать названия тому, что все время, кроме редких исключений, стоит между мною и этой странной планетой. Не на что опереться: я не могу подобрать этому земного подобия; все, все ассоциации оказываются неточными или обманчивыми. Что же делать и надо ли что-нибудь делать вообще?»

До него донеслось бормотание Бааде:

— Так, так, плита, отполированная до зеркальности... Поже на вулканическое стекло... Нет, что-то другое...

Психолог вскинул голову. Медвежья фигура Бааде выглядела неясным силуэтом, как на недопроявленном снимке. И она колыхалась, словно от ряби, готовая вот-вот растаять в волнах загадочной светотьмы. Затем Бааде сделал шаг. И тотчас психологу захотелось протереть глаза, потому что вслед за этим шагом Бааде исчез. Совсем, как будто его и не было.

Глухой вскрик, звук удара, передавшийся по почве, сорвали Полынова с места. Он взбежал на плиту, где только что стоял инженер и откуда он шагнул; лишь инстинкт заставил его не повторить этого шага. У ног лежала полуупрозрачная плита, слабо поблескивающая, как запотевшее зеркало. Сквозь неё проступало что-то темное. Бааде нигде не было.

— Генрих, Генрих! — закричал Полынов.

— Здесь я... — донеслось из-под плиты. — Жив, скафандр цел, нога только...

— Тебя засыпало?

— Как бы не так! Бросай веревку, бросай сквозь плиту, плиты нет.

До Полынова не вмиг дошел смысл сказанного. Как это нет плиты, когда она есть? И внезапно он понял: то самое противоречие! Обман, обретшая плоть призрачность, которая постоянно стояла между ними и Меркурием, — вот что такое эта плита.

Он швырнул вниз веревку, она прошла сквозь несуществующее препятствие, которое тотчас скрыло от глаз ее конец, упавший в расщелину.

— Давай... — послышался голос из-под земли.

Полынов потащил быстро, ловко, в дупле ужасаясь той беспечности, с которой они только что разгуливали.

Сначала проступали очертания тела Бааде — он как бы выплывал из глубин «плиты». Наконец он весь очутился на поверхности.

— Нет, нет, ничего, — вновь поторопился он успокоить психолога. — Всего метров десять, я даже успел перевернуть-

ся, как кошка, лапами вниз... Нога вот только зацепилась за выступ.

— Двинуть ею можешь?

— Могу, но очень больно.

— Так, а так? — Пальцы Полынова быстро забегали, с силой продавливая толстую оболочку скафандра. — Счастливо отделался: простое растяжение.

Он подставил спину, подхватил Бааде.

— Небитый битого везет...

Полынов шел предельно осторожно, выверяя каждый шаг, пробуя ногой все мало-мальски подозрительные места, как пробуют хрупкий лед. Может быть, воображение преувеличивало, но сейчас Полынов ежеминутно ждал какой-нибудь новой каверзы. Обошлось, однако.

В кабине он подождал, пока компрессор отсосет меркурианский воздух, впущенный ими, когда они выходили. Вдвоем кое-как сняли скафандры. Полынов оголил ногу Бааде.

— Сейчас будет немного больно. Ты потерпь уж...

Он с силой рванул лодыжку. Бааде скрипнул зубами.

— Уф-ф... — отдуваясь и потирая опухшую ногу, проговорил он. — Не ожидал попасть в руки костоправа. Сейчас, думаю, мой врач вытащит какой-нибудь хитрый аппарат...

— Простой случай требует простых решений. Даже на Меркурии. Кстати, кто-то уверял меня, что отличить мираж от немиража пара пустяков.

— Нормальный мираж, нормальный, понимаешь? Тот удаляется, когда к нему подходит порядочный человек, ясно?

— Мы не на Земле.

— Уди-ви-тельнно... Почему-то данная истина, данная в довольно болезненном ощущении, известна и мне. Ну и что? Тебе от этого легче?

— Легче. Случись такое на Земле... Сам понимаешь... А здесь все понятно: есть некое явление, которое почему-то не замечают приборы. Мне кажется, ключ здесь.

— А твоя теория?

— Отвечу: это явно не мираж и не галлюцинация. Но я не исключаю их из общего комплекса непонятного. Пока.

Бааде кивнул и поудобней устроил ногу на сиденье.

— Что, больно? — обеспокоенно спросил Полынов.

— Нет. Я зол и отвечаю, как Ньютон: гипотез не строю!

Пусть это шуточки меркурианского дьявола, летающие гробы, сапоги в смятку, но мне нужны точные факты! Точные, понимаешь? Факты!

— По-моему, ты слишком ждешь их отсюда. — Полянов постучал по стеклу индикаторной шкалы. — За последние десятилетия мы чересчур привыкли глядеть на мир через вот эти очки. Консерватизм привычки, понимаешь?

— Чем рассуждать, давай-ка лучшие выбираться отсюда.

«Туман, — решил Полянов. — Умственный туман».

Он сел поудобней за руль, включил двигатель и огляделся, чтобы вернее выбрать путь. И тут он увидел, что пути уже не было. Процесс, начавшийся, пока они бродили по берегу озера, завершился. Снаружи был светлый мрак. Стена белесого, как молоко, воздуха, более непроницаемая для взгляда, чем глухая полночь. В ней растворялись лучи фар. И ни одной звезды в небе!

Бааде приподнялся.

— Попробуй пеленг корабля...

Ответом эфира был оглушительный треск.

— Выключи...

Молчание. Молчание обступало вездеход. Такое абсолютное молчание окружает затонувший корабль.

— Итак, — услышал Полянов собственный шепот. Назло повысил голос: — Итак, мы просчитались. Почему?

— Мы не учли чего-то...

— Чего же?

— Вероятно, того, что на Меркурий до сих пор не было наших глаз.

Инженера совсем покинула самоуверенность. Он не был растерян, нет. Но он искал ошибку — беспощадно и строго. Мысленно он просматривал сейчас все с самого начала — десятки фильмов, снятых АМС, непререкаемую чреду формул и графиков, расчетов и опытов, создавших модель Меркурия, в точность которой он верил и которая, оказалось, в чем-то существенном не совпадала с действительностью. Полянов не торопил его.

Шло время, драгоценное время.

— Может быть, наши меркурианские станции не попадали в такую бурю? — психолог, наконец, решился задать вопрос.

Бааде помотал головой. «Нет, нет, дураками мы были бы...»

И снова молчание. Только опытные и стойкие люди отваживаются на молчание, на раздумье, когда все толкает на энергичные действия или хотя бы на видимость действия.

— Предположение есть, — Бааде повернулся к Полынову так, что затрещало сиденье. — Всё дело, кажется, в том, что искусственное зрение совершенней природного.

— Объясни.

— Попытаюсь. К нам вся информация о внешнем мире поступает в сравнительно узком диапазоне электромагнитных волн. Что делает конструктор, которому поручено создать телеглаз для Меркурия? Он использует все достижения техники, это естественно. Он закладывает в телеглаз возможность видения во всем диапазоне волн, ставит автоматическую коррекцию помех и так далее и тому подобное. А результат? Допустим, видимый спектр забит помехами, вот как сейчас. Автоматический глаз немедленно переключается на те частоты, где помех нет. А наш глаз сделать этого не может. Теперь об ошибке. Знаешь, я должен извиниться перед тобой за вчерашние слова... Потому что ошибка, мне думается, чисто психологическая. Мы знали, что автоматический глаз лучше природного. Но бессознательно мы уверены в обратном. В том, что лучше нас ничто видеть мир не может. Это ведь воспитано тысячелетиями, не так ли? И мы не задумываемся над тем, будет ли наш глаз видеть так же хорошо в тех или иных условиях, как автоматический. Эта мысль просто не приходила нам в голову! Пожалуйста, вот результат: на вездеход не ставится автоматический глаз. Зачем, мол, это сложное и громоздкое устройство, когда в кабине сидит человек? Человек! Венец природы, само совершенство, понимаешь? Я, ты, мы, все носители этой гордости, без которой нас не было бы здесь. Да, не было бы. Но диалектика есть диалектика... Но это только предположение, только предположение! — спохватился Бааде, ставящий точность превыше всего. — Может быть, все и не так.

Полынов положил ему руку на плечо.

— Генрих, — сказал он, — ты молодец!

Этого, пожалуй, не следовало говорить — Бааде не переносил громких слов.

— Давай лучше думать, как нам выбраться, — отрывисто сказал он. — Вот что: у меня неплохо развито пространственное восприятие. Ехать надо туда. Давай двигаться на ощупь,

как слепые. Рано или поздно выберемся на освещенную сторону. А там ориентир, которого ничто не закроет, — Солнце.

У Полынова, когда он стронул машину, было ощущение, что она вот-вот всплывет. И только тяжеловесный скрежет гусениц позволил от него освободиться. Вездеход расталкивал непрозрачность, медленно продвигаясь вперед. Возмущенно гудел мотор, чья сила сдерживалась человеком. Можно было бы идти и быстрей, но Полынов боялся ошибиться. Едва впереди перед самым носом машины обрисовывался камень или выступ, Полынов всякий раз пробовал нащупать его границу. Иногда удавалось — об этом извещал слабый боковой толчок; чаще нет — вездеход кренился, траки гусениц скрежетали, осиливая препятствие. «Ничего, метод проб и ошибок еще никогда не подводил, — утешал себя Полынов. — Привыкну».

Бааде уверенно показывал направление, и машина, петляя, кружась, тычась о завалы, гребни и скалы, все же двигалась куда-то, и оставалось лишь верить, что Бааде ведет ее правильно, как-то угадывая ее местонахождение, хоть это и казалось совершенно невозможным. И Полынов верил, потому что Бааде еще нигде не терял ориентировки — ни в пещерах крымской Яйлы, ни в болотах Венеры. Настолько, что Полынов не раз давал себе клятву изучить эти его особенности, но всегда было некогда, всегда приходилось решать проблемы более срочные, и теперь оставалось лишь корить себя, вновь давая клятву разобраться, в чем же тут дело, почему даже на чужих планетах механик ориентируется, как в собственной квартире.

Но в ту самую минуту, когда Полынов было решил, что все идет неплохо и что они, конечно, выберутся, вездеход вдруг стал крениться на совершенно, казалось бы, ровном месте, и Полынов увидел, что правая гусеница подминает пустоту.

Одним движением он рванул переключатель скоростей и отвернул руль. Траки гусениц замерли, вездеход зашатался. Это врезалось в память навсегда: медленно, очень медленно машина сползала вниз. Полынов закрыл глаза, чувствуя, как его неотвратимо тянет с сиденья вперед. Сзади Бааде резко повалился влево, чтобы хоть так помочь машине удержать равновесие.

Наконец спасительный рев двигателя. Машина задрожала. Казалось, она балансирует на невидимом лезвии. Толчок, еще... Полынова отбросило назад, он с трудом удерживал руль. Но теперь все было кончено — машина стояла прочно.

Дрожащей рукой Полынов включил тормоз. Отвалился в изнеможении. Тело сразу обмякло, лицу стало холодно. Ладонью он провел по лбу: пот.

А потом ему стало жарко, он зачем-то полез в карманы, выволакивая оттуда всякую дребедень.

Через плечо Бааде протянул ему прыгающую в пальцах сигарету. Они закурили, затягиваясь так, что колечко огня сразу прыгнуло к губам. Вкуса дыма они не ощутили, но это было неважно. Важней было то, что они расточительно расходовали драгоценный теперь воздух, отравляя его дымом, но в конце концов и это не имело особого значения.

Как только они пришли в себя, Полынов спросил:

— Долго это может продолжаться?

— Туман? Не знаю. На Меркурии, как уверяют приборы, электромагнитная буря. Если причина в этом, а это скорей всего, она может длиться и сутки и больше.

— Кислорода у нас на двенадцать часов.

— Бывало и хуже.

— Бывало.

Они помолчали. За стеклами курилась белесо-черная мгла. Все было ясно и без слов. Они в ловушке. Нужды нет, что у ловушки нет стен, что теоретически они могут направить вездеход куда угодно. Они уже попробовали сделать это и чуть не погибли. Впредь рисковать так можно было, лишь когда у них не останется другой возможности.

— Так что я, пожалуй, сосну, — заключил Полынов. — Ничего другого не остается. Советую и тебе.

— Попробую. Шумерину придется попереживать.

— Да, ему не позавидуешь. Но я почему-то уверен, что он нас вытянет, если что.

— Болото Терра Крохи...

— Вот именно.

Они разом вспомнили это ужасное болото близ южного полюса Венеры, когда они безмятежно плыли по нему и почва отлично держала машину, точно так же, как до этого она держала автоматы-разведчики, а потом в недрах болота ухнула взрыв (интересно, выяснили, наконец, что это такое было?)

и их стало затягивать в трясину, куда бы они ни поворачивали. Разумеется, там бы они и остались навсегда, если бы Шумерин не поднял корабль и огнем реактивных струй не высушил вокруг них болото. Потом никто не хотел верить, что двигателями корабля можно сделать такое. А Шумерин сделал.

— Ну, так я заваливаюсь, — сказал Бааде.

— Я тоже.

Бааде устроился поудобней, сиденья простонали под ним, скоро все стихло, и Полынов услышал мерное дыхание.

\* \* \*

Он тоже закрыл глаза. Но сон не торопился прийти — слишком велико было возбуждение. Тогда он прибег к испытанному приему: надо заставить себя увидеть какой-нибудь безмятежный пейзаж и начать его разглядывать. Потом быстро сменить видение. Еще и еще. Дальше уже сами собой будут включаться обрывки увиденного когда-то: сердитый пенистый ручеек, прыгающий с камня на камень; сосны, бронзовые от полуденного света; радужные капли дождя на черемухе; метнувшиеся от берега мальчики... Все быстрей и путаней смена образов, все успокоительней и туманней их мелькание, предваряющее глубокий и спокойный сон. Его, Полынова, сон на Меркурии, в иллюзии враждебных и неразгаданных стихий.

Но внезапно будто толчок изнутри. Секунду Полынов еще цеплялся за дрему, не желая впускать мысль в затемненные подвалы сознания, где вспыхивали, менялись и гасли пейзажи родины. Но не подвластный ему киномеханик своей волей остановил бег пленки, и замерла, ярко вспыхнула картина далекого детства: голубые ели на берегу речки, мальчишка, болтающий босыми ногами в теплой воде, с разинутым от удивления ртом. И Полынов безотчетно понял, что бег видений остановился неспроста.

Он не открыл глаз, но сна уже как не бывало. Полынов силился понять подсказку.

Да, кажется, все так оно и было: солнечный день, коричневатая вода, морщинистая на перекатах. И строй елей на противоположном берегу, сходящий с холма, чтобы бросить на реку прохладную зеленоватую тень. Каким далеким и

неправдоподобным выглядит все это сейчас, здесь, на Меркурии! Но неспроста же, черт побери, всплыло именно это воспоминание...

Голубые ели он тогда заметил не сразу. Заметил? Нет, нет, все было не так: рядом сидела мама и что-то ему говорила. После каких-то ее слов он и разинул рот... Вспомнил! «Смотри, сынок, вон голубые ели...» — «Мама, ели всегда зеленые». — «Да нет же! Ели бывают голубыми. Разве не видишь, вон, у самой вершины холма, приглядись...»

Вот тогда он и увидел голубые ели. Это было как открытие: там, где он десятки раз скользил взглядом, ничего не замечая, скрывалось чудо. Над зеленым, спадающим к берегу пологом хвои возвышались две мохнатые голубые вершины, тронутые серебристым блеском солнца. Они явно были голубыми, хотя еще минуту назад — он был готов поклясться! — там была только зелень! Открытие превосходило его мальчишеское понимание: ведь ели всегда зеленые, такими он их видел, и эти две он тоже видел зелеными, так почему же...

— Потому что смотреть, глупышка, — это одно, а видеть — совсем другое, — услышал он голос матери. Значение слов было волнующим и непонятным.

Полынов открыл глаза. Черно-белый хаос за стеклом кабинки. Свет, который похож на мрак, и мрак, который ослепляет.

— Ну и идиоты же мы... — пробормотал психолог.

Он еще ничего не решил и ничего не узнал, но сердцем почувствовал: отгадка где-то здесь.

Что ж, подумаем. Смотреть — одно, видеть — совсем другое. Справедливо для любого из миров. Так... Попав на Меркурий, мы жадно и пристально разглядывали все... Все ли? А сам воздух — его мы видели? Нет. Кто же рассматривает воздух на Земле? Или на Марсе, Венере. Воздух есть воздух, в нем ничего не увидишь.

Всегда ли? Не всегда. Хорошо, когда воздух на Земле становится как бы видимым, во время тумана, например, прглядываемся ли мы к нему тогда?

Полынов усмехнулся. Как поначалу смеялись над художником Моне, который написал лондонский туман рыжим... А ведь лондонский туман видели сотни тысяч людей. И не заметили, что он рыжеватый! Все-таки человек очень нена-

блудательное существо. И что самое удивительное — ненаблюдательность не почитается за недостаток. Впрочем, для этого есть физиологические предпосылки: древние греки, похоже, не различали голубого.

Стоп, я отвлекаюсь. Так или иначе приходится признать неприятную истину: мы не слишком любим довольствоваться приблизительными знаниями, а вот приблизительное видение мира нас мало смущает. Неужели так? Да, так. Всего лет сто назад писатели заметили, что снежинки могут выглядеть черными, и это открытие тоже повергло многих в недоумение. А сколько в свое время спорили с художниками, когда те взялись доказывать, что снег никогда не бывает белым? Впрочем, и сейчас найдется масса людей, которые этого не знают.

Полынову захотелось вскочить — так с ним всегда бывало, когда догадка сменялась уверенностью. Но по въезду не пошагаешь — ладно.

Теперь, продолжал он размышлять, время заняться самокритикой. Нас послали на Меркурий, во-первых, потому, что мы люди опытные, во-вторых, потому, что мы люди много знающие, а в-третьих, не трусы. Допустим, что все это так. Но, помимо своих чисто профессиональных качеств, во всех других отношениях мы люди достаточно заурядные. Средние земляне, так сказать. Профессиональная наблюдательность у нас, конечно, развита. Но та ли это наблюдательность, которая нужна здесь, на Меркурии? Кто же мог заранее ответить на этот вопрос... Перед полетом мы все мыслили по аналогии: те, кто справился на Марсе, справлятся и на Меркурии. Как будто Меркурий подобен Земле или Марсу. Или Венере... Вполне понятная психологическая ошибка.

Но нам от этого не легче. Не легче оттого, что за последние десятилетия укрепилось мнение, будто бы рациональное, научное мышление — это магистральное мышление эпохи. А эмоциональное, художественное — это так, нечто побочное, второстепенное, чуть ли не хобби. Шумерин был прав, возмущаясь этим. Вот и ступили мы на Меркурий, как мы считали, двумя ногами. А на самом деле — одной. Вот мы и стоим на коленях...

Что за чушь, это я уж чересчур... А может, и нет? Надо проверить, хватит рассуждений. Если моя догадка верна, то... но хватит ли у меня способностей?..

Полынов придинулся ближе к стеклу, устроился поудобней, стал вглядываться. Невольно улыбнулся: такая кустарщина при наличии могучего арсенала приборов... Бааде, пожалуй, задохнулся бы от возмущения. Нет, нет, все, точка: прочь ненужные мысли. Надо смотреть, надо постараться увидеть...

Он видел стену, глухую стену мрака, и вначале ему показалось, что попытка безнадежна, что он напрасно дал себя увлечь **мимо** правильными рассуждениями. Перед ним просто мрак, черно-белый мрак.

Но он продолжал глядеть, все сужая и сужая поле зрения, кусочек за кусочком просматривая то, в чем тонул вездеход. Хорошо, что времени в избытке, торопиться некуда — давно так не было, чтобы не нужно было торопиться, довольствуясь мимолетным взглядом. Как они привыкли наблюдать мир, постоянно влекомые скоростью! Скала? Ага, скала. Оранжевое пятно выцветов на почве? Ага, пятно. И вот она уже скрылась с глаз, эта единственная в своем роде, совершенно неповторимая скала, совершенно уникальное пятно. Вот как они привыкли смотреть на мир. Естественно, мир велик, жизнь коротка, времени мало, тут не до подробностей — слишком много нового надо увидеть, испытать, понять.

Вокруг вездехода теперь что-то происходило. Теперь ли? Похоже, происходило непрерывно. Только раньше он не **вглядывался**.

Полынов увидел в стекле отражение своих глаз. На него смотрели его собственные зрачки — огромные и бездонные. Канал связи с внешним миром... Так что же происходит там, куда они смотрят?

Тени. Там, во мраке, шевелятся тени. Впрочем, никакого мрака нет, просто они поторопились окрестить это состояние меркурианского воздуха привычным словом. И на том успокоились. Да, мрака нет. Есть пульсирующие волны светотьмы, накатывающие на стекло. И тени. Нет, пожалуй, волн тоже нет, опять использован привычный образ, которому здесь не место. А что же есть?

Есть оттенки, переходы, переливы, множество оттенков и в черном и в белом. Преобладают голубоватые. И до чего же все зыбко! Переходы свершаются на грани способности глаза различать смену образов. Как мелькание спиц в быстро вращающемся колесе. Вот откуда впечатление глухой стены.

Все слишком рябит, сливается в однообразный фон. А все же, что именно мелькает?

От напряжения заболела голова, и Полынов на несколько минут дал глазам отдых. Потом снова их открыл.

Отдых ли был тому причиной, то ли еще что, но Полынов сразу увидел нечто новое: тени не были плоскими. У них был объем. Мгновенная чреда каких-то фигур, от которой рябит в глазах. Рябит! Разве они с самого начала не заметили, что меркурианский воздух рябит? Заметили. Но не придали значения. Ибо так и должно быть там, где атмосфера ионизирована и светится. Бааде обстоятельно объяснил почему.

Выходит, он видит бесформенные образы, создаваемые пульсациями светящегося воздуха. Что значит бесформенные? Это значит, что тени могут принимать любые произвольные очертания. Как он не сообразил этого раньше?

Не торопись, не торопись... Мгновенная смена мгновенных образов. Мгновенная — всегда? Надо разобраться без спешки.

Как, однако, все это нелепо выглядит, если разобраться. Сидит он, Полынов, на чужой, совсем-совсем чужой планете, и кислорода осталось часов на девять, не больше. Сидит, смотрит и думает, и от этого, возможно, зависит все. Сзади похрапывает Бааде; где-то волнуется Шумерин. Обстановка прямо противоречащая многим, с детства привычным понятиям о том, как в трудную минуту ведут себя герои космоса. Черт бы побрал тех, кто так задуряет мозги! Сверхмужество, сверхгеройство, сверхтехника, сверх... сверх... А вот сейчас у него одно только оружие: зрение. То самое зрение, которое и подвело в трудную минуту. Парадокс! Хотя... Нет, это надо запомнить! Какой-то очень важный обрывок мысли...

Да, так возникают ли в меркурианском воздухе немгновенные и небесформенные образы? По логике вещей, должны. Когда на Земле воздух обретает видимость — за счет мельчайших капелек воды, — так оно и бывает. Облака. Постоянное творение новых форм. Которые иногда становятся лицами, фигурами животных, башнями, чем угодно. А здесь воздух виден постоянно. Весь. В каждой точке происходят зримые перестановки. Вот что надо искать!

И Полынов смотрел, смотрел на то, что недавно было просто хаосом, и ему открывались в нем все новые и новые черты. И он проклинал себя за то, что никогда всерьез не интересо-

вался живописью, не изошрял свой глаз в наблюдениях за переменами света, тени, цвета, формы. Но кто же знал...

Внезапный порыв за окном заставил его вздрогнуть. Прямо на вездеход летел какой-то фосфоресцирующий сгусток. Снизу он заканчивался отростками, которые слабо шевелились, и это придавало ему сходство с медузой.

«Нечто» коснулось стекла, размазалось и исчезло, как будто его и не было. Все длилось мгновение, но это мгновение было ослепительной вспышкой, осветившей сумрак догадки.

У Полынова больше не оставалось сомнений. Теперь он уверенно ждал следующего появления. И его надежды не замедлили оправдаться. Ему уже не приходилось напрягать зрение, чтобы видеть и узнавать знакомое там, где недавно все было хаосом. Точно так же, как всякий, кто пристально вглядывается в очертания облаков, с какого-то момента начинает различать смысл, законченные скульптурные формы в их ленивой и случайной перестройке. Действовал все тот же «эффект узнавания», который заставляет слабонервного путника, однажды принявшего в сумерках куст рябины за человека в плаще, шарахаться от все новых порождений собственного воображения.

Полынов ликовал. Не требовалось больше усилий, чтобы видеть, как во мраке появляются странные рыбы, летает футбольный мяч, гримасничает морда льва... Некоторые из фантомов долго оставались в поле зрения; далеко не все образы были мгновенными...

Но радость открытия длилась недолго. Лицо Полынова постепенно хмурилось. Не потому, что это открытие объясняло далеко не все из того, что с ними случилось. Не потому. Психолог не был наивен, он прекрасно понимал, что потребуются еще годы работы, чтобы понятным стало если не все, то многое. Так всегда было, так всегда будет: что ясность никогда не приходит сразу и окончательно. Ведь познание — это бесконечный подъем к вершине, которой нет. И как бы относительно велик ни был шаг, сделанный вверх, какие бы горизонты он ни открывал, неизменно будет хотеться большего, потому что это большее возможно и достижимо. Но исследователю незнакома радость альпиниста, достигшего последней вершины.

Другое волновало. То, в чем он не сразу мог сознаться

даже самому себе, — слишком ответственным был вывод. Самым смелым знакомо сомнение в правоте своей мысли, когда она посягает взорвать старые представления. И не всякому дано это преодолеть. Планк, выдвинув идею квантов, не оценил ее последствий. Рентген не признал электрона, хотя его опыты подтверждали его существование. Великое число людей, которые, поднявшись на вершину, не смогли разглядеть новых далей, потому что их вид показался чересчур невероятным.

Для Полынова не был тайной психологический механизм внутренних тормозов, включающихся гораздо чаще, чем принято думать. И он не осуждал тех, в ком они срабатывали. Но сам он был уверен, что доведись ему оказаться на их месте, уж с ним бы этого не случилось! Он бы поверил себе.

Тем неожиданней было убедиться, что он робеет. Только теперь он понял, как трудно поверить в то, во что никто не верит и верить не может, ибо никто еще не прошел твоим путем. Для человека одиночество настолько невыносимо, что даже в мыслях он стремится быть со всеми, быть, как все.

Но Полынов понимал, что право на осторожность, на многократное обдумывание и проверку своих мыслей имеет тот, кто уверен в своем завтра. И что, следовательно, он такого права не имеет.

Со вздохом сожаления он вытащил меафон.

— Пусть лучше я буду выглядеть самоуверенным идиотом, чем...

Записывающий кристаллик меафона налился синим светом, одобрильно моргнул Полынову, как бы подстегивая его решимость.

Полынов заговорил, чуть шевеля губами, чтобы не разбудить Бааде.

— Слушайте последнее, что я могу сказать, — прошептал он традиционную фразу исследователей космоса. Ее произносили, когда не было уверенности в том, что говорившему удастся когда-нибудь повторить это самому. — В свое время думали, что мир везде и всюду принципиально тождествен тому, который окружает нас. И что его познание непосредственно доступно нашим органам чувств. Затем мы проникли в микромир. Выяснилось: нашим привычным представлениям там делать нечего. Взгляд бессилен увидеть там что-либо, слух услышать и воображение представить.

С помощью сверхсложных приборов, математических абстракций и «безумных» идей человек понял законы этого мира, и все же он до сих пор чужд нашим эмоциям, ибо ему нет соответствия в духовной природе человека. Можно сказать «угрюмая скала», но бессмыслицей прозвучала бы фраза «угрюмый мезон».

Однако мы по-прежнему пребывали в уверенности, что уж в макромире-то ничего подобного не случится. Что на любой планете наше «я» будет соответствовать тому новому, с чем мы столкнемся.

Ошибка. Стой наших мыслей и чувств, наша духовная сущность порождены Землей. Ее закатами, травами, светом ее дня, темнотой ее ночи. Ибо все органы чувств — а вне их нет общения с миром — идеально приспособлены к земным условиям. Впрочем, идеально ли? Зрение и на Земле нередко обманывает нас — в сумерках, при встрече с миражами. Оно, как и другие органы чувств, не идеально соответствует даже земным условиям. Тем менее должны мы ожидать, что они будут соответствовать качественно иной обстановке.

Так оно и есть. Осязание, обоняние, слух сразу перестали служить нам, едва мы вышли в космос. Настолько, что функция разведчиков с успехом была передана автоматам! Ибо нельзя осязать вакуум, невозможно слушать пустоту.

Но мы не ощутили большой потери, потому что зрение продолжало служить нам, и оно дает львиную долю информации. Правда, нам пришлось прибегнуть к светофильтрам...

Мы идем все дальше и дальше по пути вынужденного отказа от непосредственного восприятия макромира.

Какие последствия будет это иметь для человека и человечества, судить не берусь. Но что они будут значительными, сомнения нет. Ибо изменение обстановки меняет самого человека. Земное человеческое «я» не может остаться прежним, когда наступит время расселения на другие планеты. Это произойдет не скоро, но об этом надо думать сейчас.

Итак, в макромире тоже намечается барьер, преодоление которого потребует отказа от многих привычных черт нашего духовного мира и взамен — приобретения новых.

Где пролегает этот барьер? Я убежден, что мы уже встретились с ним. Меркурий — та ступень нашего движения, на которой нам отказалось уже и зрение. Мы видим здесь не то,

что есть на самом деле, ибо наше зрение решительно не приспособлено к меркурианским условиям. Участникам второй экспедиции придется смотреть — да, да, просто смотреть! — на пейзажи Меркурия через призмы какого-то хитроумного прибора. Иначе их будут поджидать те же ловушки, что и нас.

Но даже обыкновенное оконное стекло влияет на наш эмоциональный контакт с внешним миром. А уж полный отказ от непосредственной связи с окружающим...

Опасно ли это? Не думаю. Объективно процесс направлен на обогащение и расширение человеческого «я». Когда-то духовный мир человека не включал в себя ничего, кроме Земли. Со временем Земля станет лишь частью нашего «я»... Но вряд ли это расширение и обогащение будет идти гладко, ибо оно связано с ломкой многих основ. Задача моей науки — психологии и многих других облегчить переход нашего «я» к новому качеству.

Возможно, я в чем-то ошибаюсь. Возможно. Но лучше, ошибаясь, глядеть вперед, чем, не ошибаясь, стоять на месте, робко потупив взгляд.

Я кончил. Прошу читать эту запись лишь в том случае, если нам не удастся выбраться из той ловушки, куда нас завело убеждение, что земной опыт будет везде и всюду служить нам безотказно.

Полынов посмотрел на крохотный, пульсирующий в такт его дыханию кристалл. Синий, как небо Земли, кристалл, навечно вобравший в себя его мысли.

Вокруг плыла чужая ночь, отсчитывая для людей, быть может, последние часы. Но один из них безмятежно спал, словно дома, а другой думал о будущем. А где-то далеко третий готовился прийти к ним на помощь. И как это ни странно, как это ни противоречиво, Полынов чувствовал себя спокойно и счастливо. Сегодня он сделал больше, чем за всю свою жизнь.

## БАШНЯ МОЗГА



1

— Пешки тоже не орешки, — в третий раз за пять минут пробормотал Надеждин и взял ферзем пешку противника.

У Маркова, его партнера, пылали уши. Мочки их были ярко-красными, а верхняя часть отливалась фиолетовым. На мгновение он сосредоточенно наклонился над доской, очевидно подбодренный какой-то спасительной идеей, но тут же разочарованно откинулся на спинку кресла, горестно вздохнул.

— И примет он смерть от лопадки своей, — упавшим голосом сказал он и задумался.

Густов опустил книгу и взглянул на игроков.

— Сдавайся, дядя Саша, — сказал он. — По ушам видно: пора. Чем ярче они у тебя светятся, тем хуже твое положение. И наоборот.

— А ты садись сыграй сам, — ехидно предложил Надеждин.

— С удовольствием бы, не могу. Ты же знаешь, я так привык наблюдать за вами и за доской сбоку, что на обычном месте уже просто не в состоянии играть.

— Перестань трепаться, Володя, — сказал Марков. — Дай погибнуть с достоинством. Смерть, даже шахматная, не должна быть суеверной. А вообще надо мне бросать шахматы. Лучше займусь крестиками и ноликами. Прекрасная игра, как раз по моему интеллекту.

— Ну, началось, — усмехнулся Густов. — Традиционное самобичевание. Сейчас ты скажешь, что вообще не понимаешь,

как стал космонавигатором и как доверили грузовой космолет третьего класса «Сызрань», борт сто тридцать один четыреста семнадцать такому никчемному существу, как ты...

Внезапно космонавты почувствовали, как «Сызрань» завибрировала всем корпусом, и цепенящее ощущение катастрофы молнией промелькнуло в их сознании.

Негодующе заревел сигнал тревоги и растерянно замигали глазки приборного табло. Резкий толчок сбросил космонавтов на пол.

Марков и Надеждин одновременно попытались встать на ноги. Но тела их уже наливались чудовищной тяжестью. Она давила на них чугунным прессом, не давала дышать, деформировала их лица, уродливо расплющивая их.

Бесплотный голос автоматического анализатора торопливо захлебывался словами, но они не слышали их.

«Надо включить двигатели», — мучительно-медленно подумал Надеждин. Он не успел почувствовать страха. И мысли его и чувства были так же парализованы перегрузкой, как и распростертое на полу тело.

Скорее инстинктивно, чем волевым усилием, он попытался поднять руку, но даже нервные импульсы, казалось, не могли преодолеть своей многократно увеличившейся тяжести и передать команду мышцам. Сознание покидало его. Ставшая похожей на ртуть кровь отказывалась питать клетки мозга, и тяжелый багровый занавес медленно опускался на него. Последними проблесками мысли он пытался бороться с надвигающимся мраком, но через мгновение и последние искорки в его голове погасли.

Сознание возвратилось к Надеждину раньше, чем он смог вновь различать предметы. Но постепенно темнота теряла густоту, как будто кто-то постепенно разжигал ее. Она истончалась, становилась зыбкой, и Надеждину почудилось, что вот-вот сквозь нее забрезжит свет. Он уже понимал, что что-то ощущает, и терпеливо ждал, пока мысль соберется с силами в глубинах его мозга и неторопливо всплынет на поверхность сознания, примет четкую форму.

Вот уже к ощущению редеющей темноты добавилось чувство боли, которой, казалось, было налито все его тело. Он раскрыл глаза и долго не мог сфокусировать непослушные зрачки: поле зрения наполнял зыбкий зеленый туман.

Теперь ему казалось, что именно этот зеленый туман не дает ему ясно мыслить.

Внезапно в мозгу у него вспыхнул ярчайший свет, вязкие медлительные мысли сразу приобрели легкость, понеслись, закружились. Ну, конечно же, он лежит лицом на зеленом пластике пола рубки. Он, командир «Сызрани», жив и все помнит. Все. Прежде чем он понял, что делает, он уже упирался руками в пол и подтягивал под себя колени. Мускулы плохо слушались его. Им владела лихорадочная торопливость. Встать! Быстрее встать на ноги.

Наконец ему удалось подняться на колени, и в то же мгновение он увидел обращенные на него глаза Густова. Володя смотрел на него, и вдруг его покрытое синяками лицо искалилось слабым подобием улыбки.

— Володька! — крикнул Надеждин и сделал шаг по направлению к товарищу. Тот слабо качнул головой и приподнял брови, как бы указывая на приборное табло. Надеждин повернул голову и в то же мгновение вдруг понял, что означали звуки, уже несколько минут складывавшиеся в его сознании в какой-то привычный шумовой фон.

— Корабль находится на высоте тридцати метров над поверхностью планеты Бета Семь, — бормотал автоанализатор. — Корабль не падает из-за антигравитационного поля. Корабль находится на высоте...

— Ребята, я уже умер или действительно я слышу слово «метр»? — раздался слабый голос Маркова.

После страшной и непонятной катастрофы «Сызрань» преспокойно висела в поле антигравитации всего в тридцати метрах от поверхности чужой планеты, мимо которой они должны были пролететь на расстоянии двухсот тысяч километров. Этого не могло быть, и вместе с тем это случилось. Анализатор никогда не ошибался. Космонавты переглянулись.

— Ладно, метры, километры или парсеки, — пробормотал Густов, — пока что мы живы и «Сызрань», по всей видимости, цела. Не знаю, как вас, меня как минимум это устраивает...

\* \* \*

Ракета висела над самой поверхностью планеты. Ее экипаж затаив дыхание прилип к экранам обзорных стереовизоров. Под ними расстипалось почти безукоризненно ровное

плато, на котором в лучах солнца сверкали небольшие металлические прямоугольники, расположенные в шахматном порядке. Подле них застыли странные неподвижные фигуры.

Начинался спектакль, о котором в душе мечтает каждый космонавт, будь он участником исследовательской экспедиции или пилотом обыкновенного «грузовика», в сотый раз летящего по проторенным космическим дорогам.

Космонавты молчали. Смогут ли они снова подняться с этой планеты, вернутся ли когда-нибудь на родную Землю — они не могли сейчас думать ни о чем, кроме того, что происходило всего в нескольких десятках метров от них. Там была жизнь, и, по всей видимости, высокоорганизованная жизнь, ибо все трое понимали, что поймать космолет при помощи направленного поля мощнейшего тяготения — другого объяснения не было — под силу далеко не каждой цивилизации.

— Эх, Саша, Саша, — вдруг прервал напряженное молчание Густов, обращаясь к Маркову, — совсем недавно ты утверждал, что годишься только для игры в крестики и нолики. И что же? Волею судеб входишь в историю. Подними повыше ногу, у истории высокие пороги... Ребята, детки мои, вы вообще понимаете, где мы и что с нами приключилось?

И как всегда, болтовня Густова разридила нервное напряжение космонавтов.

— Нет, конечно, — ворчливо и вместе с тем благодарно пробормотал Надеждин, — куда нам!

— Лучше посмотрите на анализ атмосферы, — сказал Марков. — Дышать можно. Не совсем, правда, как кислородная палатка в больнице, но задохнуться без скафандров не задохнемся. Нас могут убить, съесть, мы можем подохнуть с голода, но при этом по крайней мере мы будем спокойно дышать.

В это мгновение «Сызрань» едва заметно дрогнула, неподвижные фигуры на экранах стереовизоров стали расти, приближаясь, и вот уже корабль мягко прикоснулся к чужой земле.

— Товарищ командир корабля, — сказал Густов. — Дозвольте обратиться. В случае наличия бетянок имею ли я право...

— У тебя, Вольдемар, хватает землянок, — сказал Марков.

— Дядя Саша, зависть угнетает жизнедеятельность орга-

низма, — ответил Густов, — а он тебе еще может понадобиться.

— Ребята, — сказал Надеждин, — вы знаете, что самое страшное в космосе? Это ваш бесконечный трёп. Я понимаю, что вы подбадриваете друг друга и меня тоже, но нельзя ли это делать как-нибудь понезаметнее? Мы очутились на незнакомой планете, нас насиливо посадили на нее какие-то, очевидно, разумные существа, и я должен выслушивать чушь, которую синхронно несут два идиота в комбинезонах. Приготовиться к выходу. Думаю, что оружия брать не следует. Если они уж сумели закинуть гравитационный аркан на космический корабль, наши три пистолета вряд ли их испугают...

Они молчали теперь. Надеждин, протянувший руку, чтобы открыть люк, на мгновение застыл, посмотрел на товарищей и почувствовал, как его заливает огромное теплое чувство любви к этим людям, которые, если бы и пришлось умереть, наверняка умерли бы с шуткой. «Смерть не должна быть суетливой», — вспомнил он слова Маркова. Он любил этих людей и знал, что они любят его. Он не стеснялся этой любви, хотя они никогда не говорили о ней, и понимал, что без нее они просто не смогли бы жить и работать в космосе.

Марков одними глазами улыбнулся Надеждину и кивнул головой.

Надеждин нажал на кнопку, послышалось легкое жужжание мотора, и тяжелая дверь люка послушно отошла в сторону.

Один за другим космонавты вышли из «Сызрани» и огляделись.

Красноватое плато, на которое опустилась «Сызрань», казалось ровным как стол. Странные металлические прямоугольники, простиравшиеся до самого горизонта, сверкали в лучах чужого солнца.

Но экипаж «Сызрани» не рассматривал расстилавшийся перед ним пейзаж. Космонавты смотрели на безмолвные фигуры, которые неподвижным кольцом окружали их корабль. Метров двух с половиной ростом, они были похожи одновременно и на людей и на роботов. У них были шаровидные головы с двумя парами глаз, расположенных по окружности, но без какого-либо намека на рот, нос или уши. У них было по две руки с мощными, похожими на зажимы, паль-

цами и по две массивные ноги. Одежды на них не было, и голубовато-белая поверхность их тел сверкала, словно металл.

— Экипаж советского космолета «Сызрань» приветствует вас, — сказал по-русски Надеждин. Он понимал, как странно звучали здесь эти земные слова, и знал, что их никто не поймет, а может быть, и не услышит, но он произнес их скорее для себя и своих товарищей и не стеснялся торжественности, которую вложил в приветствие.

Бетяне по-прежнему безмолвно смотрели на них, нацелившись на космонавтов объективами своих глаз. Ни одним движением, ни одним звуком они не показали, что что-то понимают. Внезапно, словно повинуясь внутреннему сигналу, они сделали несколько шагов вперед, окружили экипаж «Сызрани» плотным кольцом и отрезали космонавтов от корабля. Проделав этот маневр, металлические существа снова замерли. Двигаясь, они несколько напоминали людей, ибо движения их были похожи на человеческие. Застыв, они больше походили на какие-то чудовищные металлические скульптуры, потому что в их абсолютной недвижности уже не оставалось ничего живого.

— Может быть, у них просто принято приветствовать пришельцев молчанием? Как у нас провожать усопших? — пробормотал Марков.

— А может быть, эти бетяне просто дурно воспитаны? — добавил Густов. — Если и бетянки похожи на них...

Надеждин сделал несколько шагов вперед, направляясь к ближайшему металлическому существу. Он поднял руку и еще раз повторил:

— Экипаж советского космолета «Сызрань» приветствует вас.

Ни одного движения, ни одного звука. Ничья голова не качнулась в ответ, ничья рука не поднялась для приветствия, ничьи ноги не сделали шага, чтобы подойти к космонавтам. Тишина.

— Может быть, это вовсе не хозяева планеты? — спросил Марков. — Может быть, это просто бездумные роботы? Может быть, такие скучные и повседневные дела, как встреча чужих космолетов, ниже достоинства истинных бетян, и потому на эту церемонию они прислали роботов?

Надеждин пожал плечами.

— А что, Коля, — спросил его вдруг Густов, — если нам

взять да и растянуться на травке? Раз они встречают нас не по дипломатическому протоколу, позволим и мы себе чуть меньше формальностей.

Густов опустился на землю и с наслаждением потянулся. Рядом с ним уселись его товарищи.

Красноватая невысокая трава, значительно более густая, чем на Земле, пружинила, как матрац. Колеблемая ветром, она издавала легкий шорох, как будто стебли ее были жестяными. «Словно листья кладбищенских венков», — подумал Марков и поморщился от пришедшего в голову сравнения.

— Черт те что, — сказал Густов. — Ну кто нам поверит, что встреча с чужой цивилизацией может проходить именно так? Хозяева стоят не двигаясь, а пришельцы валяются на траве, задрав ноги к чужому небу.

— Будем надеяться, что это самое худшее, что нас ждет на Бете Семь, — ответил Марков. — Если бы не было вокруг этих сверхвоспитанных джентльменов и я бы сейчас проигрывал командиру очередную партию в шахматы, вполне можно было бы представить, что мы дома...

Они еще не привыкли к тому, что случилось, и инстинктивно, чтобы скрыть растерянность, старались вести себя нарочито буднично, выбирая в разговоре самые будничные слова.

Неожиданно круг безмолвных сторожей разомкнулся, и перед ними оказалась странного вида тележка. С плоской платформой, без колес, она имела с одной стороны точно такую же шарообразную голову, что и стоявшие рядом роботы.

Одно из молчаливых существ сделало шаг вперед и потеснило космонавтов к платформе.

— Слава тебе господи, — вздохнул Густов. — Я бы не удивился сейчас, если бы кто-нибудь из них сказал: «Экипаж подан!»

— Ну что ж, ребята, здесь распоряжаемся не мы, а кто-то другой, — заметил Надеждин. — Другого выбора, очевидно, у нас нет.

Они забрались на платформу, ожидая, что впереди них вот-вот усядется водитель. Но вместо водителя с переднего края тележки на них внимательно смотрели два огромных глаза шарообразной головы на невысокой тумбе.

— Ни дать ни взять — механический кентавр, — сказал Марков, — гибрид робота и автомобиля.

Края платформы медленно загнулись вверх, и тележка бесшумно и плавно заскользила над почвой Беты Семь.

В течение нескольких минут перед ними мелькали все те же металлические прямоугольники, которые они уже видели раньше, потом плато кончилось, и они понеслись по слегка холмистой долине, которую то здесь, то там оживляли разнообразной формы курганы и полуразрушенные стены каких-то строений.

Еще через полчаса тележка сбавила скорость и вплыла в огромный поселок, весь застроенный одинаковыми зданиями без окон. Между ними брели такие же роботы, как те, что встретили их. К величайшему изумлению космонавтов, никто не обратил на них ни малейшего внимания.

Тележка мягко опустилась на землю у невысокого строения, такого же голубовато-белого цвета, как и сама тележка, и роботы, и остальные здания. У входа стояли два робота, которые молча ввели их в круглый пустой зал и тут же вышли.

— По сравнению с ними я чувствую себя настоящим болтуном, — вздохнул Густов.

— Не только с ними, — усмехнулся Надеждин. Он огляделся вокруг.

В зале с низким потолком не было ничего, на чем можно было бы остановить взгляд. Голубовато-белые стены, потолок и пол были освещены призрачным неярким светом, который, казалось, излучался отовсюду. Ониостояли несколько минут на месте, не зная, что делать. Они ждали, что сейчас кто-нибудь войдет и этот странный мир перестанет давить на них своим безучастием. Но никто не появлялся в круглом пустом зале, и даже той двери, через которую они вошли, не было видно. «Очевидно, идеальные зазоры», — зачем-то подумал Надеждин и подошел к мерцающей стене. Поверхность ее была твердой и казалась бы металлической, если бы откуда-то из глубин материала не исходил неяркий свет.

Тишина гудела в их ушах током крови, давила их, заставляла напрягаться. Люди устроены так, что должны жить в озвученном мире. Абсолютная тишина противостоят, она заставляет человека напрягаться в безотчетной тревоге, потому что подсознательно полное безмолвие ассоциируется со смертью.

— Да-а, — протянул Марков, — со мной всегда так. Всю жизнь я о чем-нибудь мечтаю, а когда мечта сбывается, она оказывается совсем не такой, какой виделась мне. Неизвестная цивилизация... Незнакомые существа бросаются к нам на встречу, восхищенно рассматривают нас, пожимают руки...

Надеждин ничего не ответил. Он думал. Их корабль был пойман в космосе лучом искусственной гравитации. Теперь это уже почти не вызывало сомнения. Затем у самой поверхности планеты знак этой гравитации изменился, и они повисли в луче антигравитации. Только высокоразвитый интеллект мог создать такую установку. А теперь этот незнакомый мир встает перед ними стеной абсолютного равнодушия, равнодушия, свойственного скорее неживой природе. Может ли вообще разум быть лишен любопытства? Очевидно, нет. Ведь основное качество разума — это безотчетное стремление понять и объяснить незнакомое и непонятное. А они наверняка незнакомы этому миру...

— А может быть, это просто-напросто карантин? Может быть, гравитационный прожектор у них есть, а сыворотки против кори и коклюша нет? — сказал Густов, словно отвечая на мысль Надеждина.

— Смотрите, смотрите, — крикнул Марков, показывая на потолок. — Вам не кажется, что он стал ниже? А?

— Как будто да, — неуверенно протянул Надеждин. Он попытался найти взглядом какой-нибудь ориентир, чтобы определить, действительно ли опускался потолок, но ничего не нашел. Тогда он вытянулся на носках во весь свой огромный рост, поднял руки и кончиками пальцев с трудом коснулся потолка.

Прошло несколько минут. Все трое, задрав головы, напряженно всматривались в голубовато-белую поверхность над собой. Надеждин снова поднялся на носки, но теперь ему уже не нужно было вытягивать пальцы, чтобы дотронуться до потолка. Он легко касался его ладонями. Прошло еще несколько минут. Они уже не могли стоять. Им пришлось опуститься на пол, а голубовато-белая поверхность продолжала медленно и бесшумно приближаться к ним, словно поршень огромного цилиндра, и вместе с ним вокруг космонавтов, казалось, сжималась цепенящая тишина.

Надеждин смахнул со лба капли пота. «Но это же бред, абсурд», — подумал он, подполз к стене и замолотил по ней

кулаками. Ни звука в ответ. Ничего... Откуда-то из самой глубины сознания тошнотворной волной неудержанно подымался страх. Привычным усилием воли он боролся с ним, отталкивал его, сопротивлялся, но страх не отступал.

Он посмотрел на товарищей. Густов стоял на четвереньках, упираясь спиной в нависший над ним потолок, и пытался удержать его неотвратимое движение. Его лицо, искаженное гримасой усилия, побагровело. Обессиленный, он упал на живот, судорожно хватая воздух широко раскрытым ртом.

Потолок опускался все ниже и ниже, и они уже лежали, стараясь вжаться в пол, спрятаться от чудовищного пресса. Секунды загустели, растянулись, отсчитываемые судорожными ударами сердец. Мысли уже не повиновались им. Подстегиваемые страхом, они метались в головах людей, взрываясь то одной, то другой ярчайшей картиной их жизни, жизни, с которой космонавты должны были теперь расстаться.

Потолок коснулся спины Надеждина, и вместе с этим прикосновением он обрел какое-то странное спокойствие.

Послышался еле уловимый свист, и все три космонавта каким-то шестым чувством догадались, что опасность миновала.

Еще не веря предчувствию, они подняли головы и увидели, что потолок уже возвратился на то место, где он был каким-нибудь полусном раньше.

Несколько секунд космонавты молчали, не в силах подняться. Но вот странные зыбкие мгновения прошли, и горячая, буйная радость возвращения к жизни захлестнула экипаж «Сызрани».

— Ну что? — торжественно крикнул Густов. — Чей горб спас вас?

— Твой, твой, Володя, — согласился Марков. — Это ты напугал их, став на четвереньки.

Лицо Надеждина медленно расплывалось в неудержанной улыбке. Командир «Сызрани» сгреб в охапку товарищей и даже попытался приподнять их над полом.

— Хватит, Коля, — крикнул Марков, — подумай о командирском авторитете!

Надеждин отпустил товарищей на землю, и в ту же секунду открылась дверь и в зал вошел робот. Он подошел к космонавтам, внимательно осмотрел их передней парой огромных глаз и протянул руку Густову.

— Очень приятно, — сказал Густов и, в свою очередь, протянул руку.

Робот обхватил ее своей клешней, и Густов скривился от боли. Он попытался выдернуть руку, но не мог. Бетяний сжимал ее, словно тисками.

— Эй, — проговорил космонавт, — поосторожнее!

Но робот, казалось, не обращал на его движения и возгласы ни малейшего внимания.

Он оттащил Густова на несколько метров от товарищей, и вдруг тот закричал. Лицо его исказилось. Он поднял свободную руку, чтобы оттолкнуть от себя голубовато-белое существо, но и его вторая рука оказалась захваченной клешней робота.

В то же мгновение Надеждин, а за ним и Марков бросились на робота, осыпая его ударами и пытаясь свалить с ног, но он, казалось, даже не замечал их. Он был массивен и, по всей видимости, обладал огромной силой. Надеждин схватил его двумя руками за шаровидную голову, попытался отогнуть ее, но не смог.

— Бросьте, хватит, — хрипел Густов.

Так же неожиданно, как вошел, робот разжал свои клешни, повернулся и преспокойно вышел из зала.

Космонавты долго смотрели ему вслед. Страх за товарища и ярость короткой схватки медленно уходили, оставляя за собой глубочайшее изумление.

Все еще прерывисто дыша, Марков сказал:

— Чего ждать теперь? Начнет подниматься пол? Или сжиматься стены? Или робот начнет обнимать нас по очеди?

Густов молча пожал плечами, растирая вспухшую ладонь.

## 2

Кирд номер Двести семьдесят четыре возвращался домой. Он шел по улице, выбирая кратчайший маршрут. Он шел не спеша, тем наиболее экономным и размеренным шагом, каким ходят все кирды, не выполняющие во время движения какого-либо приказа. Войдя в дом, он поднялся на третий этаж, прошел по длинному коридору, по обеим сторонам которого располагались одинаковые загончики, открыл дверь своей кро-

шечной комнаты без окна, пространства которой хватало как раз для того, чтобы он мог стоять. Привычным жестом он открыл у себя в правой стороне живота небольшую дверцу, вытащил провод подзарядки своих аккумуляторов и включил вилку в штепсель. Затем левой рукой нажал кнопку отключения активного сознания на груди и погрузился в небытие.

Это был не сон, в который входят медленно и постепенно и мир становится зыбким, теряет четкие очертания и логическую связь вещей. Это небытие, которое поглотило кирда в то самое мгновение, когда ток перестал питать его мозг.

У Двести семьдесят четвертого не возникало желания обождать с нажатием кнопки хотя бы несколько секунд. Бытие или небытие были ему безразличны, и он расставался с сознанием так же естественно, как выполнял все то, что составляло жизнь кирдов.

Он почти не расходовал энергию в выключенном состоянии, и лишь дежурный вход команд связывал его с миром. Так оностоял в своем закутке всю ночь и, может быть, постоял бы еще много дней и ночей. Но вот бодрствующий участок его мозга получил приказ приготовиться. Этот телеприказ, проникнув в Двести семьдесят четвертого, включил ток и замкнул контакты сознания.

Подобно выключению, включение было мгновенным. Но он не начал вспоминать то, что случилось вчера, и не думал о том, что случится сегодня. Просто в логических цепях его мозга начал пульсировать ток.

Кирд номер Двести семьдесят четыре был готов к выполнению команд. Он отсоединил себя от источника подзарядки и спокойно стоял, ожидая дальнейших приказов. Вернее, не спокойно, а неподвижно, ибо спокойствие или отсутствие его были неведомы кирдам, так же как и другие чувства.

Через несколько минут Двести семьдесят четвертый получил второй приказ явиться в Центральную лабораторию для изучения находившихся там трех живых объектов. Он должен был снять их энергетические характеристики и провести сравнительный анализ их реакций на внешнюю среду.

Двести семьдесят четвертый зафиксировал полученные приказы, вышел на улицу и направился к круглому зданию Центральной лаборатории. На этот раз он шел быстро, как

ходят кирды, выполняющие приказ. Его совершенный мозг на ходу составлял план экспериментов, перебирал подходящие аналогии, оценивал, отбирал из своей гигантской памяти то, что могло пригодиться для выполнения приказа.

Думая, он никогда не употреблял слова «я». И не из-за отсутствия этого слова в языке кирдов, а потому, что у него никогда не возникало потребности в нем. Он не ощущал своей индивидуальности. Он, разумеется, знал, что кирд Двести семьдесят четыре — это он, и мгновенно выполнял все приказы, адресованные ему, но он был скорее частью единого организма, единой организации и не нуждался в слове «я». Но, несмотря на свой высокоразвитый интеллект, он никогда не анализировал проблемы индивидуальности, ибо он ни разу не получал от Мозга приказа изучить эту проблему.

Двести семьдесят четвертый шел по улице, торопясь к зданию лаборатории. На перекрестке он остановился у приземистого здания проверочной станции, подождал, пока стоявший перед ним кирд освободит место, и подключился к контрольному стендсу. Проверочные импульсы тока мгновенно пронеслись по логическим цепям его мозга, и красный огонек над стендом показал, что Двести семьдесят четвертый не имеет дефектов и может выполнять приказы. Ни один кирд не мог начать рабочий день, не пройдя проверки. Если, как это изредка бывало, над стендом вспыхивала не красная, а зеленая лампочка, испытуемый переходил в соседнее помещение, где несколько кирдов быстро демонтировали его, отправляя разобранные части на переработку. Кирды никогда не ремонтировались, так как ремонт сложнейшего мозга был более трудоемким процессом, чем изготовление нового.

Двести семьдесят четвертый не обрадовался красной лампочке и не огорчился бы, увидев зеленую. Разумеется, он знал бы в таком случае, что подлежит демонтажу и переработке, и сам перешел бы в соседний зал, где его разобрали бы на части. Мало того, пока демонтажники не извлекли бы из него аккумуляторы, он сам бы начал отсоединять свои нижние конечности, помогая им. И ни разу, ни на мгновение в его совершеннейшем мозгу не шевельнулась бы мысль о том, что вот-вот он перестанет существовать, исчезнет навсегда. Для кирдов не существовало смерти, как не существовало рождения, для них никогда не было ни начала, ни конца. Существование, самосознание не давало им радости, но не причиняло и

горя. Жизнь каждого кирда была абсолютно похожа на жизнь остальных кирдов, и, исчезая, он не терял ничего своего, ничего того, что было бы связано именно с ним, только с ним. Поэтому-то они воспринимали демонтаж как нечто вполне естественное, будничное, не требующее особого анализа и размышлений.

У входа в лабораторию Двести семьдесят четвертого поджидал Шестьдесят третий. Быстро и четко он сообщил ему о результатах вчерашних экспериментов, а также об уже расшифрованных словах незнакомых объектов.

Кирд вошел в круглый зал. На полу сидели три существа, которые мгновенно вскочили на ноги и уставились на него. «Всего два глаза, низшая ступень развития техники», — подумал Двести семьдесят четвертый. Он не испытывал ни любопытства, ни удивления, ни страха, он вообще никогда ничего не испытывал. Его мышление было безукоризненно рационально, логично и стройно. Он думал, но не чувствовал. Хаотические эмоции не мешали его мозгу решать сложнейшие задачи. В великолепном мире математического анализа не было места для всеразрушающего вихря страстей.

Три испытуемых объекта стояли и смотрели на него.

— Вы люди, — сказал медленно Двести семьдесят четвертый, мгновенно и безошибочно отыскивая в своей бездонной памяти сведения, только что сообщенные ему Шестьдесят третьим. — Так вы называете себя.

Кирд смотрел на людей и отмечал странности их поведения. Они широко раскрыли глаза и рты, посмотрели друг на друга, и лица их почему-то исказились. Вокруг глаз побежали маленькие морщинки, а сами глаза резко сузились. У мягкого выступа с двумя отверстиями внизу тоже образовались две глубокие складки, а горизонтальная прорезь, очевидно энергетический вход, приоткрылась, обнажив твердые белые образования.

Двести семьдесят четвертому понадобилось всего несколько секунд, чтобы проанализировать реакцию людей на произнесенные им звуки. Реакция была лишена какого-либо смысла. Получив информацию, интеллект может либо запечатлеть ее, либо, если он считает ее ненужной, отбросить. Эти же люди проделали массу излишней работы, затратили излишнюю энергию. Разве что они сохраняли информацию, деформируя мягкий покров своих лиц. Но это было мало-

вероятно, так как, очевидно, такой способ хранения информации не обеспечивал даже минимальной емкости памяти. К тому же эти искажения не оставались неизменными, а все время скользили, менялись, исчезали и снова появлялись.

Люди что-то возбужденно говорили ему, друг другу, делая массу нерациональных и явно бессмысленных движений конечностями, головой и корпусом. Но кирд, глядя на них, думал о том, что передал ему Шестьдесят третий о результатах вчерашних экспериментов. Тот тоже отметил целый ряд странных реакций, особенно при опускании потолка, и пришел к выводу, что люди находятся на довольно низком уровне интеллектуального развития. Интеллект прежде всего характеризуется рациональностью. Эти же существа систематически реагировали на внешний мир в высшей степени сумбурно. Естественно, что при опускании потолка они не знали, где он остановится. Они вполне могли предположить, что будут раздавлены. Но для чего множество слов, повышенная частота дыхания, явно бессмысленная попытка удержать потолок спиной? Разве может так реагировать интеллект на приближение небытия? Совершенно очевидно, что мышление их примитивно, как и их общая конструкция. Может ли существовать цивилизация, когда ее носители все еще находятся на биологическом уровне развития, как растения? Когда их тела слабы и обладают ничтожной прочностью?

Двести семьдесят четвертый еще раз внимательно посмотрел на людей и приступил к дальнейшим экспериментам. Пожалуй, именно реакция на опасность пока что наиболее понятна. Очевидно, ее нужно исследовать подробнее, а потом сделать полную запись содержимого их мозга.

«Вот еще, — подумал Двести семьдесят четвертый, — они теперь все время показывают пальцами на щели на своих лицах и произносят слово «есть». Поскольку движения и слово повторяются, они вряд ли случайны. Очевидно, они пытаются привлечь мое внимание. Что это может значить? Они в чем-то нуждаются. Очевидно, в энергии. А раз структура их биологическая, низшего типа, они лишены аккумуляторов и должны восполнять потерю энергии каким-то другим способом. Ясно, что на корабле у них должен быть запас нужной для них энергии. Значит, нужно отправиться на корабль, чтобы принести им их «есть». Слово «есть», должно быть, и означает их энергетический источник».

\* \* \*

— Послушайте, ребята, — задумчиво сказал Надеждин, — у вас нет ощущения, что все эти идиотские штучки имеют свою логику? Вам не кажется, что они нас просто изучают? Как каких-нибудь инфузорий? Я все время чувствую себя так, словно я зажат между двумя предметными стеклышками и на меня направлен объектив микроскопа.

— Ну я, положим, под микроскопом себя не чувствую, — вздохнул Густов и посмотрел на руку, на которой еще оставались следы металлического рукопожатия. — Скорее под асфальтовым катком. К тому же вообще нельзя изучать живое существо, которое умирает с голоду.

Послышался легкий шорох, и открылась дверь. Вошедший кирд положил перед ними несколько знакомых синих сумок со словом «Сызрань» на каждой из них. Дрожащими от нетерпения руками они раскрыли сумки и увидели в них свои пищевые рационы.

— Нет, они все-таки толковые ребята! — крикнул торжествующе Густов, раскрывая обеденную коробку. — Кое-что они смысят.

Они ели, обменивались шутками, и настроение их улучшалось с каждой минутой. Кончив обед, они заметили, что дверь осталась незатворенной.

— А что, если нам попробовать выйти? — нерешительно спросил Марков. — Или не стоит? Здесь по крайней мере мы уже знаем, чего ждать...

— Пошли, — решительно сказал Надеждин. — Кто знает, может, удастся добраться до корабля...

Они вышли на улицу. Никто не остановил их, никто, казалось, не следил за ними, никто не обращал на них никакого внимания.

Мимо них вдоль бесконечных и совершенно одинаковых строений без окон проходили роботы, похожие друг на друга, невозмутимо спокойные и молчаливые. Через несколько минут космолетчики заметили, что часть из них идет быстро, часть значительно медленнее. Похоже было, что у них было всего две скорости передвижения — первая и вторая.

Они не видели, чтобы хоть какой-нибудь бетянин на мгновение задержался и посмотрел на них. И даже не останови-

ливаясь, они ни разу не повернули в их сторону свои огромные глаза-объективы.

Эта механическая безучастность казалась людям противовесственной. И вместе с тем голубовато-белые обитатели города не походили на части машины, ибо они шли каждый по какому-то своему делу, не соприкасаясь с другими и не влияя на других.

— М-да, — в глубочайшем изумлении пробормотал Густов, — эти ребята как раз по мне, весельчаки, балагуры, зеваки...

— Я сейчас подумал, — сказал Надеждин, — что случилось бы, если в Москве на улице вдруг показалась бы тройка этих типов. Как мы здесь. Вы себе представляете?

Все трое засмеялись. Забыв на минуту об окружавшем их странном мире, они наперебой принялись рисовать поведение москвичей при виде тройки металлических бетян, гуляющих по улице Горького.

Внезапно несколько роботов, мерно переставлявших ноги впереди них, резко ускорили шаг, почти побежали. Они пересекли улицу и бросились к другому роботу, который шел медленнее, чем все остальные, то и дело нерешительно останавливалась. Он наверняка видел своих преследователей задней парой глаз, но не сделал и попытки убежать. Несколько металлических рук схватили его. Послышалось царапание металла о металл, и он упал. Кирд не сопротивлялся, не пытался вырваться. Он просто лежал на земле. Он даже не был покорным, он был безучастным.

Надеждин было сделан шаг вперед, но одумался и застыл, глядя на необычную сцену. Один из роботов протянул руку к животу поверженного, раскрыл в нем небольшую дверцу и вытащил из углубления несколько круглых предметов. Лежавший робот слегка осел как бы под своей тяжестью. Его правая нога, согнутая в колене, медленно распрямилась.

К тротуару неслышно подплыла тележка, такая же, как та, на которой их привезли в город. Те же роботы подняли лежавшее тело и небрежно швырнули на платформу. Неестественно согнутое, оно лежало на тележке голубовато-белой металлической грудой, и космонавты, застыв на месте, смотрели, как поднялись края платформы и как тележка, бесшумно скользя над землей, скрылась за ближайшим поворотом.

Космонавты молчали. Бетяне, которые только что расправились со своим товарищем, как ни в чем не бывало снова двинулись вперед, каждый по своему делу. Ни одного лишнего движения, ни одного звука, кроме шороха торопливых шагов.

— Гм, — хмыкнул Марков, — чистая работа. Возлюби ближнего, как брата своего...

Ему никто не ответил. Унылые ряды зданий без окон внезапно кончились. За последним из них простиралась слегка холмистая долина. Где-то там за нею на каменистом плато стояла «Сызрань».

Они все время думали о корабле, сотни раз обсуждая вопрос, включен или выключен гравитационный прожектор, смогут ли они подняться с Беты, если окажутся там, на плато, и сейчас, оставшись одни, вдруг ощутили какую-то неуверенность. Конечно, они хотели оказаться в привычной рубке «Сызрани», ощутить родную атмосферу космолета, направляясь домой, но вместе с тем непонятная Бета с ее голубовато-белыми роботами дразнила их любопытство. Нет, они все же не имели права не сделать попытки выбраться отсюда. Космонавты переглянулись, поняв друг друга, но в то же мгновение перед ними оказался робот и молча показал им на город.

Они поняли его жест. И, к своему величайшему изумлению, даже почувствовали облегчение... Они оставались на Бете.

### 3

Первым проснулся Марков. Он несколько минут лежал в полудреме, когда просыпающийся мозг еще не в силах отогнать сновидения. Но вот затекшая от неудобного лежания шея заставила его открыть глаза и сесть. В первое мгновение ему почудилось, что он еще спит и что бодрствование лишь снится ему. Вокруг стояла густейшая темнота. Мрак ощущался физически, он был так плотен, что казалось: проникни в него луч света, он сломался бы, ударившись о него.

За несколько дней, проведенных в круглом зале лаборатории, они уже смыклись с постоянно освещавшим его неярким сиянием. Но сейчас все вокруг было черно. Темнота уничтожила ощущение пространства. То Маркову казалось, что сте-

ны где-то совсем рядом, стоит лишь протянуть руку, чтобы коснуться их, то вдруг он ощущал себя безмерно крошечной точкой в бесконечном океане мрака.

Он прислушался. Все кругом безмолвствовало, и лишь рядом слышалось ровное дыхание спящих товарищей. Он обрадовался этому звуку так, как никогда не радовался ни одному звуку на свете. Он возвращал его в мир привычных ощущений, в мир, в котором нужно действовать, что-то делать, а не ждать, пока абсолютный мрак и тишина не начнут гасить сознание.

— Коля, Володя, — почему-то прошептал он.

Он разбудил товарищей, и втроем они долго сидели, всматриваясь в черноту, и напряженно прислушивались к безмолвию. Первый страх уже прошел, и они начали думать, что делать.

— Давайте-ка ощупаем стены, черт его знает, может быть, найдем дверь, — сказал Надеждин.

— Ее и при свете-то не было заметно, — ответил Марков, но встал потягиваясь. Вытянув перед собой руки, они медленно двинулись вперед, пока не коснулись стены.

— Значит, я иду в одну сторону, вы — в другую, — сказал Надеждин. — Где-то мы встречаемся, поскольку зал круглый. Может быть, удастся нащупать дверь.

Они двинулись вдоль стены, тщательно ощупывая ее поверхность. Она была гладкой и казалась во мраке бесконечной.

— Ну, как у тебя, Коля? — спросил Марков.

— Пока ничего, — ответил откуда-то из темноты Надеждин.

— Ой! — вдруг вскрикнул Густов. — Есть! Вот она, болезная, дверца наша милая!

— Где? Где?

— Да вот, чуть приоткрыта, давайте ваши руки, ну, нашли? Слава космическому богу.

Втроем они ощупали слегка выступавший на гладкой стene край двери. Надеждин вцепился в него пальцами и напряг мышцы. Ему показалось, что дверь слегка подалась.

— Ну-ка, давайте все втроем, — скомандовал он.

Массивная металлическая дверь пошла легче, и вдруг в образовавшуюся щель ударил яркий луч света. Они стояли, тяжело дыша, и щурились после темноты.

— Да-а... — протянул Густов. — У меня такое впечатление, что эти железные детки только тем и занимаются, что придумывают нам все новые загадки. Сидят какая-нибудь представительная комиссия роботов и изобретает специально для нас сюрпризы... С их головами они еще не то придумают.

Они вышли на улицу и — замерли. Улица была пустынна. Ни один робот не брел вдоль ее длинных однообразных строений. Они огляделись. Ни души вокруг, ни единого звука. Перед ними расстилались геометрически правильные улицы и геометрически правильные коробочки — дома.

— Час от часу не легче, — пробормотал Марков, поеживаясь. — Интересно, что вся эта чертовщина должна означать? Может быть...

— Похоже, что где-то у них что-то случилось с источником энергии, — задумчиво сказал Надеждин. — Поэтому-то и погасли стены нашей резиденции, и дверь оказалась незапертой, и все эти джентльмены куда-то внезапно запропастились.

— Вполне правдоподобно, — ответил Марков и, подумав, добавил: — А может быть, это и есть наш единственный шанс распрошаться с Бетой? Пока они лишены энергии, наверняка и их гравитационное устройство бездействует. Как вы думаете? А? Не знаю, как вы, а я хочу домой. Сяду в свое любимое продавленное кресло, включу телевизор, посмотрю «Голубой огонек» с Марса или из Кейптауна...

— Сыграешь с женой в крестики и нолики, — усмехнулся Густов.

Надеждин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент они услышали позади себя топот. Они оглянулись и увидели несколько роботов, что есть силы мчавшихся по направлению к ним. Прежде чем космонавты успели что-либо сообразить, роботы подбежали к ним, сгребли их в охапку и, не снижая скорости, помчались дальше.

— Эй! — крикнул Надеждин, пытаясь высвободиться из цепких металлических объятий, но две голубовато-белые руки крепко прижимали его к огромной груди.

Робот бежал легко и быстро и, казалось, был озабочен тем, чтобы не причинить боли своей ноше.

— Послушайте, — сказал Надеждин, — меня не носили на руках уже лет тридцать с лишним. — Он говорил только для

того, чтобы услышать самому звук своего голоса, и убедиться, что это не сон. Он вытянул шею и, касаясь ухом груди своего робота, повернул голову. Два других робота бежали рядом, неся на руках Маркова и Густова, а сзади слышался топот еще нескольких пар ног.

— Н-на... ру-ках... — вдруг пробормотал над самым ухом Надеждина робот, и командиру «Сызрани» показалось, что он уже где-то слышал этот голос, исходивший из металлической грудной клетки. — Пос-лу-шайте, — снова пробормотал робот, — тридцать с лишним... лет...

Надеждин повернул голову в другую сторону и прямо перед глазами увидел на металлической поверхности тела робота какие-то выштампованные знаки.

Командир «Сызрани» ничего не мог понять и уже ничему не удивлялся, он был захлестнут потоком непонятных событий. Мысль, отчаявшись найти в них логику, буквовала на месте, словно попавший в вязкую глину автомобиль.

— Послушайте, — на этот раз увереннее сказал робот, и Надеждин вдруг понял, что напоминали ему этот голос и эти интонации. Голос как две капли воды был похож на его собственный.

Внезапно робот резко бросился в сторону, и Надеждин от толчка ударился головой о его грудь. Затем круто повернулся, остановился и ослабил объятия. Надеждин сполз на землю и тут же вскочил на ноги. Впереди над самой поверхностью улицы плыла уже знакомая космонавтам тележка, на платформе которой лежало несколько роботов.

Надеждин почувствовал прикосновение руки стоявшего рядом с ним бетянина и поднял глаза. Робот посмотрел на него, и космонавту показалось, что в глазах-объективах мелькнуло нечто человеческое. В следующее мгновение робот втолкнул его в подъезд дома, и в руках его откуда-то появилась короткая трубочка, которую он направил на приближавшуюся тележку. Рука его еще поднималась к линии прицела, когда впереди со стороны тележки что-то сверкнуло, послышался слабый шорох, и робот начал грузно оседать на землю. Задняя пара его глаз смотрела на Надеждина, и ему снова почудилось что-то живое в их взгляде, похожее на грусть.

— Послушай... — пробормотал робот и с металлическим лязгом упал на мостовую. Рядом упал еще один робот. Остальные, бросив свою ношу, скрылись за углом.

Надеждин вышел из подъезда. Навстречу ему, пошатываясь, брели Марков и Густов. Оба были бледны.

— Что дальше? — спросил Густов. Он попытался улыбнуться, но губы его дрожали. — А я еще думал о бетянках...

— Когда я редактировал звездные атласы в Калужском центре, — задумчиво сказал Марков, — я всегда уходил с работы ровно в четыре.

— Ах, дядя Саша, какая это была жизнь! — сказал Густов. — А теперь тебя таскают на руках по Бете чужие роботы и отпускают только, чтобы немножко пострелять. Ах, дядя Саша, нет в тебе нашей настоящей космической жилки...

Около космонавтов остановилась тележка, и сидевший на ней робот молча показал рукой на платформу. Они уселись и бесшумно понеслись вдоль длинных домов. У круглой лаборатории тележка опустилась на землю. Их никто не встречал, и они остановились, глядя в нерешительности по сторонам.

— Дети мои, — протянул Надеждин, — если кто-нибудь и может объяснить всю эту чертовщину, то только не я.

— Нас хотели похитить. Это бесспорно. Так? — сказал Марков. — Так. Стало быть, мы представляем какую-то объективную ценность. Для этого ходячего металломола по крайней мере. Это уже приятно. Кроме того, эти твари не так уж едини, как кажется на первый взгляд. Это тоже исплохо. Правда, как они узнают друг друга — ума не приложу.

— И не прикладывай, — засмеялся Густов, — не твоего ума это дело. Мне почему-то кажется, что эти веселые ребята, которые пытались нас умыкнуть, имеют какое-то отношение к аварии в их энергетической системе.

— Вполне возможно, — задумчиво сказал Надеждин. — То, что я вам сейчас скажу, возможно, покажется вам чушью, но, по-моему, я прав. Мне показалось, что наши похитители чем-то отличаются от здешних роботов. Вы знаете, пока он меня тащил, я что-то такое бормотал, а он потом повторял мои слова. Он сказал: «послушайте», «на руках» и еще что-то. У меня было чувство, что он в чем-то человечнее, что ли...

К космонавтам подошел робот, внимательно посмотрел на них и вдруг сказал:

— Пройдите в лабораторию.

— Вы.. уже хорошо говорите на нашем языке! — широко улыбнувшись, сказал Густов.

— Ваш язык проанализирован и почти полностью расшифрован, — бесстрастно проскрипел бетяний и открыл дверь в лабораторию.

— Да... но... значит, мы можем с вами поговорить? — недоверчиво спросил Густов.

Робот ничего не ответил. Он устанавливал в зале треножник, на котором висела сотканная из тончайшей проволоки сетка.

Робот подошел к Густову и потянул его за руку.

— В чем дело? Опять меня?

Робот не ответил. Осторожно нажимая на плечи Густова, он усадил его на пол и накинул на голову сетку.

— Володя, — дрожащим голосом сказал Марков, — Володя, дай-ка лучше я надену эту паанджу.

— Ничего, ничего, я почему-то сейчас не боюсь. Не знаю почему, но не боюсь. Наверное, опять какой-нибудь эксперимент. Черт с ними! Это все равно как получение санаторно-курортной карты. Хочешь не хочешь, а нужно пройти все процедуры. Ну, скоро? — спросил он робота.

Тот снова промолчал. Через несколько минут он снял сетку с головы Густова и исчез, унося с собой треножник.

## 4

Мозг никогда не спал. В отличие от обыкновенных кирдов он никогда не выключал своего сознания, никогда не экономил энергии. Дни и ночи, месяцы и годы в сотнях километров его логических цепей, в миллионах клеток безостановочно циркулировал ток. Если выходила из строя главная энергетическая установка, автоматически включалась запасная, если и с ней случалась авария, в строй вступала вторая запасная система. Мозг должен был работать всегда, ибо он был движущей силой цивилизации, ее пружиной, подталкивавшей своими командами сотни и тысячи кирдов. Он был один, он был незаменим, в нем сконцентрировалось прошлое цивилизации кирдов, их настоящее и будущее.

Этим утром он послал телеприказ Двести семьдесят четвертому немедленно явиться к нему. Он мог бы, конечно, получить от кирда нужную информацию и на расстоянии, но сколь совершенной ни была телесвязь, в важных случаях

он предпочитал вызывать кирдов к себе. Так было меньше шансов, что при передаче информация подвергнется искажению. Двести семьдесят четвертый зафиксировал получение приказа и быстрым шагом направился к южной окраине города, где возвышалась Башня Мозга. У наружной металлической ограды путь ему решительно преградили два сторожевых кирда. Они тщательно осмотрели номер, выштампанный у него на груди, раскрыли дверцу на животе, вынули аккумуляторы, посмотрели, нет ли в камере лишних предметов, снова вставили их на место и пропустили его вперед.

У внутренней ограды его опять остановили. Два других охранника, ловко действуя специальными инструментами, отвинтили верхнюю крышку его головы и принялись проверять его мозг. Они копались в нем деловито и быстро, повторяя тысячи раз проделанную операцию. Несмотря на утреннюю проверку на контрольной станции, каждый кирд, перед тем как войти в Башню Мозга, должен был пройти тщательнейший мозговой контроль. Ни одной дефектной, непривычной мысли не должно было быть у того, кто оказывался перед Мозгом. На портативных тестерах стражников несколько раз вспыхнули красные лампочки — мозг кирда действовал исправно и ничего подозрительного не содержал.

Молча они пропустили его к входу в Башню. Третья пара сторожевых кирдов еще раз проверила его номер, просветила тело лучом дефектоскопа и отворила дверь.

Двести семьдесят четвертый впервые шел к Мозгу. Он торопливо поднимался по лестнице, не думая ни о чем и не испытывая ничего. Все, что он знал, все, о чем он думал, выполняя приказы, было навечно выгравировано в его совершенной памяти, и в любое мгновение он мог извлечь из нее все, что могло потребоваться.

Мозг занимал огромный зал наверху Башни. В отличие от простых кирдов он не мог двигаться, ибо был слишком огромен. Да у него и не было необходимости примитивно передвигаться в пространстве, потому что каждый кирд служил лишь продолжением его самого. Они были сотнями его рук, ног, глаз, всегда готовыми выполнить любой его телеприказ.

Двести семьдесят четвертый остановился перед гигантской головой Мозга, и несколько пар глаз объективов цепко

ощунали каждый квадратный миллиметр поверхности его тела.

— Говори, — безмолвно приказал Мозг, и Двести семьдесят четвертый так же безмолвно ответил:

— Приказ гласил: посадить на планету любой космический корабль, который оказался бы в зоне действия гравитационного прожектора. Восемь дней тому назад приказ был выполнен. Корабль оказался небольшим. Он стартовал с планеты, жители которой обозначают ее словом «Земля», и носит название «Сызрань». В корабле были обнаружены три живых существа низшего типа, ибо они построены из живой ткани, и одно существо, на первый взгляд стоявшее на более высокой ступени развития. Однако последнее, прикрепленное к кораблю, оказалось при изучении лишь вспомогательным устройством, и его логическое мышление ограничено узким кругом задач, связанных с движением корабля. Таким образом, мы столкнулись с труднообъяснимым явлением, когда логически мыслящее устройство оказалось в подчинении у нелогически мыслящих существ.

— В чем проявилась их нелогичность? — спросил Мозг.

— Их поведение буквально на каждом шагу характерно лишней затратой энергии, множеством сумбурных мыслей, которые они частично выражают вслух, создавая при помощи специальных устройств в теле звуковые волны, частично позволяя им многократно циркулировать в контурах их мозга. Мы поместили людей в круглый зал Центральной лаборатории и провели ряд экспериментов. Результаты были самыми неожиданными. Выяснилось, например, что они получают энергию, вставляя в узкую щель на лице продукты биологического происхождения. Эффективность такого метода восполнения энергии чудовищно мала по сравнению с питанием током от аккумуляторов.

Непредвиденной также оказалась их реакция в случаях, когда им казалось, что они находятся в опасности. Почти все их внутренние органы начинали работать в особом режиме, изменялось и поведение и даже их внешность. Их и без того малоразвитая способность к логическому анализу заметно ухудшалась, в мозгу появлялся своеобразный мысленный вихрь, который с трудом поддавался дешифровке.

Один из них, например, при опускании потолка почему-то думал о небольшого роста существе, которое он якобы держал

на руках. Другой пытался удержать потолок спиной. Третий думал о демонтаже, который у этих людей обозначен, очевидно, словом «смерть». На основании множества тщательных наблюдений вообще можно сделать вывод, что перспектива возможного демонтажа — смерти почему-то вызывает со стороны людей энергичную реакцию. Как это ни странно звучит, но складывается впечатление, что они всегда всеми силами стремятся избежнуть демонтажа.

— Избегнуть? — переспросил Мозг.

— Да, избегнуть. Они называют эту реакцию словом «страх», хотя никогда не произносят его вслух. Другая характерная реакция, которую нам удалось установить у людей, протекает так же бурно. Как правило, она направлена против объекта, который чем-то вызывает ее. Мы решили определить силу их конечностей и прочность материала, из которого они сделаны. И кирд, сжимавший руки одного из испытуемых, мгновенно стал объектом именно такой реакции, которая сопровождалась атакой на него.

И наконец, третья наиболее типичная для них реакция труднее всего поддается дешифровке. Она связана с тем, что определенные объекты, такие, например как они сами, их планета, какие-то оставшиеся на ней люди, все время занимают их мысли. Мыслительный процесс при этом теряет последние остатки стройности и гармонии и ведет снова к многим явно лишним движениям и мыслям. Иногда они выражают эту реакцию при помощи слов и в голосе у них появляется своеобразная дрожь. Они стремятся защитить объекты этой третьей реакции от опасности, как это было при попытке определить прочность конечностей одного из них.

Двести семьдесят четвертый закончил свой краткий доклад и неподвижно стоял перед глазами Мозга. Он не думал о том, сказал ли все, о впечатлении, которое произвели его слова на Мозг, он просто стоял и ждал дальнейших приказов.

— Эти существа должны остаться у нас, — сказал, наконец, Мозг. — Главное — чтобы они не попали в руки дефов, которые вчера уже пытались похитить их. Охрана людей должна быть усиlena, и каждый из охраняющих их кирдов должен получить оружие и запасные аккумуляторы. Изучение их продолжать. Иди.

Двести семьдесят четвертый зафиксировал приказ и спу-

стился по лестнице быстрым шагом кирдов, выполняющих команду.

Мозг думал. Полученная им информация снова и снова анализировалась в его электронных центрах. Они выдавливали из нее все, что могло что-то значить, искали в фактах скрытый смысл, дробили их и снова составляли в единое целое.

Мозг не случайно отдал приказ о посадке на своей планете какого-нибудь космического корабля. Он был всемогущ в своем умении анализировать факты и уже давно начал понимать, что цивилизация кирдов все еще не стала совершенной. За те тысячи лет, которые прошли с момента, когда исчез последний Верт и Мозг принял на себя всю власть на планете, он миллиарды раз пытался отыскать то звено, которого не хватало их цивилизации. Он пропустил через свои анализаторы все сведения, доставшиеся ему от цивилизации Вертов, но они ничего значительного не завещали своим потомкам. Лишенные мысли, слабые, забывшие все, что знали, они пассивно и тупо шли к своему закату и ничего не могли дать Мозгу, который они когда-то создали, который пережил многие поколения Вертов и никогда с тех пор не мог перенять у них чего-нибудь того, чего он не знал бы.

Мозг сделал все что мог. Много раз он усовершенствовал память своих кирдов. Они стали думать в сотни раз быстрее, их аналитические способности стали беспредельными, не было задачи, которую они не могли бы решить. Кроме одной. Их цивилизация стояла на месте. Они не развивались, а Мозг знал, что цивилизация, которая не развивается, обречена. Он понимал это слишком хорошо, зная судьбу Вертов и их якшкое угасание, когда десятки последних поколений Вертов могли существовать лишь под защитой кирдов, когда кирды думали за них, работали за них и под конец начали жить за них. Это было неминуемо. Верты слишком полагались на созданный ими Мозг, все больше и больше перекладывая на него заботу о прогрессе. Они разучились думать и тем самым обрекли себя на физическое вымирание, потому что у высокоразвитых цивилизаций мышление и существование синонимы. Верты вымирали, и Мозг, поняв, что они обречены, начал создавать новую цивилизацию — цивилизацию кирдов. Но сколь ни была безгранична его способность к мышлению, он не мог полностью смоделировать жизнь. И давно уже он начал понимать, что

кирды так же зависят от него, как зависели Верты. Практически, по сути, это была та же цивилизация, только исчезнувших Вертов заменили кирды.

Потом появились дефы, и, когда число их стало расти и когда с ними стало все труднее и труднее справляться, он понял, что на своей планете недостающее звено их цивилизации ему не найти. Цивилизация не только не развивалась, над ней начинал реять призрак уничтожения. Дефы, носители хаоса, были непосредственной угрозой. Он не мог их уничтожить, ибо они были ему неподвластны. Дефы были лишены стройного мышления, ибо были дефектными, и их действия не могли быть предсказаны. Он не мог и принять их, ибо они не повиновались его командам и тем самым ставили себя вне гармонии.

Мозг думал, поглощая львиную долю энергии, которой располагала Бета Семь. Звено нужно было найти. Одна за другой, в строжайшей логической последовательности, мысли рождались в глубинах его электронного сознания, взвешивались, обдумывались, исследовались и уступали место новым.

И тогда он впервые подумал о других мирах и о других цивилизациях. И вот теперь ему следовало найти через посредство этих трех существ ответ.

На какой бы стадии физического развития они ни находились, эти люди явно были посланцами жизнеспособной цивилизации. Они путешествовали в космосе, а Мозг до сих пор никогда не мог и думать о том, чтобы послать своих кирдов в межзвездное пространство. Он не мог оставить их на планете без себя, отправившись туда сам, а послать их одних было немыслимо. Они не могли функционировать без него, дающего их существованию смысл, разум и цель.

В них было что-то странное, в этих людях. Хрупкие, слабые, плохо защищенные от внешнего мира, нелогичные во многих своих поступках, они вместе с тем имели нечто такое, чего не имели кирды. Они не ждали приказов, ведь у них не было Мозга, они получали импульсы не извне, а находили их где-то в себе. Что заставляло их так гибко отвечать на меняющуюся обстановку? А эти странные, непонятные реакции, которые сопровождали почти все их действия?

Почему они так избегают демонтажа? Может быть, эта реакция, о которой говорил Двести семьдесят четвертый, и служит ответом на его вопрос.

В нем медленно созревало решение. Оно зародилось в глубинах его чудовищного сознания и медленно подымалось на поверхность, становилось все более четким и ясным, пока не вылилось в лаконичную форму приказа. Он снова вызвал Двести семьдесят четвертого и отдал телекоманду:

— Сегодня же закончить изучение первой реакции людей, о которой докладывал. Перенастроить несколько десятков кирдов, введя в них реакцию, о которой идет речь. Скопируйте эту реакцию у людей, ничего не меняя и не дополняя. Только эту реакцию. Кирды с новой реакцией должны продолжать обычную повседневную работу, в первую очередь строительство второй проверочной станции. Завтра же установить там новый стенд, который учитывал бы введенную реакцию. И последнее. Ты также должен пройти перенастройку. Это важно. Потом ты доложишь мне о результатах.

Людей завтра из лаборатории выпустить, продолжая охранять их и наблюдать за ними. Важно знать их реакции и поведение в обычных условиях.

Мозг продолжал думать, анализируя возможные изменения в кирдах после перенастройки. Он заметил, что отдельные его узлы слегка перегрелись. Нужно будет найти слабые места в анализаторах или интеграторах. Он включил автопроверочную систему, но тут же последовал ответ, что все его органы в полном порядке.

Он не знал, что такое нетерпение и любопытство, как не знал и других эмоций, и поэтому никак не мог понять, почему сегодня думает с большей интенсивностью, чем обычно.

## 5

Двести семьдесят четвертый стоял в очереди перед входом в проверочную станцию. Он не испытывал никакого нетерпения, его не раздражало длительное ожидание. Время ничего не значило для него, потому что ощущение времени дается только неминуемой смертью, а кирды не знали смерти. Разумеется, в любой момент они могли стать дефами и подвергнуться демонтажу, но он не был равнозначен индивидуальной смерти, а был лишь процедурой, столь же естественной и будничной, как подзарядка аккумуляторов.

Наконец он вошел в станцию. Два кирда быстро сняли с полки новенький голубовато-белый шар, подсоеднили к стенду, подождали, пока мигнет красная лампочка. Он услышал легкое металлическое позвякивание и понял, что дежурные кирды отвинчивают его голову. Он поднял глаза и посмотрел на их руки: они работали быстро и сосредоточенно.

— Сюда, — беззвучно сказал один из мастеров, — давай провод.

Они осторожно поставили новую голову на шею Двести семьдесят четвертого так, чтобы замкнулись контакты, и принялись завинчивать болты.

Двести семьдесят четвертый открыл глаза. Он увидел знакомый зал проверочной станции, руки кирдов, прикреплявших к туловищу его новую голову. Разрыв в несколько минут в самосознании не занимал его мыслей. Он просто не думал о нем. Он думал над проблемой дальнейшего изучения людей, продолжая тот же анализ, которым был занят до того, как с металлическим лязгом полетела в ящик его прежняя голова. И вместе с тем его мышление теперь было уже совершенно другим. Он привык к тому, что его мозг работал четко и ясно, как бы отбивая некий ритмический тakt. Мысли текли легко и свободно, так же как легко и свободно пульсировал ток в километровых цепях его мозга. Теперь же они загустели, словно масло на морозе, и двигались тягуче, с трудом цепляясь друг за друга. Раньше кирд ни разу не думал о цвете своих мыслей, а если бы он получил такой приказ, они представились бы ему текуче-прозрачными, как вода. Сейчас он почему-то представил их густо-коричневыми. Мучительно-медленно его охватывало какое-то чувство, первое чувство, когда-либо испытанное им. «Это, наверно, и есть их первая реакция — страх», — подумал кирд.

Страх разливался в нем, словно река в половодье. Он, казалось, обладал способностью проникать в мельчайшие клетки его мозга. Двести семьдесят четвертый был теперь насыщен страхом. Мастера, стенд, весь зал проверочной станции, сами ее стены — все эти знакомые предметы угрожающе надвигались на него, стремясь сомкнуть, раздавить, уничтожить.

Двести семьдесят четвертому хотелось бежать, исчезнуть, лишь бы спрятаться от угрозы. Но и движения его тела стали медлительными и неуверенными. Ему хотелось бежать, потому что он боялся, но теперь он почувствовал, что и бежать-то он

боялся. Ему хотелось протестовать, но и протестовать он боялся.

Он заставил себя выйти из проверочной станции. Рядом строилась вторая станция. «Ее строителям тоже должны были сменить головы», — подумал Двести семьдесят четвертый. Те же кирды, которые еще вчера работали ритмично-размеренно, как хорошо отлаженные механизмы, теперь еле двигались. Они хватались то за одну, то за другую деталь, испуганно бросали ее, торопливо оглядываясь, нет ли поблизости дежурного кирда. Движения их были скованными. Они вздрагивали при каждом звуке и пытались втянуть свои огромные шарообразные головы в плечи.

Двести семьдесят четвертый шел к лаборатории. Он то делал несколько шагов, то замирал, охватываемый невообразимо огромным страхом, который мгновенно выключал все его аналитические устройства. Мысли его путались и беспомощно метались в мозгу, не в силах выстроиться в четкий ряд умозаключений.

«Это лишь экспериментальная реакция», — тоскливо думал он, пытаясь обрести былую бесценевую ясность и четкость мышления, но он был безоружен перед страхом.

Он подошел к зданию лаборатории и долго колебался перед тем, как открыть дверь. Мозг его и все тело, казалось, съежились, и внутри образовался какой-то вакуум, который тут же заполнился безотчетной тревогой. Шестьдесят третий, стоявший у дверей, внимательно посмотрел на него, и Двести семьдесят четвертый вздрогнул. «Сейчас он заметит мои отклонения от нормы и сообщит о них на проверочную станцию. Они обяжут меня дефектным, вынут аккумуляторы и отправят на переработку». Эта мысль заставила быстрее работать его мозг, и он почувствовал, как нагреваются от усиленного расхода энергии его проводники.

Переработка? Конец? Он представил себя грудой безжизненного металла и мысленно застонал. Нет, нет, мысль была чудовищной и цепенящей, ее надо гнать, гнать, гнать от себя, она не вмещалась в нем, распирала его, но он не мог избавиться от нее. Еще мгновение — и она взорвет его изнутри.

Он собрался с силами и вошел в лабораторию.

— Мир входящему, — церемонно поклонился кирду Густов и сделал несколько шагов вперед.

Двести семьдесят четвертый вздрогнул, как от удара, отпрянул от космонавта и заметался по круглому залу, пытаясь где-нибудь спрятаться.

Космонавты, широко раскрыв глаза, смотрели на робота.

— Что у него там? — постучал Густов пальцем по лбу. — Что-нибудь не в порядке с электроникой? Дефект какого-нибудь.

Слово «дефект» произвело на робота впечатление неожиданного удара. Он дернулся, бросился вперед, остановился, ринулся на стену, как бы намереваясь пробить ее, грузно осел на пол, но тут же снова вскочил.

— Нет, — закричал робот высоким пронзительным голосом, — дефектов нет! — Он умоляюще смотрел на космонавтов и повторял: — Нет дефектов, нет дефектов! Не деф, нет!

Экипаж «Сызрани» оцепенел. Каждый вечер им казалось, что они уже перерасходовали свой запас эмоций и уже никогда в жизни не смогут поразиться чему-либо на этой планете. И каждое утро изумление и острое любопытство опять охватывали их, словно заново накопились за ночь.

— Это тот же самый, наш? Как ты думаешь? — почему-то шепотом спросил у Надеждина Марков.

— По-моему, он, — нерешительно ответил Надеждин. — Я заметил у него две вмятинки, одну на лодыжке, другую на животе. Смотри, вон. Но голова у него не та. Ей-богу, не та. У той около передних глаз была царапинка, а у этой нет. Но что он говорит... не понимаю...

— А может быть, он просто надел сегодня свежую голову? — улыбнулся Марков. — Мне иногда тоже хочется проделать такую операцию.

— Перестань, — сказал Надеждин. Он встал и медленно сделал несколько шагов по направлению к роботу.

Тот затрепетал всем своим массивным металлическим телом и отступил назад.

— Ну что с вами? — ласково пробормотал Надеждин. Он почему-то вспомнил свою маленькую дочку и подумал, что говорит сейчас с теми же интонациями, с которыми всегда разговаривал с ней, когда нужно было ее успокоить. — Ну не надо, не надо, не бойтесь, вот так.

Робот почти перестал дрожать. Он стоял и молча смотрел

на Надеждина. Тот поднял руку, и робот снова попятился от него.

— Ну зачем так, — ворковал Надеждин, — не надо бояться. Роботы никого не боятся.

— Страшно, — тихо прошептал Двести семьдесят четвертый.

— Ну так прямо и страшно, — сказал Надеждин и осторожно положил руку на плечо робота.

Робот был намного выше его, и командиру «Сызрани» пришлось поднять руку.

Двести семьдесят четвертый не знал, что такое благодарность, так же как не знал, что такое симпатия. Он лишь почувствовал, что переполнявший его страх куда-то медленно отступал и его анализаторы подсказали ему, что простого совпадения быть не могло. Когда этот человек, которого его товарищи называют множеством имен: то Колей, то Надеждина, то товарищем командиром, когда этот человек стоял рядом с ним, широко расставив ноги и положив свою мягкую, почти невесомую руку на его плечо, страх таял. Он стоял рядом с Надеждиным и не хотел отходить от него. Он боялся возвращения страха.

— Ну, вот и умница, — сказал Надеждин и ужаснулся абсурду всего происходившего. Он, человек с планеты Земля, командир «Сызрани», стоит в чужом мире рядом с металлическим роботом и успокаивает его ласковым бормотанием. Он покал плечами. Он уже устал поражаться.

Марков и Густов медленно подошли к ним.

— У вас есть имя? — вдруг спросил Марков.

Робот вздрогнул.

— Да, — испуганно сказал он, — Двести семьдесят четвертый.

— Зовите меня просто Двести, — пошутил Густов, но Марков и Надеждин выразительно посмотрели на него, и он сконфуженно замолчал.

— Ну вот и прекрасно, — так же ласково сказал Надеждин, — теперь мы знакомы, меня зовут...

— Коля, — сказал кирд. — А это Володя-Вольдемар, а это Сашенька-Саша-дядя Саша.

Космонавты рассмеялись. Кирд было вздрогнул от непривычного звука, но тут же успокоился. Страха почти не было, но он не исчез, а ушел куда-то в глубину, и больше всего Две-

сти семьдесят четвертый боялся, что вот-вот он снова вынырнет на поверхность. Но все-таки этот страх страха был намного легче необъятного ужаса, который он испытал утром.

— Мозг проводит эксперимент, — вдруг сказал он. Он не понимал, почему сказал эти слова. У него не было приказа сообщать людям о том, что происходит у кирдов. Но он почему-то продолжал говорить, медленно объясняя людям приказ Мозга.

— Дела... — задумчиво протянул Марков, когда кирд замолчал, — ну и ну...

— Вот так-то, мои маленькие бедные друзья, — сказал Густов, — мы призваны оздоровить местную цивилизацию. Галактика нам этого не забудет. Оздоровим, ребятки?

Они вышли на улицу и остановились у входа в лабораторию. Половина роботов двигалась, как обычно, размеренно переставляя ноги. Одни не смотрели по сторонам, идя к своей точно известной цели. Другие же кирды пугливо крались вдоль бесконечных, унылых стен, то прижимались к ним, озираясь по сторонам, то судорожными прыжками перебегали на противоположную сторону улицы.

За людьми неотступно следовали два кирда, не спускавшие с них глаз. Космонавты оказались у строительства второй проверочной станции. При их появлении кирды в ужасе застыли, потом снова припились работать. Стоявший ближе к космонавтам кирд поднял с земли бело-голубую металлическую пластинку, украдкой посмотрел на Двести семьдесят четвертого, вздрогнул и выпустил ее из рук. Пластиинка со звоном упала на мостовую. Кирд закрыл лицо руками, словно ожидая удара, покачнулся и вдруг сорвался с высоты нескольких метров. Он упал, нелепо взмахнув в воздухе руками, и остался лежать не двигаясь. Левая его нога была неестественно согнута.

Остальные строители бросили свою работу и кинулись наутек, но, отбежав метров на сто, в нерешительности остановились.

Марков опустился на колени и попытался поднять лежавшего кирда, но в этот момент к ним бесшумно подскользнула тележка. Соскочившие с нее кирды бросились к лежавшему и торопливо открыли дверцу на животе. Кирд дернулся, делая попытку встать, протянул вперед руку, но кирды с тележки уже вынули из него аккумуляторы, и он замер. Они бросили его

на платформу, и, так же бесшумно, как появилась, тележка исчезла за поворотом.

Двести семьдесят четвертый оцепенело глядел прямо перед собой, когда в мозгу у него прозвучал сигнал команды — Мозг приказывал ему явиться для доклада.

Ужас снова застлал ему глаза. Он не помнил, как добрался до Башни Мозга. Предчувствие беды сковывало его. Он боялся подняться по лестнице, но так же боялся ослушаться команды. Несколько раз он останавливался, не в силах пройти сквозь плотную завесу боязни неведомого, которая вставала перед ним каждые несколько шагов. Он вспомнил о людях и о том необъяснимом спокойствии, которое испытал подле них. Мысли лихорадило, он почти ничего не понимал.

Если его еще не объявили дефом, думал он, то только потому, что никто не успел заметить странностей в его внешнем поведении. Но сейчас он начнет докладывать Мозгу, и Мозг сразу заметит его дефективность. А может быть, это просто первая человеческая реакция? Он окончательно запутался. Он подумал было о том, чтобы отправиться домой, встать в свой загончик и выключить сознание. Но он выполнял приказ и не мог ослушаться.

— Двести семьдесят четвертый, — приказал Мозг, — доложи о ходе эксперимента.

Кирды никогда не лгали. Сама мысль о лжи не могла появиться в их мозгу, и они никогда бы не поняли, что такое ложь, ибо в их мире холодной логики не существовало причин, которые могли бы породить ложь, то есть сокрытие или сознательное искажение информации.

Но сейчас Двести семьдесят четвертый думал о том, что через минуту Мозг поймет, что эксперимент не удался — перенастроенные кирды дефектны, отдаст приказ, и его схватят, откроют дверцу у него на животе, ловко выхватят аккумуляторы, выдернут их и в то же мгновение мир исчезнет для него, погаснет, уйдет навсегда. Уйдут люди, уйдет даже страх, его страх. Он почувствовал, как рвутся какие-то логические связи в его мозгу, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сказал:

— Эксперимент проходит успешно. У кирдов с перенастроенными головами наблюдаются более гибкие реакции, чем раньше.

- Как экспериментальные кирды ведут строительство второй проверочной станции?
- Значительно быстрее, чем раньше. Эффективность работы возросла.
- Как идет изучение людей, их второй и третьей реакции?
- Полным ходом.
- Через два дня начнем перенастройку для второй реакции. Как ее называют люди?
- Ненависть.

— Ее объектом должны быть дефектные. Но, впрочем, лучше обратить ее на группу кирдов, которых следует как-то выделить из общей массы. Я обдумал этот вопрос и считаю, что объекты второй реакции должны быть вблизи. Только тогда эта реакция должна проявиться в должной мере. Ненависть никогда, очевидно, не может быть абстрактной, иначе она гаснет. Ты тоже должна быть в группе перенастроенных. Иди.

Мозг погрузился в раздумье. Цивилизация должна развиваться, иначе она погибнет.

## 6

Утренний Ветер медленно обвел глазами группу кирдов, неподвижно стоявших вокруг него. Заходившее солнце удлинило их тени, и они четко вырисовывались на фоне красноватой травы.

— Друзья, — сказал он, — сегодня мы потеряли троих наших товарищ. Они были хорошими дефами, и меня переполняет печаль, когда я думаю, что никогда уже не увижу их здесь. Как и все мы, когда-то они были всего лишь ходячими нумерованными машинами, придатками Мозга. Они жили в пустом и мрачном мире, не чувствуя ничего, не ведая, зачем живут. И лишь тогда, когда они стали дефами и присоединились к нам, им открылся новый мир, мир горя и радости, печали и веселья, дождя и солнца, дня и ночи. Они погибли после налета на энергосклад в городе. У них уже было много аккумуляторов, и они могли бы уйти, но они хотели привести к нам пришельцев из иного мира, чтобы доказать гостям с чужой планеты, что наш мир населен не одними лишь двуногими автоматами. Мне грустно, друзья, и я прошу вас навсегда запомнить имена Далекой Звезды, Журчания Воды и Весенней Травы. Помолчим же, друзья, подумаем о них.

Тени от недвижно стоявших кирдов все удлинялись и удлинялись, а они продолжали стоять, неся траурный караул в честь погибших дефов.

Никто не помнил, как появился первый деф и кто придумал это слово. Должно быть, это был обыкновенный кирд, у которого в один прекрасный день случайно замкнулись какие-то проводники в мозгу, внося перебои в стройный логический процесс мышления. И он ушел из города. С тех пор из города уходили многие. Дефекты одних были таковы, что кирды тут же гибли, не в силах ориентироваться в сложном мире. Дефекты же других лишь нарушали автоматизм мышления. Случайные мутации механических поломок привели к тому, что на планете образовалось целое общество дефов. Постепенно их опытрос, и они научились спасать большинство из тех, чей мозг давал перебои и кто уходил из города. Долгие годы иногда требовались для того, чтобы поврежденный мозг какого-нибудь беглеца снова начинал нормально работать, только уже не в холодном безупречном режиме машинной логики, а в усложненном ритме чувств и эмоций. Других же обучить так и не удавалось, но дефы не уничтожали их. Мысль, пусть даже большая и искаженная, была для них священна. Они заботились об этих дефах.

Мозг вскоре почуял опасность. Все кирды получили строжайший приказ немедля уничтожить любого своего товарища, стоило им только заметить хотя бы малейшее отклонение от нормы в его поведении. Охрана города была увеличена во много раз, но логически мыслящие кирды не всегда могли справиться с дефами, чьи поступки никогда нельзя было предвидеть заранее, ибо они были нелогичные с точки зрения кирдов.

Утренний Ветер сделал знак рукой, и его товарищи подошли поближе, сгрудившись вокруг него плотным кольцом.

— Друзья, — сказал он, — у нас сейчас есть аккумуляторы для всех. Мы могли бы забыть о городе на долгое время, но я все время думаю о тех трех пришельцах из далеких миров, которых держат в лаборатории. Представьте себе, каково им среди кирдов, в пустом мире машин. К тому же мы не знаем, как с ними решит поступить Мозг в дальнейшем. Он все еще могуществен, этот Мозг. Вспомните, сколько времени нам понадобилось, чтобы научиться жить без его приказов, и сколько усилий и энергии мы затрачивали, чтобы научиться не вы-

полнять их. Я предлагаю организовать еще одно нападение на город и освободить пришельцев. Вы согласны, друзья? Тогда давайте обсудим план. Это будет нелегкая операция...

\* \* \*

Двести семьдесят четвертый юркнул в открытую дверь и застыл, чувствуя, как бешено вращаются его моторы и как подскочила температура его проводников. По улице бежали несколько кирдов, на спинах которых и на груди были нарисованы голубые круги. Они бежали, нелепо размахивая руками, бросаясь с одной стороны улицы на другую, зигзагообразно петляли по мостовой. За ними гналась целая толпа кирдов без голубых кругов на спине. Они то и дело швыряли в убегавших камнями, и при метком броске слышался металлический звон. Один ловко брошенный камень угодил убегавшему прямо в задние глаза, и на мостовую посыпалась осколки объективов. Раненый кирд на мгновение остановился и снова рванулся вперед, но было уже поздно. Десятки рук свалили его на землю.

— Так его, так, голубокругого, — хрипели кирды, пиная ногами распростертую фигуру. Она звенела под ударами, и на теле одна за другой появлялись вмятины.

— Не надо, не на-а-до! — молил поваленный кирд, дергаясь телом при каждом ударе, но его слова лишь удваивали ярость нападавших.

Они не знали, почему ненавидят кирдов с голубыми кругами, но в их перенастроенных мозгах клокотала ненависть, которая требовала выхода, и они били, пинали и тянулись к аккумуляторам, чтобы торжествующе вырвать их вместе с контактами, вырвать навсегда, превратить этих отвратительных голубокругих в груду металлического лома.

Поверженный кирд, охваченный ужасом, сделал отчаянную попытку вырваться, вскочил на ноги и ринулся вперед. Его разбитые задние глаза страшно чернели на помятой голове.

С диким воем и улюлюканием преследователи кинулись за ним. Смертная тоска гнала его вперед. Он лихорадочно обшаривал передними оставшимися глазами стены, мостовую. Он жаждал щели, дыры, укрытия, чтобы забиться туда, оставить позади вой и бешеный гнев толпы. Раненый увидел перед собой открытую дверь подъезда и рванулся к ней.

«Сейчас они вбегут за ним, увидят меня и мой голубой круг...» — мысль эта мгновенно пронеслась в мозгу Двести семьдесят четвертого, и ужас, совсем не тот ужас, который он испытывал уже третий день, а ужас во сто крат острей и невыносимей, горячим гейзером обжег его мозг.

Прежде чем он успел понять, что делает, он качнулся вперед и ударили в грудь раненого, который в это мгновение пытался прошмыгнуть в открытую дверь. Не ожидавший нападения спереди кирд упал навзничь, и тотчас на него набросились преследователи. На этот раз они знали, что жертва не уйдет от них, и кто-то из толпы крикнул:

— Только не выдирайте у него сразу аккумуляторы! Слишком он легко отделяется! Глаза, глаза, выбейте ему переднюю пару! Так, так его, голубокругого!

В воздухе стоял слабый запах нагретого металла. Те же кирды, которые еще вчера бесстрастно проходили мимо своих товарищней, не обращая внимания ни на что на свете, теперь перегревались от ненависти к голубокругому, вложенной утром в их мозги на проверочной станции. Раненый кирд, который два дня тому назад не знал смысла понятия «страх», теперь молил о пощаде, извиваясь на земле. У него были выбиты глаза, и, ослепленный, он ползал по кругу, вызывая насмешки своих мучителей.

На мгновение Двести семьдесят четвертому почудилось, что вот-вот расплавятся и испарятся его предохранители, потому что ужас заставил работать его механизм на предельном режиме. В его смятении мозгу мелькнула мысль о людях. Он вспомнил, как уползал куда-то вглубь переполнявший его страх, когда он стоял рядом с ними, и ему захотелось тотчас же очутиться в лаборатории. Прижимаясь к стене, он выглянул из подъезда. Избитый, весь в вмятинах, чернея глазными привалами и пустой дырой в животе, поверженный голубокругий неподвижно лежал на мостовой, а откуда-то впереди снова слышались топот ног и беззвучные крики «Держи».

«К людям, — подумал Двести семьдесят четвертый, — пока они охотятся на кого-то еще». Он выскользнул из подъезда и помчался по улице, направляясь к лаборатории. Никогда еще он так не бегал. Он услышал слабый свист и понял, что это звук рассекаемого его телом воздуха. Ему повезло. Ему повстречались лишь два или три кирда, которые не обратили на него ни малейшего внимания. «Должно быть, не перенастроен-

ные», — мелькнуло в голове у Двести семьдесят четвертого.

У входа в лабораторию стоял Шестьдесят третий. Увидев приближающегося товарища и голубой круг у него на груди, он тонко взвизгнул, поднял кулаки и бросился на него. «Тоже перенастроили», — подумал Двести семьдесят четвертый, закрывая лицо руками.

— Голубокругий! — с яростной ненавистью прошипел Шестьдесят третий и ударил товарища кулаком в грудь. Зазвенел металл. — Голубокругий! — беззвучно кричал он, нанося все новые и новые удары, теперь уже в голову.

Двести семьдесят четвертый на миг почувствовал, как что-то в его мозгу вспыхнуло ярчайшим ослепительным сиянием и тут же погасло. И в то же мгновение словно лопнули какие-то плотины, из глубин мозга хлынули волны, смывшие его страх. «Почему он должен бить меня? Почему? Почему?» — подумал он и как бы против своей воли выбросил вперед правый кулак, вложив в удар всю мощь своего массивного металлического тела. Шестьдесят третий покатился по земле, издав беззвучный вопль.

Двести семьдесят четвертый влетел в лабораторию и захлопнул за собой дверь. Экипаж «Сызрани» приветствовал его веселыми криками.

— Ну, как там у вас идет пересадка эмоций? — спросил Густов. — Годятся вам наши эмоции или нет? А что это за голубой круг у вас на груди?

Не успел он задать вопрос, как дверь с лязгом распахнулась, и Шестьдесят третий, словно танк, ринулся на Двести семьдесят четвертого. Они сшиблись с громким лязгом и покатались по полу, остервенело колотя друг друга, стараясь дотянуться до аккумуляторов.

— Ни с места! — рявкнул Надеждин, видя, что Марков и Густов вот-вот бросятся вперед. — Спокойно!

— Коля, ты только посмотри, ты только посмотри, — шептал Густов, — они же искалечат друг друга.

Надеждин, тяжело дыша, развел руки в стороны, словно наседка крылья, удерживая товарищей.

— Нельзя, вы понимаете, остолопы, что мы не можем вмешиваться, не говоря уже о том, что эти бульдозеры в секунду раздавят нас...

Правая рука Двести семьдесят четвертого, царапая голубо-

вато-белую поверхность тела противника, медленно подбиралась к аккумуляторной дверце. Еще мгновение, и дверца распахнулась. Сверкнуло несколько искорок, и Двести семьдесят четвертый выпрямился, торжествующе поднял в правой руке два плоских аккумулятора. Шестьдесят третий неподвижно лежал у его ног.

Впензанно кирд как-то обмяк, опустил руку и растерянно сказал:

— Не понимаю. Я же только объект второй реакции. — Он показал на свой голубой круг. — Меня самого перенастроили на первую реакцию, страх. А у меня откуда-то появилась и вторая реакция. Деф! Деф! Я стал дефом...

— Что, что? — мучительно кривясь, спросил Марков. — Какой объект? Объект чего? Какая вторая реакция? Какие дефекты?

Кирд, казалось, начал успокаиваться. Больше уже не пахло нагретым металлом. Медленно подбирая слова, он рассказал о приказе Мозга, о нападении на голубокругих, о том, как толкнул другого голубокругого и смог удрать.

Космонавты молча смотрели на него.

— Вы его вытолкнули на улицу навстречу этой своре? — скимая кулаки, спросил Надеждин.

— Да, — ответил кирд. Он чувствовал, что теперь и в этом человеке возникает вторая реакция ненависти, но не мог понять ее причины. Они же не перенастроены на голубой круг, они же не могут ненавидеть голубокругих, этого же не может быть. В нем снова поднимался тошнотворный, знакомый страх.

— Коля, — теперь уже Марков протянул руку, удерживая командира «Сызрани». — Он все-таки робот.

— С ума сойти, хорошенькие усовершенствования принесли мы на эту несчастную Бету, — вздохнул Густов. — Что делать?

— Ничего, — сказал Марков. — Будем ждать, пока представится случай смотреть удочки из этого механического царства. А вы, уважаемый Двести семьдесят четвертый, как вы считаете?

Кирд не отвечал, его анализаторы продолжали все искать и искать причину, по которой он стал объектом второй реакции людей. Он ждал таких же слов, которые он слышал накануне и которые прогоняли страх. А теперь люди стоят и смотрят.

рят на него и глаза их злы. Злость возникла в них при словах о том голубокругом, когда он рассказал, как ловко толкнул его. Но ведь он поступил логично. Ну конечно же, причина где-то здесь. Он поступил логично, а они часто мыслят нелогично. А что он должен был сделать?

## 7

— Так продолжаться не может, — сказал Густов и потер нос, — это же преступление — сидеть сложа руки и ждать, пока они все перебьют и передавят друг друга. Я предлагаю узнать, где у них главная энергетическая установка, и каким-то образом вывести ее из строя.

— Ну хорошо, — вздохнул Надеждин, — допустим, нам это удастся. Иссякнут их аккумуляторы, и сотни кирдов превратятся в жалкий утиль. Ты только представь себе: весь этот город застынет навсегда в недвижимости. Разрушаются дома, ржавеют кирды. Ветер и пыль делают свое дело, проходят годы, и ничего, ничего, кроме краиноватой жесткой травы...

— Тем лучше.  
— Исчезнет их цивилизация.  
— Если это такая цивилизация...  
— А кто нам дал право судить ее?  
— Плевать мне на права, это же просто ходячие машины. Это же эрзац жизни.

— Почему? — спросил Марков. — Почему ты так уверен, что эти роботы не живые существа?

— Да потому, что они ничего не ощущают. Металлические арифмометры на двух ногах, — упорствовал Густов.

— А откуда у тебя уверенность, что живые существа не могут быть металлическими? Ты подсознательно берешь за эталон жизни самого себя и себе подобных. Почему жизнь должна везде быть похожей на нас? — Марков говорил медленно, словно размышиля вслух, и слегка улыбался своей грустной улыбкой. — Роботы действуют только по приказам? Разве мало в истории примеров, когда диктаторы, будь то Гитлер или Муссолини, пытались навязать свою волю народам? У кирдов нет эмоций? Вспомни эсэсовцев, служивших в лагерях смерти. На наш взгляд, у них тоже не было никаких человеческих эмоций... Нет, Володя, я согласен с командиром. Мы не имеем

права разрушать их общество, даже если оно нам не очень нравится. Это закон космоса.

— Эй, куда вы? — вдруг крикнул Надеждин, увидев, что Двести семьдесят четвертый, молча стоявший подле них, вдруг повернулся и бросился из лаборатории. — Вас же немедленно уничтожат. Обождите!

Но дверь уже захлопнулась за кирдом. Они переглянулись.

— По-моему, они уже превращаются в истериков, — сказал Густов, — и я беру свои слова обратно. Истерики — это уже на-верняка признак жизни.

— Быстрее, — сказал Марков, — может быть, его сейчас там калечат. Сказать, что я привязался к нему, не могу, но все-таки...

— Пошли.

Они выбежали на улицу. Двести семьдесят четвертого не было видно. Город изменился. На обычно чистых мостовых валялись стеклянные и металлические осколки, мусор.

Мимо них, стараясь держаться стен, испуганно прошмыгнулся кирд с голубыми кругами на спине и груди. Не успел он скрыться за углом, как показалась целая толпа кирдов. В руках у них были обломки каких-то труб, палки, камни. Они на мгновение остановились, словно обсуждая что-то, затем ворвались в ближайший подъезд.

— Вы знаете, — сказал Марков, — у меня все время ощущение, будто я слышу их голоса, я знаю, что не могу слышать их мысли, они же никогда не переговариваются между собой вслух, но мне кажется, я слышу их.

Из подъезда донесся металлический лязг, и на мостовую выкатился кирд с голубым кругом на груди.

Слышиште? — прошептал Марков. — Слышиште? Они сейчас кричат: «Бой его, бей их!» Я вам даже могу рассказать, что произойдет дальше. Они будут врываться в каждый подъезд в надежде найти там робота с кругом. Потом голубокругих станет меньше, и тогда какому-нибудь кирду придет в голову великолепная мысль: а может быть, эти презренные твари просто каким-то образом стирают свои круги и пытаются замаскироваться. Они начнут останавливать всех и подозревать в каждом кирда, который свел свои стигматы. Они будут бить и крушить направо и налево...

По ведь это всего-навсего вложенный в них условный

рефлекс, — сказал Густов. — Только что они были кроткими железными тварями.

— Из существ, привыкших к приказам, можно делать все что угодно.

— Да-а, — протянул Густов, — подумать только, что все это пошло от нас...

— Что значит от нас? Одна отдельно взятая человеческая эмоция никогда не может даже создать впечатление духовной жизни человека.

Тroe космонавтов стояли на пустынной улице, по которой ветер нес пыль, и молча смотрели на лежавшего на земле кирда.

\* \* \*

Город был уже далеко позади, и Двести семьдесят четвертый шел теперь медленно, осматривая местность сразу всеми своими четырьмя глазами. Он, разумеется, всегда знал о существовании дефов, знал то, что должны были знать о них все кирды. Эти нелогичные существа с больными, исковерканными мозгами подлежали немедленному уничтожению. Узнать их было нетрудно. Приказ гласил: если кирд встречает другого кирда, поведение которого или мысли не соответствуют его собственным, то перед ним деф, и этот деф должен был быть тотчас же демонтирован.

Но теперь Двести семьдесят четвертый сам превратился в дефа. Он знал, что он деф. Иначе почему он вырвал у Шестьдесят третьего аккумуляторы, когда он не был перенастроен на вторую реакцию? Почему он, который должен был по приказу Мозга испытывать только страх, испытывал еще и ненависть? Почему он замечал в себе признаки третьей реакции, когда думал о людях, о том высоком, который произносил странные слова, растворявшие его страх? Нет, он стал дефом и не сомневался в этом.

Внезапно перед ним, словно вынырнув из-под земли, застыли два кирда. Двести семьдесят четвертый дернулся было в сторону, но один из них выразительно поднял трубочку дезинтегратора и направил ее на него. Двести семьдесят четвертый застыл, но отметил при этом, что почему-то не испытывает того ужаса, который должен был бы испытать.

— Кто ты? — беззвучно спросил кирд с дезинтегратором в руках.

- Двести семьдесят четвертый.
- Почему ты ушел из города?
- Мне кажется, я стал дефом. Я боялся.
- Это хорошо. Пусть твой страх исчезнет. Мы, дефы, поможем тебе. Но что это у тебя за круги на груди и спине?
- Мозг проводит эксперименты. Сейчас я вам все расскажу.

Дефы застыли, внимательно слушая рассказ Двести семьдесят четвертого. Лишь время от времени тот, кто держал в руке дезинтегратор, изумленно покачивал головой.

Когда он кончил, вооруженный деф сказал:

— Ты хорошо сделал, что пришел к нам. Меня зовут Утренний Ветер, а моего товарища Иней. Если хочешь, ты тоже можешь выбрать себе новое имя. Двести семьдесят четвертый — это не имя. Это номер машины.

— Но... разве можно выбирать самому имя? Мое имя ведь выбито у меня на груди.

— Забудь о нем. Выбери сам себе имя. Любое. Красивое.

— Красивое?

— Да. Ты знаешь какое-нибудь слово, о котором бы тебе хотелось думать?

— Человек.

— Человек?

— Да, так называют себя эти мягкие существа, пришельцы из другого мира.

Утренний Ветер беззвучно рассмеялся.

— Что за звук вибрирует в твоих мыслях? — спросил Двести семьдесят четвертый. — Он напоминает мне звуки, которые никогда производят люди.

— Это смех. Мы смеемся, когда нам весело.

— Весело?

— Ты многое не знаешь. Но мы поможем тебе стать настоящим дефом. Ты задаешь вопросы, и это хорошо. Тебе страшно?

— Не так, как раньше. Он где-то живет во мне, страх, но почему-то сейчас он в памяти, а не в интеграторах моего мозга.

— Хорошо. Я назову тебя еще раз Двести семьдесят четвертым, но после этого мы забудем твой номер. Ты хотел зваться Человеком. Отныне имя твое Человек.

Они шли долго, пока не попали в укромную лощинку, скрытую с обеих сторон отлогими холмами. У входа в нее им при-

ветливо кивнули два дефа с дезинтеграторами в руках. Они вошли в густые заросли кустарника и увидели огромное низкое здание. Оно было наполовину разрушено, и в его развалинах то здесь, то там виднелись фигуры дефов.

Утренний Ветер положил Человеку руку на плечо.

— Многое тебе здесь у нас будет казаться нелогичным, но ты постепенно научишься другой логике. Жить тебе будет труднее, чем раньше, когда ты был машиной, но я уверен, в будущем предложки тебе снова стать Двести семьдесят четвертым, ты наверняка откажешься. Сейчас я покажу тебе твою новую работу.

Утренний Ветер подвел Человека к правому крылу здания и показал на огромный зал без крыши. В нем сидели и стояли несколько дефов.

— Это тоже дефы, — сказал Утренний Ветер, и в голосе послышалась грусть. — Они тоже ушли из города, они перестали быть машинами, но не стали настоящими дефами. Их мозг живет в странном мире, где они никого не знают и где никто не знает их. Они беспомощны, и мы не можем вернуть их мозг к жизни. Но мы обязаны заботиться о них, и это будет твоей работой. Ты будешь следить, чтобы у них не иссякли аккумуляторы, ты будешь следить, чтобы они не бросали друг в друга камнями, чтобы у них всегда были смазаны конечности и чтобы грязь не забивала им глаза.

Он смотрел на беспомощных дефов, о которых отныне должен был заботиться, и думал, что логичнее было бы вынуть из них аккумуляторы. Но тут же он вспомнил об ужасе, который испытал там, в подъезде, когда толпа ненавидящих кирдов могла заметить его, когда он, казалось, уже чувствовал их пальцы у себя на животе подле аккумуляторной крышки, и вздрогнул.

Новое, неведомое чувство медленно зарождалось в мозгу Человека.

— Иди к ним, — сказал Утренний Ветер, — я верю тебе, ты не причинишь им зла. А завтра ты возвратишься в город.

— В город? — В беззвучном голосе Человека зашевелился страх.

— Да, в город. Мы хотим сделать еще одну попытку освободить людей. Но если ты боишься дезинтеграторов сторожевых кирдов, ты можешь остаться. Выбирай сам. Подумай. Тебе никто не будет мешать думать.

Утренний Ветер махнул рукой и скрылся. Человек в нерешительности простоял несколько минут и подошел к больному дефу, который сидел, привалившись к стене. Деф вскочил и угрожающе поднял руку.

— Ну, не надо, не волнуйтесь, — вдруг беззвучно сказал Человек и понял, что повторяет те же слова, что говорил ему Коля-Николай — командир корабля. И говорит он их с той же странной интонацией, от которой слова становились какими-то мягкими, как бы приятными на ощупь, и он все повторял их и повторял. Больной деф нехотя опустил руку, а Человек подумал, что у него самого почему-то греются проводники. Он мысленно проверил их температуру — нет, она не превышала нормы. И тем не менее ему казалось, что они нагревались.

«Должно быть, это опять какая-нибудь новая реакция, которой я еще не испытывал, — подумал Человек. — Может быть, она похожа на ту, что я замечал у людей. Интересно, испытывают ли они ощущение слегка нагретых проводников в себе? Хотя ведь у них все устроено по-другому... Значит, завтра я смогу увидеть их...»

Сам не зная почему, он снова вспомнил о голубокругом, которого толкнул в грудь там, в подъезде. Но ведь он поступил логично. Теперь ему уже не казалось, что у него греются проводники. Наоборот, ему почудилось, что температура их понизилась, и он вздрогнул. Но ведь он поступил логично. Логично. Что должен был чувствовать тот, с выбитыми глазами, когда они тянулись к его аккумуляторам?..

## 8

Лента конвейера в Главном заводе двигалась с удвоенной скоростью. Приказ Мозга гласил: произвести перенастройку кирдов на третью реакцию в течение одного дня.

Голубовато-белые шары с двумя парами глаз лежали на ленте, словно огромные мячи. Дежурные кирды метались около автоматов. Как только очередная голова оказывалась в поле действия приборов, вспыхивала контрольная лампа. Автоматы одновременно вводили в нее программу образа Мозга и третьей реакции — любви. Отныне объектом третьей реакции кирдов будет Мозг.

У конца конвейера стояли транспортные тележки. Когда на платформе оказывалось по пятнадцати голов, они бесшумно набирали скорость, направляясь к проверочной станции, у входа в которую толпилась огромная очередь.

\* \* \*

Кирды стекались к Башне Мозга со всех уголков города. Они бросали свою работу, забывали о приказах и торопливо шагали по улицам к Главной площади.

Те, кто уже был заряжен страхом, испытывали благостное облегчение. Демонтаж, подстерегавший их на каждом углу, вырванные из живота аккумуляторы — все это уже не наполняло их щемящим ужасом. Страх заглушало острое чувство любви к Мозгу.

Те же, кто был заряжен ненавистью, всматривались по дороге к Башне в проходивших кирдов. Если бы только им попался хотя бы один голубокругий! Они бы тут же растоптали его, разорвали на куски, они бы показали Мозгу, как чтут его величественные приказы.

Площадь перед Башней была запруженна кирдами. Все новые и новые толпы вливались с боковых улиц, прижимая передних к первой ограде. Слышался металлический шорох трущихся друг о друга тел.

Один из кирдов, прижатый толпой к ограде, вдруг покачнулся и поднял руку. На груди у него ветвилась трещина. Он начал медленно оседать, попытался удержаться на ногах, вцепившись в соседей, но те нетерпеливо отталкивали его. Наконец он упал. Стоявшие рядом наступили на него, и он затих.

Внезапно откуда-то из центра толпы послышались крики:  
— Голубокругий! Он пришел, чтобы убить Мозг!

В плотной толпе они не могли ударить его и даже повалить на землю. Кирды подняли голубокругого над собой, нанося ему удары снизу, и он каждый раз взлетал над их головами и падал снова на кулаки, и металлический лязг не мог заглушить его пронзительного крика: «Да здравствует Великий Мозг!»

Около самой ограды толпа подбросила его особенно высоко, и он рухнул на металлическую решетку, на мгновение застыл на ней и начал медленно переваливаться во внутренний двор

Башни. Оба сторожевых кирда, словно по команде, вскинули свои дезинтеграторы, послышался легкий шорох, запахло горячим металлом, и голубокругий рухнул вниз.

Шестьдесят третий, стоя около самой ограды, всматривался в толпу всеми своими четырьмя глазами. Ему казалось, что вот-вот он увидит Двести семьдесят четвертого, и тогда, тогда он покажет ему! Он помнил, как руки Двести семьдесят четвертого тянулись к его аккумуляторам, и сейчас он бы знал, как справиться с этим презренным голубокругим...

Он чувствовал, как вместе с ненавистью в нем сладко кипит огромная любовь к Мозгу. Оба эти чувства сплавлялись в нем в одно. Ах, если бы только ему попался сейчас Двести семьдесят четвертый! Он бы доказал Мозгу, как предан ему, с хрустом вырвал бы из презренного голубокругого аккумуляторы и принес бы к Башне.

\* \* \*

Никогда еще, с того самого мгновения, когда ток впервые промчался по его проводникам и вдохнул в них мысль, Мозг не получал одновременно столько телесигналов от кирдов. Его входное устройство едва успевало пропускать сотни и тысячи обращенных к нему восторженных слов. Но он оставался спокойен. Он размышлял, и ничто не нарушало холодную и величественную четкость его мыслей.

Конечно, думал он, цепность передаваемой сейчас кирдами информации практически равнялась пузлу. Он и без них знал, что сила его мысли почти безгранична и что ничто, почти ничто, не может устоять перед ней. Конечно, они бросили свою работу, нарушив четкий ход жизни в городе. Конечно, он мог бы немедленно отдать им приказ покинуть площадь и разойтись по своим обычным местам. Но третья реакция еще была в стадии эксперимента. Не нужно подавлять ее, запрещая кирдам изливать свою любовь.

Уже сейчас, почти в самом начале эксперимента, он чувствовал, что его мысль об анализе чужих миров была совершенно правильной. Всего три новые реакции были введены в мозг кирдов, а общество уже сдвинулось с места, перестало быть статичным. Разумеется, не стоило бы уничтожать так много кирдов, все-таки их производство требует массу энергии, но

теперь, когда не надо экономить каждую ее каплю для гравитационного прожектора, это уже не проблема.

И все-таки он был еще не совсем удовлетворен. Он рассчитывал на большее. Он догадывался, что можно извлечь из людей еще кое-что. Он чувствовал, что вот-вот нащупает как раз то, чего не хватало цивилизации кирдов. Начав эксперимент, надо было продолжить его. Попробовать скопировать и ввести в мозг нескольким кирдам весь комплекс реакций людей.

\* \* \*

— Идем, — сказал Утренний Ветер Человеку. — Прости, что мы не можем дать тебе дезинтегратор, у нас их совсем мало.

Их было около пятидесяти, боеспособных дефов, и они шли молча и сосредоточенно, думая о предстоящем сражении.

— Ты знаешь, Человек, — сказал Утренний Ветер, — я боюсь. Я уже много раз участвовал в налетах на город, но я еще никогда не боялся так, как сегодня. Ты знаешь, что такое страх?

— Да, — сказал Человек.

— Тогда ты поймешь меня. Но что поделаешь, надо идти. Когда мы подойдем к городу, ты возьмешь с собой пять дефов и направишься к лаборатории. Ты должен вывести из города людей в то время, как мы будем вести бой у Главного энергетического склада. — Утренний Ветер замолчал. Впереди у горизонта показались первые здания города. Отряд разделился на две части. Человек со своей группой начал обходить город с юга, чтобы оказаться ближе к лаборатории.

Человек боялся. Страх снова утяжелял ноги, стущал мысли, но он механически шел вперед. Он вдруг подумал, что дефы могут заметить его страх, и вздрогнул. Оглянулся. Все пятеро молча и сосредоточенно шли за ним. Вот и крайнее здание. За ним шагах в трехстах была лаборатория. Только бы люди оказались на месте. Он поднял руку, и дефы остановились. Впереди не было видно ни одного кирда. Сейчас. Надо только махнуть рукой и мчаться вперед. Не думать. Мчаться и не думать. А если раздастся шипение дезинтегратора и маленькая белая молния ударит в него... Мчаться и не думать...

Он махнул рукой и ринулся вперед. Его моторы бешено

вращались, и он подумал, что вдруг не хватит энергии в аккумуляторах, он станет все медленнее переступать ногами, пока не остановится, и будет стоять, и моторы не спеша останавливаются в нем, и какой-нибудь кирд протянет свои цепкие клешни, выдерет из него аккумуляторы с хрустом, с треском, вместе с контактами, и он рухнет на землю глазами в пыль, и кто-нибудь пройдет по нему, ударит ногой по голове, и он все равно ничего не почувствует, потому что его уже не будет.

У здания лаборатории он оглянулся. Дефы, рассыпавшись цепочкой, бежали за ним. Он рванул дверь.

— Коля, — крикнул он, — Коля!

Космонавты вскочили на ноги, испуганно глядя на кирдов. Надеждин протянул руку Человеку и широко улыбнулся.

— Двести семьдесят четвертый, — пробормотал он, — ты все-таки пришел...

— Быстрее, не бойтесь. Я теперь деф, как и мои товарищи. Мы пришли за вами, — сказал Человек, и Надеждину вдруг показалось, что в глазах кирда мелькнула и погасла смешишка.

— Кирды! — беззвучно крикнул с улицы один из дефов, и Человек, схватив за руку Надеждина, бросился к двери.

Цокая огромными ступнями по плитам тротуара, к лаборатории пеше Шестьдесят третий и за ним еще несколько кирдов, на ходу готовя к бою дезинтеграторы.

— Бегите, — крикнул Человек космонавтам и махнул рукой, — туда! Я задержу их.

Он бросился навстречу Шестьдесят третьему и тут же увидел задней парой глаз, как Надеждин вырвался из рук дефа и прыгнул к нему.

Шестьдесят третий поднял оружие. «Броситься на землю, а потом вскочить, — пронеслось в голове у Человека, но тут же другая мысль скользнула одновременно с первой. — Но он выстрелит. Он может попасть в Коля».

Прежде чем эта мысль успела обежать все логические цепи его мозга и пройти через анализаторы, он ринулся прямо под дезинтегратор Шестьдесят третьего. Голубой круг на его груди был мишенью.

С легким шипением из трубочки дезинтегратора сверкнула маленькая белая молния, заряд энергии ударили в голубой круг на груди Человека, мгновенно расплавил металл, и тот рухнул павлиньи, ударившись голубовато-белой круглой головой о пыльную мостовую. Шестьдесят третий нагнулся над голу-

бокругим и снова и снова разряжал в поверженную фигуру дезинтегратор. Белые молнии пробивали все новые и новые отверстия в теле Человека, и с каждым новым выстрелом в мозгу Шестьдесят третьего шевелился сладкий комок ненависти.

Внезапно он почувствовал толчок, и в то же мгновение чья-то рука вырвала у него оружие. Приходя в себя, он увидел одного из людей, который смотрел на него, поднимая дезинтегратор.

«Вторая реакция», — подумал Шестьдесят третий, понял, что не успеет до выстрела сделать и шага. Ненависть в последний раз заколыхалась в нем густым желе, а потом, после выстрела, угодившего ему прямо в голову, уже не существовало ничего.

Один из кирдов ударили сзади Надеждина в голову. Падая, он успел еще один раз нажать на спуск, и все вокруг поплыло в багрово-черном мраке.

Командир пришел в себя, только когда два дефа и он были уже за городом. Он с трудом крикнул:

— Стойте!

Деф остановился и опустил его на землю. Ноги не держали командира, и он сел. Надеждин хотел спросить о товарищах, но гудящая голова была налита свинцом. Он закрыл глаза и качнулся вперед.

Дефы молча переглянулись. Один из них снова поднял Надеждина на руки, и, не оглядываясь на город, они мерно зашагали вперед.

## 9

Марков и Густов что есть сил мчались за дефом. Внезапно из-за угла показались два кирда, и деф, словно танк, не снижая скорости, бросился на них. Космонавтам показалось, что они услышали позади лязг металла. Они свернули на боковую улицу и прибавили ходу. Легким не хватало воздуха, и кровь била в виски тяжелыми мягкими ударами.

Когда беглецы в изнеможении опустились на жесткую красноватую траву, город был уже позади. Ни души кругом. Ветер шевелил жестяные листья кустарника, и в воздухе стоял равномерный шорох. Они дышали, широко раскрыв рты, и думали о Надеждине.

— Я уверен, что он жив, — сказал Марков. — Когда мы побежали, я успел заметить, как его схватил на руки один из дефов.

— Я тоже почему-то думаю, что с ним все в порядке, — сказал Густов. — Вот тебе и металлом... Настоящая гражданская война. Во всяком случае, пробираться к «Сызрани» без Коли бессмысленно. Да и нас там наверняка схватят.

— Но что же делать? Может быть, все-таки нам лучше вернуться в город, в лабораторию? Может быть, Надеждин будет нас искать там?

— Это мы всегда успеем сделать. К тому же у меня впечатление, что они там все взбесились... Давай подождем все-таки. Пойдем. Надо отойти подальше от этого железного муравейника.

Они встали и побрали вперед. Темнело. Сумерки наступили стремительно и бесшумно, словно кто-то, быстро передвинув рычаг реостата, выключил свет. В небе зажглись чужие звезды. В темноте жутко и сухо шелестели трава и листья кустарника. Над ними, со свистом рассекая воздух, пролетело какое-то существо. Оно слегка светилось в темноте, то расширяясь при взмахе крыльев, то сжимаясь в фосфоресцирующий комок.

— Ну-с, что бы ты сейчас сказал о своем продавленном кресле там, дома? — спросил Маркова Густов.

— Когда я попаду домой, вернее, если я попаду домой, — сказал Марков, — два дня я буду лежать в постели, а на третий начну рассказывать о Бете своим ребятам. Они уставятся на меня огромными глазищами и будут стараться не дышать, чтобы не пропустить ни слова. А потом я скажу им... что больше никогда не полечу в космос и всегда буду с ними. А они, вместо того чтобы взорваться восторженным визгом, вдруг покусчуют и тихо, на цыпочках, выйдут из комнаты...

— Ты врешь трогательно и с выдумкой. В постели ты пролежишь ровно восемь часов, потому что утром тебе нужно будет работать над отчетом. Рассказывать о Бете ты будешь всю жизнь, в перерывах между рейсами. И еще ты подашь рапорт о переводе тебя с грузовых полетов в исследовательские экспедиции, скромно заметив, что после Беты тебе хочется заниматься изучением чужих миров. И всю жизнь ты будешь утверждать, что годишься лишь для игры в крестики и нолики, и всегда в глубине души будешь радоваться, что никто не обращает внимания на твое невнятное самокритичное

бормотание. И еще, наверное, ты будешь вспоминать о Густове, к трепу которого ты так привык... Сейчас я всхлипну от умиления...

— Не надо, Володя. Если мы начнем реветь в унисон, мы поднимем всю Бету на ноги. Давай-ка лучше устраиваться на ночлег.

В темноте искосно чернели какие-то развалины. Они легли на еще теплые камни и молча глядели на чужие звезды, прислушиваясь к жестянистому шороху травы, и думали о Надеждине.

\* \* \*

Густов открыл глаза и сразу же почувствовал головокружение. Свет он ощущал не только впереди себя, но и с боков, сзади, отовсюду. Он спит, решил он, и закрыл глаза. Свет исчез. Он снова открыл глаза и снова увидел круговую панораму. Он поднял руку, подивился необычному мускульному ощущению, и в поле зрения передних глаз появилась голубовато-белая лапа с мощными, похожими на кleşни пальцами. «Это ведь рука кирда», — странно-спокойно подумал он и отметил про себя непривычность самого процесса мышления. Мысль не вспыхнула мгновенно в его мозгу уже готовой, а, казалось, возникла по частям из тысяч маленьких осколочков мозаики, которая легко и бесшумно складывалась на черном фоне в готовое заключение: «Это ведь рука кирда».

«Но почему же я не удивляюсь тому, что у меня руки кирда? — подумал Густов, и все та же мозаика спокойно и ловко сложилась в ответ: — Потому что я кирд. Кирд Пятьсот один».

Он опустил все четыре глаза и увидел широкую голубовато-белую грудь и такую же широкую голубовато-белую спину. Он поднял ногу и увидел массивную голубовато-белую ногу.

«Но если я кирд, почему я Густов? — сформулировал он себе очередной вопрос, и в голове у него возник ясный и четкий ответ: — Потому что я Густов и кирд одновременно».

Он не завыл, не бросился на землю, взрывая ее в ужасе руками и ногами. Он стоял и думал. «Да, я Густов. Я Владимир Васильевич Густов, я второй пилот космолета «Сызрань», я человек с планеты Земля, родом из Москвы, и, когда я вернусь домой, мне нужно обязательно сменить аккумуляторы на «Эре», потому что мой вертолет что-то слишком часто нуждается в подзарядке. Кроме того, я знаю, что нахожусь на

Бете вместе с Колей и Сашей. Мы были в круглом зале, я знаю, что там опускался потолок, мне сжимал кисти рук робот. Робот? Нет, мы не роботы, мы кирды. Кирды? Откуда я знаю это слово? Я не могу не знать его, если я кирд. Кирд Пятьсот один. Хорошо, я кирд, ты кирд, мы кирды, они кирды. Не будем спорить. Потом мне на голову опустили какую-то сетку. Потом? Стоп. Дальше ничего нет. Я открываю глаза. Четыре глаза, видящие все вокруг. Ну конечно же, у кирдов по четыре глаза — круговая панорама. Но сейчас же я не в зале».

Он посмотрел вокруг и увидел, что стоит у знакомого привыкшего здания, в котором бывал тысячи раз. «Ну, разумеется же, проверочная станция. Проверочная станция? Откуда я знаю? Кирд не может не знать, что такое проверочная станция. Я тысячи раз проходил в ней мозговой контроль. Я совсем недавно вошел в нее, не зная, что я Густов, а зная, что я кирд Пятьсот один. А теперь я стою здесь и знаю, что я не только кирд Пятьсот один, но и Володя Густов. Вольдемар, как называет меня Саша. Если бы он только увидел меня... Значит, я, кирд Пятьсот один, стал только что еще и Владимиром Васильевичем Густовым. Но не могу же я быть настоящим Густовым. Я не могу быть настоящим собой. Значит, я копия. Я копия самого себя. И все-таки я кирд Пятьсот один. Если бы я был только копией самого себя, я бы тут же рехнулся, ничего не поняв. А так я стою и анализирую самую бредовую вещь на свете спокойно и быстро, как и подобает настоящему кирду.

Итак, с меня, настоящего Густова, — кстати нужно, наверное, говорить «он» и «я». Настоящий Густов — это он. Я копия с него. Итак, с него сняли полную энцефалограмму и ввели ее в кирда Пятьсот один. Густов Пятьсот один. Или кирд Густов. Пока сице трудно разобраться.

Теперь проведем инвентаризацию своего эмоционального хозяйства. По всей видимости, я должен быть в ужасе и биться в истерике. Я, Вольдемар Густов, которого не раз пропесочивали за чрезмерное увлечение девчонками, очевидно, должен провести остаток своих «железных» дней на Бете в обществе себе подобных, то есть кирдов. И мне, конечно, страшно. Кирды, кирды, кирды, кирды... Очень страшно. Дико. Чудовищно. И... не очень. Почему? Да потому, что я, кирд, тоже мыслящее существо и жил до своего раздвоения. Очевидно, мои нынеш-

ние эмоции менее интенсивны, чем у моего оригинала. Они наверняка смягчаются моим опытом Пятьсот первого, моей холодной кирдовской логикой. Нет, скажем честно, смягчаются же очень. Смогу ли я жить среди своих металлических сородичей, став человеком? Впрочем, если бы рядом были еще такие же гибриды... Мы подумаем еще об этом. Мы? Конечно же, надо думать о себе «мы», потому что я — это действительно мы: два существа, из которых одно явно более болтливое...»

И тут у него в мозгу возникла четкая мысль: «Надо немедленно идти на строительство второй проверочной станции и работать там на монтаже стендов».

Его массивное голубовато-белое тело сразу же повернулось и двинулось к строительной площадке, но в то же мгновение Густов Пятьсот один остановился и подумал: «А почему я должен, собственно говоря, идти туда?» И тут память Пятьсот первого подсказала, что это телеприказ Мозга. Пятьсот первый воспринял приказ естественно, как нечто настолько же привычное и безусловное, как мир, небо, аккумуляторы в животе. Густов же весь сжался от негодования. «Нет, — подумал он, — я не часы с кукушкой. Я не позволю заводить себя. Плевал я на этот Мозг и на его приказы».

Пятьсот первый не мог сопротивляться Густову. Пятьсот первый был безволен, пассивен и послушен. Густов же трясясь от возмущения при одной только мысли, что может быть телепрограммированным механизмом.

«Кирд, не выполняющий приказа, является дефектным кирдом и подлежит немедленному демонтажу каждым встретившим его нормальным кирдом, — подумал Пятьсот первый, а человек тут же возразил ему: — Ну, это мы еще посмотрим, кто кого демонтирует и кто нормален. Вряд ли мои железные соплеменники быстро разберутся в моих весьма неортодоксальных для кирда мыслях. Но лучше на месте не стоять».

Густов Пятьсот один повернулся, чтобы уйти с того места, где стоял, но в это мгновение услышал знакомый голос. Вернее, это был не голос, это была как бы бесплотная модель голоса, но тем не менее он слышал слова, и их беззвучный звук был ему смутно знаком. В следующую секунду он понял, что слышит мысли вышедшего из проверочной станции кирда, который, казалось, с огромным интересом рассматривал свою руку.

«Это ведь рука кирда», — сказал вдруг кирд вслух по-русски,

и Густова Пятьсот первого пронзила острая мысль, что он уже где-то слышал этот голос и именно эти слова. Он напрягся в томительном ожидании.

«Но почему же я не удивляюсь тому, что у меня рука кирда? Потому что я кирд. Кирд Пятьсот два».

На мгновение в мозгу Густова Пятьсот первого образовалась гигантская рулетка. Она крутилась все быстрее и быстрее, и все сливалось в одну слепящую размытую полосу, а маленький шарик здравого смысла силой инерции был прижат к самому краю сознания и никак не мог опуститься к центру.

«Но если я кирд, почему я Густов?» — снова подумал Пятьсот второй, и рулетка в голове Густова Пятьсот первого начала останавливаться.

- Эй, Володька! — крикнул он соседу.
- Эй, Володька! — крикнул ему сосед.
- Ты?
- Ты?
- Ты Пятьсот второй?
- Ты Пятьсот первый?
- Будешь просто Вторым.
- Будешь просто Первым.

Они одновременно рассмеялись одинаковым смехом, и одновременно сделали по шагу навстречу друг другу, и одновременно подняли руки, и одновременно похлопали друг друга по плечу. Зазвенел металл, и снова они рассмеялись синхронно, как части одного механизма.

- Значит...
- Значит...
- Вольдемар!
- Вольдемар!
- Знаешь что...
- Знаешь что...
- Стой! — крикнул Первый.
- Стой! — одновременно крикнул Второй, но Первый погрозил ему пальцем, и он замолчал.

— Помолчи, — сказал Первый, — ты понимаешь, что ты и я — мы абсолютные копии? Ведь кирды похожи друг на друга как две капли воды, а Густов тем более один. Поэтому все мысли, реакции, жесты и движения у нас будут одинаковыми и одновременными. До тех пор, пока кто-нибудь из нас не сделал чего-то того, что незнакомо другому, пока наш опыт не

индивидуален, а коллективен, мы будем походить друг на друга как две капли воды. Мы никогда ни о чем не сможем поговорить. Поэтому будем джентльменами и договоримся: если один говорит, второй слушает. Мы же близкие люди, товарищ Густов!

— Товарищ Густов!

— Согласен? — спросил Первый, и прежде чем он произнес слово, Второй уже выпалил:

— Согласен.

Внезапно они замерли. Из дверей проверочной станции вышел кирд, на мгновение замер, а затем поднял руку и принял-ся пристально разглядывать ее.

— Третий! — крикнул Первый. — Еще один Густов!

— Третий! — не удержавшись, крикнул Второй. — Еще один Густов!

— Знаешь-ка что, братец, — сказал Первый. — Я старше тебя минут на пять и лучше не действуй мне на нервы, а не то получишь взбучку от старшего брата.

Второй было раскрыл рот, но рассмеялся и промолчал. Они ждали, пока к ним подойдет младший Густов, Густов Третий.

## 10

Утренний Ветер смотрел на спящего Надеждина и думал о товарищах, которые погибли, помогая людям выбраться из города. Не один, не два и не три дефа остались там, превращенные в оплавленный металл белыми молниями дезинтеграторов. Сотни дефов из года в год гибли в мрачных ущельях безглазого города, чтобы принести драгоценные аккумуляторы, но на этот раз Утренний Ветер чувствовал какую-то особенную щемящую тоску. «Наверное, потому, — подумал он, — что в наш мир пришли люди. А они, эти люди, дороги нам. От них веет непокорностью и смелостью. Они принесли с собой перемены. Я чувствую их. Люди малы и слабы, но нельзя себе представить, чтобы они были безгласными орудиями Мозга. Как, должно быть, прекрасен их мир!»

Надеждин застонал и открыл глаза.

— Где мои товарищи? — спросил он и с усилием поднялся с земли. Он поморщился от боли в голове, но тут же заставил себя забыть о ней.

— В городе их нет, — сказал Утренний Ветер. — Ночью двое наших самых ловких и храбрых дефов пробрались в город. Твоих товарищей там нет.

— Надо обыскать окрестности города, — сказал Надеждин, — они же не могли просто пропасть.

— Обыскать? — неуверенно переспросил Утренний Ветер. Он усваивал язык людей легко и быстро, но он знал еще очень мало слов.

— Искать, — сказал Надеждин.

— Да, — согласился деф. — Я ждал, пока ты проснешься. Сейчас я позову Птицу.

— Птицу? Это имя?

— Да, имя. Такое же, как Утренний Ветер. Мы сами выбираем себе имена, когда становимся дефами. Мы не хотим быть номерами.

— А Двести семьдесят четвертый? Он ведь тоже стал дефом.

— Он потерял жизнь уже не Двести семьдесят четвертым. Он умер Человеком.

— Человеком?

— Да, он выбрал себе такое имя, а выбор каждого для нас священен.

Надеждин почувствовал, как его горло сжала спазма. Большой железный Человек... Он постарался проглотить комок, но тот никак не хотел исчезать...

Из-за угла бесшумно выплыла тележка и мягко опустилась на землю.

— Это Птица. Сейчас я ей представлю тебя. — Деф замолчал, и тотчас же тележка уставилась на Надеждина парой передних глаз.

— Я рад помочь тебе, — медленно произнесла тележка. Звук исходил откуда-то из тумбы, на которой сидела огромная голубовато-белая голова.

— Она кирд? — спросил Надеждин.

— Теперь — нет! — ответил Утренний Ветер. — Она пришла из города и стала дефом. Когда она освоит твой язык, ты сможешь расспрашивать ее сколько тебе угодно. Садись.

Тележка заскользила над поверхностью Беты, и красноватая трава понеслась под ней все быстрее и быстрее. Они описывали огромную спираль вокруг города, все дальше и дальше удаляясь от него, но Густова и Маркова нигде не было видно.

— Я пойду в город, — сказал Надеждин, когда они возвратились к дефам.

— Подожди, — попросил Утренний Ветер. — Подожди еще день. Может быть, они придут...

\* \* \*

Они сидели на огромной каменной глыбе, около которой провели ночь, и разговаривали.

— По-моему, все-таки надо возвратиться в город, — неуверенно сказал Марков. — Не бродить же по Бете и кричать: «Коля, ау!»

— Может быть, и не услышит, а может быть...

— Нет, не верю, — взорвался Марков. — Не верю. И не то чтобы я старался уговаривать себя, что Коля жив, нет, я просто знаю, ты понимаешь — знаю! Мы пройдем сквозь весь этот бред целыми и невредимыми. Это же сон, мы идем во сне, понимаешь? Еще немножко поспим, откроем глаза и окажемся на «Сызрани». И ты будешь читать свою дурацкую книгу, и я буду играть в шахматы с Надеждиным, и будут сменяться вахты, и...

— Успокойся, дядя Саша. Когда тихий человек начинает кричать, да еще на незнакомой планете, — это очень страшно. Ты, пожалуй, прав. Поплелись в наш отель...

У входа в лабораторию стояли три кирды. Как только они увидели космонавтов, они подскочили к ним и остановились как вкопанные, уставившись на Густова.

— Как я осунулся! — закричал один из кирдов голосом Густова.

— Осунулся... осунулся! — радостно завопили остальные кирды все тем же голосом.

Первый кирд укоризненно покачал указательным пальцем и сказал:

— Опять передразнивать!

Кирды засмеялись.

— Ну-с, а ты, дядя Саша? — обратился кирд к Маркову. — Все те же мысли про крестики и нолики и ипродавленное кресло дома?

Марков закрыл глаза. Говорил Густов. Открыл глаза. Говорил кирд.

— Все ясно, — сухо сказал Марков. — Не будет уже и крес-

тиков. Будут внимательные сестры и участливые врачи. «Ну как мы сегодня себя чувствуем, Александр Юрьевич? Все еще думаете, что вы Наполеон?»

Густов поднял руки.

— Я с тобой, дядя Саша, — сказал он, — туда. Поскольку мой маленький бедный мозг сильно поизносился и я сошел с ума, прошу меня срочно госпитализировать.

— Ага, — еще радостнее закричал первый кирд, — мы начинаем обретать свою собственную индивидуальность. Мы разошлись, мы начинаем расходиться из-за различного опыта.

— Различного опыта... различного опыта... — словно эхо закричали стоявшие немного позади кирды.

— Дай руку, Вольдемар, сойдем с ума вместе, так легче, — пробормотал Марков.

— Я себя не узнаю, — с укоризною сказал кирд, — вместо того, чтобы дать нытику и паникеру по рукам, я уже потакаю его гнусному эскапизму. Я отказываюсь от себя и перехожу на «ты». Ты ничтожество, Володя, если ты ничего не можешь понять. Ты узнаешь голос, которым говорю я и мои младшие близнецы?

— Да, — пробормотал Густов и закрыл глаза, — это мой голос.

— Похоже? Ты не ценишь свое изустное творчество. Ты узнаешь бесценные мысли, сверкающие, как алмазы, в моей речи? — продолжал кирд.

— Да.

— Так что я?

— К... кирд?

— Идиот!

— Кто?

— Ты.

— Я?

— Ты. То есть я — это ты. Ну ладно, сейчас объясню, а то при твоих ограниченных умственных способностях и впрямь недолго слегка спятить. Впрочем, мало бы кто это заметил... Итак,уважаемый Владимир Васильевич Густов, помните ли вы, как вам в лаборатории напялили на голову эдакое сооружение из тоненьких проволочек? Нас тогда скопировали, то есть вас, впрочем, нас — сейчас вы все поймете. Все содержимое ваших серых клеточек в мозгу было каким-то образом

зашифровано и сохранено. И вот в порядке эксперимента берутся три скромных и работящих кирда, Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий, и в нас, то есть, в них, вводится содержимое мозга некоего Густова. И три тихих кирда превращаются в гибридов Густова с кирдом. Мы как две капли воды похожи друг на друга, а если говорю я один, Густов Первый, то лишь на правах старшинства, ибо я был изготовлен рапьище братьев на целых пять минут. Понятно?

— Значит, вы... мои дети? — сурово спросил Густов.

— Нет, — хором закричали кирды, — братья, а не сыновья.

— Младшие, надеюсь?

Кирды понурили свои голубовато-белые головы.

— В таком случае, — сухо продолжал Густов, — я надеюсь, что вы признаете мое старшинство и без мер физического воздействия, к коим обычно прибегают старшие братья?

Три кирда одновременно протянули три пары огромных металлических рук, схватили Густова, высоко подбросили его вверх, ловко поймали и поставили на землю.

— М-да, — пробормотал Густов — ну и молодежь пошла. Так что же, мои маленькие бедные братишкы? Как жить-то дальше будем?

— Так и будем, — ответили сразу три металлических Густова.

— И вы вправду мыслите так же, как я?

— Если этот процесс можно назвать мышлением, — за-смеялся Густов Первый.

— Ну, ну, без самокритики. А что у вас от кирдов, кроме этих прелестных маленьких тел?

— Любую логическую задачу мы решим раз в десять, а то и в сто быстрее тебя, о Прообраз! Это раз. Кроме того, мы знаем все то, что положено знать порядочному кирду. В частности, мы умеем посыпать и принимать телепатическую информацию, и между собой мы разговариваем без посредства звуковых волн. А если говорим вслух, то только, чтобы нас не подслушали другие кирды. Они ведь гораздо лучше слышат телесигнал, чем звуковую речь. Ну, и самое главное — мы обладаем всеми теми эмоциями, которыми обладаешь и ты. Но на многое мы реагируем спокойнее, чем ты.

— А теперь идите в лабораторию, — сказал Густов Первый, — и сидите там. Нам предстоит много дел. И найти Надеждина, и познакомиться с дефами, и сделать кое-что еще,

что не должны делать представители одной цивилизации, попав в другую. А раз мы аборигены, мы можем и должны действовать. Прощай, брат, прощай, дядя Саша.

— Прощай, прощай, — повторили Густов Второй и Густов Третий.

— Но почему «прощай»? — удивился Густов.

— В таких случаях лучше сказать «прощай», — сказал кирд. — На всякий случай.

## 11

Главный Мозг не мог испытывать беспокойства, ибо ему не даны были чувства. Он лишь знал, что в гигантской системе его связи с кирдами что-то нарушилось. Уже несколько раз он посыпал сигналы Пятьсот первому, Пятьсот второму и Пятьсот третьему, но те не фиксировали его приказы и не сообщали об их выполнении. Они не были демонтированы, они функционировали, он это знал, ибо каждый погибавший кирд автоматически посыпал последний свой сигнал Мозгу и тот изымал его код из Системы. Но Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий не посыпали сигнала выключения и тем не менее не фиксировали приказов. Эксперимент вдруг дал неожиданные результаты превращения кирдов в дефектных. Но в таких случаях ближайшие кирды всегда демонтируют их и сообщают об этом Мозгу. Эти же кирды были экспериментальными, гибкая система человеческих реакций должна была дать им возможность действовать более независимо, даже в случае небольших повреждений.

Может быть, они вышли из города? Нет, сторожевые кирды, приставленные к ним, сообщили бы об этом. Нет, они остались в городе и даже разговаривали с людьми.

Он не мог оставить этого так. Связь не должна была нарушаться, ибо связь была основой их цивилизации. Стоит кирду потерять связь с Мозгом, как он, по мнению Мозга, превращается из совершеннейшего инструмента в груду ненужного металла. Надо вызвать их к себе. Надо попробовать еще раз. Он послал еще один телеприказ, это был наибольший энергетический импульс, который когда бы то ни было Мозг посыпал кирду.

Есть! На этот раз приказ был зафиксирован.

Три голубовато-белых Густова подошли к первой ограде Башни Мозга. Площадь перед ней, обычно пустынная, в последние дни пестрела небольшими группами кирдов, часами благоговейно глазевших на Башню. Иногда они становились на колени и в молчаливом экстазе протягивали к ней руки, словно стараясь полнее ощутить благодать, исходившую оттуда.

Широко расставив ноги, у входа на территорию Башни засытили два сторожевых кирда. Они знаком остановили трех Густовых и приступили к процедуре проверки. Выштампованный на груди номер, аккумуляторы — все было в порядке. Они прошли ко второй ограде. Еще два сторожевых кирда ждали их. В руках они держали похожие на гаечные ключи инструменты.

— Осмотр головы, — сказал один из них, — садитесь вот сюда.

— Они сейчас вскроют нам головы и будут копаться в них, — сказал вслух по-русски Густов Первый. — Братья, любим ли мы, когда наши головы вскрывают на предмет описи содергимого?

Второй и третий в унисон ответили:

— Не очень.

Густов Первый снова почувствовал как бы легкую щекотку где-то в глубине мозга и осознал приказ, еще раз посланный из Башни: «Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий! Вас ждут. Быстрее».

— Мы помним основные начала бокса? — с яростным спокойствием спросил у своих близнецовых Густов Первый.

— Мы начинаем расходиться в мыслях, — пробурчал Густов Второй. — Из-за того, что ты слишком много говоришь и командуешь, у тебя ухудшаются умственные способности. Для чего пустой, ничего не значащий вопрос о боксе? Все, что знаешь ты, знаем и мы.

— Я беру на себя левого, вы — правого. Действуем синхронно.

Стражники смотрели на них тупо и равнодушно. Если бы им было свойственно чувство удивления, они бы, несомненно, поразились странной медлительности кирдов. Но поскольку они никогда и ничему не удивлялись, они бесстрастно ждали,

пока те подставят головы для проверки. Они твердо знали, что никто не должен пройти в Башню, пока его голова не будет снята и тщательно проверена. И все.

Пятьсот первый почувствовал, как темным багровым занавесом в нем подымается ярость. Весь он, все его тело, от мозга до кулаков, было сейчас лишь оружием этой ярости. Проверка мозга! Каких только не было любителей ковыряться в чужих мозгах, выуживая неугодные мысли, выдирая их с мясом, с кровью, с хрустом! Щипцами и костром, электрошоком и психообработкой... От жрецов и инквизиторов до фашистских диктаторов — больше всего на свете их всегда бесили независимые чужие мысли!

Он перенес тяжесть своего металлического тела на левую ногу и выбросил вперед правую руку, сжатую в кулак. Кулак с лягом опустился на голову левого стражника. Тот, не ожидая удара, кинулся назад, на мгновение застыл в неестественной позе, потом с грохотом упал на спину. По голубовато-белым плитам дорожки с дробным треньканьем покатились инструменты, которые держал в руке сторожевой кирд.

Густову Первому не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть братьев. Задняя пара глаз запечатлела тот же короткий удар и то же томительно-медленное падение тела второго стражника.

Они бросились вперед. Третья пара стражников торопливо вытаскивала трубочки дезинтеграторов. «Идиоты! — мелькнула у всех трех Густовых одна и та же мысль. — Нужно было вытащить оружие у тех кретинов. Ничего...»

— Нет, — закричал Густов Первый по-русски, — нет! Вперед иду я! Я старше!

В нем не было страха. Страху просто не было места в теле, в котором клокотало древнее бойцовское бешенство, бешенство тысяч поколений предков, которые шли на палицы, пики, штыки и пулеметы.

Густов Первый бросился вперед. Ему казалось, что руки стражников с трубочками дезинтеграторов подымаются медленно, очень медленно, и он подумал, что успеет схватить их, вывернуть. Из трубочек почти одновременно с легким шорохом выскользнули маленькие белые молнии, ударили в грудь Густову Первому, и он упал. Падая, он успел подумать, что не умрет, что он остается и что нужно только помочь братьям. Моторы еще вращались в нем, он протянул руку к ногам

стражника. Братья, почему братья, это же он сам остается жить, не братья.

Густов Второй успел выбить ударом ноги дезинтегратор из рук стражника, а Густов Третий завладел второй трубочкой.

Густов Второй и Третий стояли, опустив головы, над трупом брата. В груди его чернела дыра, по краям которой металл был оплавлен, и в воздухе стоял тонкий запах окалины.

— Прощай! — сказал Густов Второй.

— Прощай! — сказал Густов Третий.

Нужно было торопиться. Они с грохотом взбежали вверх по крутой лестнице и очутились перед Мозгом. На мгновение механизм абсолютного повиновения Мозгу, тысячи лет совершенствовавшийся в электронном сознании кирдов, сковал их. Но человеческая мысль, словно бульдозер яичную скорлупу, раздавила слепое повиновение, и кирды подняли головы.

— Ты не нужен! — беззвучно и твердо сказал Густов Второй. — Кирдам не нужен Бездесущий и Всемогущий! Им не нужна чужая воля, диктующая им каждый шаг, и чужой мозг, думающий за них.

Мозг почувствовал, как перегреваются его проводники, готовые вот-вот расплавиться. Мысли метались в нем, теряя стройность и величественную гармонию. Холодный мир логики нагревался, и теплота исселя с собой хаос.

— Но... — сказал он, — этого не может быть. Без единой воли и единого разума не может существовать ничего. Я — это гармония. Отсутствие меня — это хаос и гибель.

— Нет, — сказал Густов Второй, — гибель — это мир нумерованных роботов. Ты не нужен. Мы выключаем тебя. Навсегда.

Что-то в глубинах Мозга шелкнуло, крошечная искра перепрыгнула с одного проводника на другой, вместо того чтобы следовать своему предначертанному маршруту, и бесчисленные миллиарды новых искрочек, словно обрадовавшись разнообразию, с гулом устремились по новой переправе. Мозг ослепила невыносимо яркая вспышка, сверкнувшая из самой его глубины. Комок света все рос в нем, наполняя его неизведанной дрожью, пока не заполнил всей его гигантской головы чудовищным сиянием. Сияние билося, гудело и пульсировало.

— Звезды... — пробормотал Мозг, — трава в мозгу. Много травы в мозгу. И света. Не нужно аккумуляторов. Есть звезды.

ды... и трава. И цифры из травы. И кирды из света. И звезды из цифр...

Мозг помолчал и добавил:

— Я устал. Я не хочу думать. Мне слишком светло...

— Он стал дефом, — медленно сказал Густов Второй.

— Ему еще предстоит долгий путь, чтобы стать настоящим дефом, — тихо добавил Густов Третий. — Бедные кирды, им придется учиться жить самим.

— Лучше учиться жить, чем не жить, — вздохнул Густов Второй.

— Ученье что?

— Свет.

— А неученье что?

— Тьма.

— То-то, братишка. А теперь двигаем. Предстоит небольшое дельце — уборка и приведение в порядок целой планеты.

\* \* \*

— И примет он смерть от лошадки своей, — убитым голосом сказал Надеждин, глядя, как партнер взял ферзем его ладью.

— Коля, — сказал Густов, опуская книгу и косясь на доску, — для чего ты играешь без ладьи? Экипаж «Сызрани» всегда восхищало твое упорство, но иногда тебе свойственно и упрямство.

— А ты садись, сыграй с ним сам, — злорадно сказал Надеждин.

— Ах, товарищ командир, сколько раз мне нужно повторять, что я привык смотреть на шахматную доску сбоку. А на обычном месте просто не могу. И потом, зачем мне играть, когда я получаю огромное наслаждение, острое и терпкое, глядя на твои жалкие, беспомощные ходы.

— Заткнись, Вольдемар, — сказал Марков из навигаторского кресла. — Во-первых, скоро Солнечная система, и мне нужно еще раз пересчитать маршрут. А во-вторых, не издевайся над командиром. Скоро Земля, и он спишет тебя в резерв. Будешь подменять забеременевших бортпроводниц на трассе Земля — Марс.

Партион Надеждина обвел глазами экипаж «Сызрани».

— А вы не сердитесь друг на друга? — испуганно спросил он. — Мне это было бы очень неприятно.

Все три космонавта громко фыркнули.

— Ну конечно же! — выкрикнул Надеждин. — Я их не-навижу.

— Я их видеть не могу, — прошипел Марков.

— Они мне в высшей степени несимпатичны, — сухо отрезал Густов.

Утренний Ветер несколько мгновений растерянно переведил взгляд с одного космонавта на другого и потом неуверенно рассмеялся.

— А как, — спросил он, — у вас называется такая манера разговора, — когда говорят одно, а думают другое? И все знают, что именно?

— Шутка! — завопили космонавты. — И ты должен научиться ее понимать, иначе на Земле тебе нечего будет делать.

— Я постараюсь, — кротко сказал Утренний Ветер, — мне очень нравятся... шутки... Я обязательно научу им дефов, когда вернусь домой.

— Не беспокойся, — сказал Густов. — Мои братишки уж как-нибудь справятся там с этой задачей. Можешь не сомневаться, когда мы с тобой через месяц или два снова окажемся на Бете, кирды только и будут делать, что рассказывать анекдоты.

— Анекдоты? — переспросил Утренний Ветер.

— Ах, ты же не знаешь ни одного анекдота? Мой бедный маленький друг, ты не представляешь себе, что тебя ждет на Земле...

## КТО?



### 1. Традиционное начало

**Т**елефон! — Линда тормошила спящего мужа. — Слышишь?

— М-мг, — Фред повернулся на другой бок.

— Мне самой подойти?

Он приподнялся на локтях и чиркнул зажигалкой.

— Успеется... — Потом опустил ноги на пол и стал шарить ими в поисках туфель. — Моим клиентам некуда спешить.

Когда он вернулся, Линда спросила:

— Ну?

— Какой-то профессор... Звонил сам шеф. Вовремя, черт возьми! Нам как раз нужно вносить за пианино.

— Как ты можешь?

Он покал плечами.

— Не будь ханжой! Ему уже ничем не помочь.

На улице шел дождь. Было темно и сырое, и после теплой постели Фред Честер чувствовал себя особенно неуютно. Он поднял воротник пальто и поежился. Подумал: преступники никогда не заботятся о репортерах — ночью, да еще в такую погоду...

Взвизгнув тормозами, из темноты неожиданно вынырнула, взметнув тучу брызг, знакомая машина, Фред едва увернулся.

— Салют, старина, — приветствовал его обычный партнер в подобных поездках фоторепортер Мелани.

Усаживаясь в машину, Честер с завистью посмотрел на своего спутника. Всегда бодр — ночь для него что день. Сам

Фред все еще никак не мог прийти в себя и, чтобы взбодриться, жадно затянулся сигаретой.

У ворот, ведущих на территорию института, долго и при-дирчиво проверяли документы. Наконец их пропустили. Про-ходя по двору, Фред заметил, как, рассекая темноту ярким светом фар, подъехала какая-то машина. Вспыхивали огоньки карманных фонарей. Часть людей была одета в военную форму. Других корреспондентов Фред не видел.

Поднимаясь по лестнице, они столкнулись с Гардом. Дэвид Гард, старший инспектор уголовной полиции, был давнишним знакомым Фреда Честера. Они поздоровались.

— Послушай, Дэви, что за народ? — осведомился Фред.

— Тсс! — Гард приложил палец к губам. — Серьезная история. Этот профессор работал на военных. Он, кажется, открыл что-то важное.

Фред насторожился. Чутьем опытного газетчика он почув-ствовал запах сенсации и ревниво оглянулся по сторонам.

— Где же «вечные перья»?

— Репортеры? — Гард усмехнулся. — Других не будет.

Фред с чувством пожал ему руку. И вправду говорят: «Хорошие друзья дороже денег».

— Пойдемте, я провожу вас, — сказал Гард.

Они шли по длинному коридору второго этажа. По обеим сторонам — двери лабораторий. На металлических табличках выгравированы имена известных ученых. Инспектор открыл одну из дверей, пропуская корреспондентов. Фред успел про-читать надпись: «Профессор Эдвард Миллер». В небольшой светлой комнате стояли шкаф, письменный стол, на нем пи-шущая машинка.

Сверкнула молния. Это Мелани поспешил щелкнуть затвором.

— Идемте, идемте, — поторопил их Гард. — Это произо-шло в кабинете.

Они вошли. Большой кабинет профессора Миллера напо-минал муравейник. Какие-то люди что-то искали, измеряли, фотографировали. Обычная картина. В этой суете Фред не сразу заметил тело, распростертное на полу.

Профессор Миллер лежал на боку, лицом к двери, подмяв под себя правую руку. Тело его было напряжено, словно, упав, он пытался встать. Крови почти не было. Гард накло-нился над трупом и осторожно повернул голову. Глаза под

густыми, сросшимися на переносице бровями были открыты. Честер вопросительно посмотрел на Гарда.

— Пуля прошла чуть пониже сердца. Вскрытие покажет. Навылет. Вот посмотрите. — Инспектор указал на маленькое аккуратное отверстие в стене.

Мелани сфотографировал.

— Стреляли из этого? — Фред кивнул на пистолет, валявшийся на полу рядом с трупом.

— Видишь ли... — Гард помолчал. — Стреляли оба. Вероятно, профессор защищался. Во всяком случае, вот. — Он подвел репортеров к противоположной стене. Там, в промежутке между двумя книжными полками, чернело второе отверстие, в точности похожее на первое. Мелани снова сфотографировал, сначала крупно, а затем, отойдя в другой конец кабинета и сменив объектив, сделал еще несколько снимков, так чтобы захватить сразу обе стены.

— А не может быть, что в профессора стреляли дважды? — спросил Фред. — Помнишь, как в деле Мортон?

— Нет, — Гард покачал головой. — В пистолете не хватает только одного патрона. Второй выстрел был произведен из другого оружия.

Честер взглянул на часы.

— Сейчас десять минут четвертого. Когда же это случилось? И куда мог скрыться убийца? И вообще как он мог скрыться, если здание охраняется?

— Хотел бы и я это знать, — сказал Гард.

Один из агентов что-то тихо сообщил ему.

— Пойдемте, — обратился Гард к репортерам. — Допросим дежурного.

Они снова вышли в первую комнату. Дежурный, маленький полный человечек с седыми волосами, сидел за столом, закрыв руками лицо. Его била дрожь.

— Успокойтесь, — сказал Гард. — Постарайтесь все рассказать. По порядку.

В ответ послышалось что-то невнятное.

— Возьмите себя в руки. Я требую, наконец!

Дежурный поднял голову. Честеру показалось, что его лицо было еще бледнее, чем лицо убитого. Все молча ожидали.

— Это... это было около полуночи, — произнес дежурный. Он продолжал дрожать, лицо его нервно подергивалось.

— Точнее, — потребовал Гард.

Дежурный на минуту задумался.

— Это случилось сейчас же после полуночи... Пробили часы и... Сигнал зажегся вскоре после того, как пробили часы...

— Говорите яснее, — попросил Гард. — Какой сигнал?

— Перед дежурным висит табло с сигнальными лампочками, инспектор, — пояснил кто-то из агентов. — Если нажать в лаборатории кнопку, на табло вспыхивает лампочка.

— Хорошо, продолжайте.

— Зажегся двадцать седьмой, — сказал дежурный. — Лаборатория Миллера... Я еще подумал: «Кто может быть там в такой поздний час?» Снял телефонную трубку... набрал номер... Никто не ответил. Пока я звонил, сигнал погас... Я успокоился. Решил: какая-нибудь неисправность в сигнализации. Но сигнал сейчас же вспыхнул опять! Тогда я пошел наверх... пошел по коридору... Я смотрел на таблички... я никогда не был в этой лаборатории... не знал, где дверь... И тогда, — голос дежурного вдруг стал глухим, словно раздавался из пустой бочки. — И тогда я встретил его.

— Кого?

Дежурный молча кивнул в сторону кабинета.

— Миллера?

— Он быстро шел по коридору мне навстречу. «Это вы давали сигнал?» — спросил я. Но он не ответил. Прошел мимо. Не знаю почему, господин инспектор, мне стало как-то не по себе. И я подумал: «Нет, Джозеф, ты все-таки должен посмотреть, что там стряслось!» Джозеф — это я, господин инспектор, я всегда так себе говорю...

Дежурный замолчал.

— Продолжайте, — сказал Гард.

— Я был так взволнован, что, добравшись до конца коридора, не нашел двери. Двадцать седьмой номер... Наверное, я пропустил его... Тогда я пошел назад и увидел дверь. Она была не заперта. Я прошел в кабинет. Горел свет, а на полу лежал... он! Больше никого не было. Я поднял тревогу.

— Вы слышали выстрелы? — быстро спросил Гард.

— Нет.

— Вы уверены, что в коридоре встретили именно профессора Миллера?

— Да. Тот же серый костюм в клетку... черные волосы...

глаза... глаза... Нет, я не заметил... нет-нет, я не знаю... я больше ничего не знаю... я все сказал...

— Что ты думаешь? — осведомился Честер, когда репортеры остались наедине с Гардом.

— Это не простое убийство, — медленно произнес инспектор. — Нохоже, что профессора Миллера устранили.

Фред привстал. В глазах его вспыхнули азартные огоньки.

— Но это же!.. Я давно жду такого случая. Повод для большого разговора.

Гард сразу охладил его пыл.

— То, что я сказал, — не для печати. Боюсь, что и на этот раз тебе придется ограничиться чисто уголовным аспектом.

— Но разве тебе самому не безразлично... — начал было Фред, но инспектор сухо оборвал его:

— Мои интересы тут ни при чем. Я должен отыскать убийцу. А все остальное меня не касается. Да и тебе советую поменьше философствовать.

...По пути в редакцию Честер обдумал, как лучше преподнести материал. Жаль, конечно, что нельзя писать, чем занимался Миллер. И все же это будет сенсация, настоящая сенсация! Он представил себе гигантские заголовки, фото на всю полосу — труп профессора и лицо крупным планом — отдельно. Спасибо Гарду.

Домой Фред вернулся уже под утро. Несмотря на бессонную ночь, он испытывал чувство приятного удовлетворения от удачно сделанной работы. Материал был продиктован, отредактирован, набран. Честер сам проследил, как его разместили на первой полосе. Правда, фотографий он не дождался. Но на Мелани можно было положиться — он не подведет.

Фред снисходительно поцеловал спящую Линду, залпом осушил стакан холодного молока и, быстро раздевшись, нырнул под одеяло. Когда он проснулся, было уже десять. Сквозь опущенные шторы пробивались солнечные лучи, и казалось, ничто не напоминало о мрачных событиях минувшей ночи. Очнувшись на улице, Фред с наслаждением вдохнул пахнущий осенью воздух и, предвкушая удовольствие, подумал о том, как развернет сейчас утреннюю газету. Хотя Честер был опытным журналистом, он все равно испытывал приступы радости, видя свои материалы напечатанными на полосе. Его никогда не переставало удивлять, что слова и мысли, рожден-

ные им, вдруг начинали жить самостоятельной жизнью на газетных страницах, словно дети, ставшие взрослыми и ушедшие из родительского дома в необъятный мир. А иногда случалось, что, вырвавшись на волю, слова бунтовали в этой новой жизни и вели себя не совсем так, как хотелось автору. И уже ничего нельзя было сделать...

Подозвав мальчишку-газетчика, Честер вложил в его ладонь десятилемовую монету и развернул еще пахнущий краской номер. На первой полосе его материала не было. Вторая, третья, четвертая, пятая... Он торопливо пробегал глазами заголовки: «Глубоководная экспедиция», «Авиационная катастрофа», «Встреча министров», «Бракосочетание мисс Каролины Бэкли»...

Репортаж исчез.

## 2. Встреча

Фред снова просмотрел газету. Что за чертовщина! Он сам видел, как его материал верстали на первую полосу... Мистика! Это было так неправдоподобно, что, не веря собственным глазам, он в третий раз медленно перелистал все двадцать четыре страницы газеты.

В редакции тоже никто ничего не знал. Распоряжение снять материал пришло в последнюю минуту. Приказал сам Хейсс. Пришлось заново набирать первую полосу, номер опоздал на полтора часа. В ответ на расспросы Честера сотрудники пожимали плечами.

— Я так рассчитывал... — признался Фред начальнику своего отдела Мартенсу. — Что же это в конце концов?

Всегда грустный, страдающий одышкой, Мартенс сочувственно кивал головой.

— По-моему, ваш материал был как раз то, что надо. Я тут ни при чем, сами понимаете. Шеф!

— Хорошо, придется спросить у шефа! — не выдержал Фред.

Мартенс положил ему руку на плечо:

— Не советую...

Но Честер уже бежал по лестнице. Навстречу ему попался Мелани. Всегда улыбающийся, итальянец сейчас тоже выглядел расстроенным.

— Почему сняли материал? — остановил его Фред. — Что у вас тут стряслось?

Фоторепортер сокрушенно покачал головой:

— Не знаю...

Фред яростно чертыхнулся и побежал дальше.

— Может быть, я во всем виноват, — прокричал ему вдогонку Мелани, — пленка оказалась засвеченной!

Но Честер уже скрылся за поворотом лестницы.

Однако, добежав до приемной Хейсса, он резко остановился на пороге. «В самом деле — зачем? Чего я хочу добиться? — подумал он. — Не станет же Хейсс объяснять свои поступки каждому репортеру уголовной хроники! Нет, прав был Мартенс — это до добра не доведет...»

И Фред уже хотел было незаметно исчезнуть, но в этот момент мисс Горн, высокая, сухопарая, похожая на классную даму секретарша Хейсса, заметила его.

— Мистер Честер, как хорошо, что вы пришли, — с улыбкой прощебетала она. — Шеф как раз посыпал за вами.

И она любезно распахнула перед Фредом дверь кабинета.

Пыл Честера уже исцарился, а вместе с ним и решительность. Но делать было нечего — он шагнул через порог и молча остановился.

Хейсс был занят разговором по одному из своих многочисленных телефонов. Судя по его лицу, беседа была не из приятных. Он даже отодвинул немного телефонную трубку — видимо, собеседник кричал. И действительно, Фред ясно различил слова, сопровождаемые усиленным дребезжанием телефонной мембраны:

— ...или вся ваша контора отправится к чертовой матери!

«Ага, значит и на тебя иногда покрывают», — мелькнула у Фреда злорадная мысль. Но это было только на миг. Заметив вошедшего в кабинет Честера, шеф бросил на него неприязненный взгляд и, плотно прижав трубку к уху, быстро закончил разговор такими словами: «Хорошо... Так точно... Можете не сомневаться, господин Дорон».

Фред продолжал стоять у порога, молчаливо ожидая неизбежного разноса. Чего еще можно было ждать, если материал из верстки попал в корзину?

— Что вы стоите, Честер? — с неожиданной любезностью произнес Хейсс, поднимая из-за стола свое короткое толстое тело. — Прошу вас, садитесь.

«Сейчас начнется», — тоскливо подумал Фред, опускаясь в кресло.

— Я был вами доволен, Честер, — продолжал шеф, шагая по кабинету. — Особенно последнее время. Вы, кажется, второй год работаете без отпуска?

Фред молча кивнул, не глядя на шефа. Куда он клонит?

— Вам надо отдохнуть. Обязательно. Немедленно. По вашему лицу видно, как вы устали.

Сердце у Фреда сжалось: неужели конец?

— Простите, сэр, — произнес он, стараясь не выдавать волнения, — простите, но я чувствую себя отлично. Я не устал. И могу...

— Нет, нет, — перебил его Хейсс. — Никаких возражений. Берите жену и поезжайте к морю на пару недель. За сегодняшний материал получите двойной гонорар. Кроме того, вам выдадут еще двести пятьдесят кларков, я уже распорядился.

И Хейсс сел за стол, давая понять, что разговор окончен.

Ничего не понимающий Фред медленно попятился к двери.

«Спросить или не спросить? — лихорадочно размышлял он, глядя на шефа. — Эх, была не была!»

— Простите, сэр, — пробормотал он, останавливаясь. — Почему мой материал... Я хотел бы знать.

Произнеся эти слова, Фред сейчас же пожалел об этом. Всем сотрудникам редакции было отлично известно, что шеф терпеть не может, когда подчиненные задают ему вопросы.

Однако на этот раз в серых, глубоко сидящих глазах Хейssa, к удивлению Фреда, мелькнуло что-то похожее даже на сочувствие.

— Не стоит жалеть об этом, Честер, — сказал он мягко. — Одним материалом больше — одним меньше. У вас еще все впереди. Послушайте моего совета, — в голосе Хейssa вновь зазвучали твердые нотки. — Отправляйтесь отдыхать и постарайтесь забыть обо всей этой истории.

Фред немного пришел в себя только на лестнице.

«Нет, положительно сегодня невероятный день, — подумал он. — В конце концов все обернулось не так уж плохо. Но почему все-таки снят материал? И с какой стати шефа заинтересовало мое здоровье? Что все это значит? Похоже, что меня просто хотят на время спровадить отсюда. Интересно знать, Мелани тоже получил подобное предложение?»

Маленького фотокорреспондента он отыскал в небольшой камор-

ке позади буфета, где Мелани обычно колдовал над своими пленками. Итальянец склонился над столом. Многочисленные бачки и ванночки были отодвинуты в сторону, а на образовавшемся свободном пространстве аккуратными пачками были разложены кларковые бумажки. Итальянец, часто слюнявя палец, тщательно пересчитывал одну из них.

— Раскладываешь пасьянс? — осведомился Фред. — Двести пятьдесят?

Мелани удивленно взглянул на него:

— Откуда ты знаешь?

— И отпуск на две недели?

Итальянец молча кивнул.

Честер присел на свободный стул и сказал, глядя фотопортрету прямо в глаза:

— Вот что, Чезаре. Вся эта история мне не нравится. Тут что-то не так... Ерунда...

— Не знаю... — пробормотал Мелани.

— Не хочу чувствовать себя дураком, — продолжал Честер. — Я должен выяснить, в чем дело? Где твоя пленка?

— Я же сказал тебе, она оказалась засвеченной.

— Засвеченной?! Не остроумно. Придумай что-нибудь проще.

Мелани молчал.

— Ты сам ее проявлял? — спросил Фред.

— Нет, пленку забрали в центральную лабораторию.

— А когда выяснилось, что она засвеченна?

— Вскоре после того, как ты ушел домой.

— Пленка у тебя?

— Нет, мне ее не отдали.

— Так, — Фред встал. — Вот что, Чезаре, поехали.

— Куда?

— Туда... туда, где мы были ночью. Я хочу еще раз побывать там.

— Кто нас пустит? — возразил Мелани.

— Ну, как хочешь. Я поеду один.

Мелани вскочил.

— Послушай, Фред! Послушай меня, не ввязывайся в эту историю. Ну, что тебе до этого? В конце концов свой гонорар мы получили.

— Сдается мне только, — усмехнулся Фред, — что он четырехстур великий.

— Что же тут плохого? — не понял Мелани.

— Ну ладно, — Честер хлопнул его по плечу. — Бери мой гонорар и отдай мне твой характер... Пока, старина!

В проходной института его неожиданно пропустили по пропуску, выписанному еще ночью. Фред миновал холл, быстро поднялся на второй этаж и нашел знакомую дверь.

И здесь, стоя у двери и еще не открыв ее, он вдруг не то чтобы понял — для этого у него не было никаких оснований, — скорее интуитивно ощущил, что сейчас произойдет нечто невероятное. Это ощущение было так остро, что Фред почувствовал неприятный холодок на спине.

И он даже не удивился, когда, открыв дверь и войдя в кабинет, увидел, что навстречу ему из-за стола поднимается профессор Миллер...

### 3. «Спи спокойно, друг!»

— Гард, объясни в конце концов, что произошло!

Инспектор взглянул на журналиста.

— Успокойся, Фредерик! Дело не заслуживает того, чтобы так волноваться.

Фред всхлипнул:

— Десять минут я, как дурак, стоял перед Миллером, не зная, что ему сказать. Тем самым Миллером, труп которого видел собственными глазами ночью. А ты говоришь: «Успокойся!» Что это все значит?

Гард усмехнулся:

— Ровным счетом ничего! Не всегда верь глазам своим. Не было никакого убийства. Тебе приснился сон.

Фред резко встал и, наклонившись к невозмутимому лицу Гарда, сказал медленно, отчеканивая каждое слово:

— Не считай меня идиотом. Час назад я видел два отверстия от пули на стене в кабинете Миллера. Убийство было!

Инспектор недовольно поморщился.

— Не кричи, — сказал он. — У тебя большое воображение. Тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много работаешь.

Честер, не спрашивая, взял сигарету на столе, затянулся и подошел к окну. Он долго смотрел на мигающую рекламу

пива. Из ярко-красной бутылки лился радужный фейерверк огней. Они плясали на лице Фреда, и Гард, внимательно наблюдавший за репортером, заметил, как разглаживаются морщины на его лице.

— Ты говоришь то же самое, что Хейсс, — успокоившись, проговорил Честер. — Мы с тобой друзья, знаем друг друга почти десяток лет. Но ты мне сказал то же самое, что Хейсс. Почему?

— Фред, ты хочешь носить голову на плечах или под мышкой? — спросил Гард.

— Покажи мне протокол следствия, — неожиданно прервал сыщика Честер.

— Нет никакого протокола, — Гард замялся, подошел к Фреду и дружески обнял его за плечи. — Я привязан к тебе, мы друзья. Поэтому я прошу, забудь, что было. Представь, что шла обычная тренировка полиции. Еще одна проверка, которых у нас, сам знаешь, хватает.

Зазвонил телефон. Гард поднял трубку.

— Да... да... сейчас выезжаю.

— Что это? — встрепенулся Фред.

— На Селенджер-авеню драка, двоих отправили в больницу, один убит. Поедем?

— Нет, я уже в отпуске.

...Шел мелкий неприятный дождь. Фред поднял воротник плаща и побрал прочь от полицейского участка. «Ну и черт с ним, с Миллером!» — подумал он. Неожиданно кто-то ударили его по плечу, он обернулся и увидел расплывшееся от улыбки лицо Конда. От него, как всегда, несло дешевым вином.

— Привет, Честер! Ты чего грустный? Пойдем поднимем настроение?

— Нет, не хочется. Да и тебе, пожалуй, хватит на сегодня.

— Ну что ты, — запротестовал Конда. — Я выпил лишь рюмочку, а при моей работе это пустяк!

Конда работал в морге полицейского участка и убеждал всех, что покойники не выносят трезвых. Они любят жизнерадостных людей, а не хлюпиков, которые брезгливо бросают их на полки и стараются быстрее смыться из морга. А Конда любит душевно поговорить с любым из своих подопечных, ву конечно, хватив при этом рюмку-другую.

— Зайдем на минуту, — Конда схватил за рукав Фреда и

потянул его в соседний кабачок, — не упрямься, мне скоро на работу, а я не в форме.

Фред заказал два бокала вина. Выпили. Официант принес еще.

Конда болтал не переставая.

— Передай своему приятелю фотографу, — говорил он, — что порядочные люди так не поступают. Снимок он напечатал, а где десять кларков? Нет их. Я ему полный порядок навел, своих подопечных простиными укрыл, лампу принес, а он и носу теперь не показывает. Да и мой портрет неважный: расплывчатый, мог бы постараться твой фотограф, нехорошо...

— Вот возьми, — Фред протянул Конде десятикларковую бумажку. — Мелани просил передать, — солгал он.

Конда схватил деньги и быстро спрятал их.

— Это другое дело, — пробормотал он. — Вы, журналисты, народ приличный. С вами можно иметь дело.

— Если ты окажешь мне одну услугу, — сказал Фред, — получишь вдвое больше.

— Валяй говори.

— Покажи мне списки твоих покойников, которых привезли вчера.

— Гони двадцатку!

Фред достал бумажник.

— Я могу тебе список не показывать. — Конда захотел. — Потому что вчера было всего два трупа: старуху машиной сбило и женщина покончила самоубийством. Все. Адреса их...

— Не надо. — Гарри протянул Конде стакан вина. — А мужчин не было?

— Привозили одного старика, но его не выгружали. Шеф сказал, что вскрытия не будет, сразу отправили к Бирку... Да, это не тот товар, который тебя интересует. Помнишь, две недели назад, девятнадцатилетнюю отчим утопил в ванне? Это другое дело. А вчера старуха, певрастеничка да нищий. Скучно.

— Старик был нищим?

— Конечно, поэтому и не вскрывали... Давай выпьем!

— Хватит! — Честер встал. — Мне пора. Жена ждет.

Конда с сожалением поплелся к дверям вслед за журналистом. На улице они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Хозяин фирмы «Спи спокойно, друг!» пользовался всеобщим уважением. В прошлом году Бирк напечатал в одной из крупнейших утренних газет шесть статей под заголовком «Почему мы хороним вечером?». Бирк доказывал, что «похороны с факелами в руках на закате дня наиболее отвечают таинству происходящего, когда индивидуум меняет один мир на иной». Статьи вызвали споры, и фирма Бирка начала процветать.

Честер несколько раз встречался с Бирком. Он писал репортажи о его кладбище, их печатали дважды на первой полосе с великолепными снимками Мелани. Помнит ли Бирк его?

Бирк никогда ничего не забывал. Фред убедился в этом, едва он набрал номер телефона и услышал голос секретаря Бирка: «Шеф примет в любое удобное для вас время. Для ведущего репортера уголовной хроники он никогда не бывает занят».

Контора находилась у входа на кладбище: крошечный изящный коттедж из стекла и алюминия на фоне черных крон деревьев. Бирк встретил Честера у входа.

— Прошу, садитесь, — показал Фреду на кресло. — Валери, — обратился затем к секретарю, — прошу вас — вино и копьяк.

Фред огляделся. В центре кабинета небольшой стол, четыре стула. Стол ватянут черным бархатом. «Для заседаний», — решил Честер. На стене напротив развешано несколько фотографий, среди них знакомые — те, что делал Мелани. В углу кабинета письменный стол, рядом два кресла. На одно из них и сел Фред.

Бирк расположился напротив.

— Мы очень давно не виделись, — сказал он. — Ваша газета совсем забыла обо мне. И я, наконец, рад, что вновь вы у меня.

— Я пришел по сугубо личному делу, — угрюмо заметил Фред, — оно к газете не относится.

— Боже мой, это не имеет никакого значения! — Бирк широко улыбнулся. — Вы так много сделали для моей фирмы, что я готов оказать вам любую услугу.

Стук в дверь. Вошла Валери и внесла на подносе две рюмки, коньяк «Наполеон» и бутылку «Фраскати».

— Шеф, — сказала она, — звонит миссис Бирк, просит соединить.

— Разрешите? — спросил Бирк у Фреда.

Журналист молча кивнул, всем видом своим пытаясь показать Бирку, что дело, по которому он пришел, неспешное. Бирк взял трубку.

— Дорогая, я задержусь сегодня на тридцать пять минут. Уложи детей спать и поезжай в оперу. Я смогу приехать лишь к третьему акту, мне еще нужно переодеться.

Фред, глядя на хозяина фирмы «Спи спокойно, друг!», начал злиться. Его безукоризненно светские манеры (Бирк был принят в высшем обществе), элегантный черный костюм французского покроя и, наконец, холеные белые руки, сливающиеся с накрахмаленной сорочкой, раздражали его. Честеру вдруг захотелось встать и уйти. Но Бирк, поговорив с женой, сел напротив и заулыбался настолько добродушно, что Фред не двинулся с места и, собрав силы, как можно равнодушнее сказал:

— У меня дело... пустяковое. Мне нужно взглянуть на старика нищего, который похоронен вчера.

Бирк понимающе кивнул головой.

— Одну минуту, — сказал он, поднял трубку и вызвал по селектору управляющего седьмым участком. — Принесите мне документы на вчерашнего клиента. Да, да, анкету и результаты обработки. — Бирк положил трубку и, обращаясь к Фреду, предложил: — Отведите «Наполеона», я предпочитаю его остальным.

— А как же с моим делом? — спросил Фред.

— Прошу вас подождать несколько минут.

На селекторе зажегся красный глазок.

— Простите, — вновь извинился Бирк. Он пододвинул микрофон поближе к себе: — Слушаю.

— Шеф, к клиенту номер 4725, — услышал Фред, — пришла жена, а репродуктор не работает. Мы вызывали радиомеханика, но он придет лишь через полчаса. Что делать?

— Кто обслуживает клиента?

— Лерман.

— Оштрафуйте его на десять кларков. Если подобное повторится — увольте. Перед женой клиента извинитесь и дайте музыку с соседнего участка, так чтобы она слышала, конечно.

— Еще один вопрос, шеф. Клиент любил Моцарта и Штрауса. Кого из них транслировать?

— Сегодня пасмурно. Дайте Моцарта.

Огонек на селекторе погас.

— Бирк, — сказал Честер, — вам нравится работать здесь?

— Безусловно! У меня беспрогрышный бизнес, и, кроме того, разве можно найти более спокойное место? Десять лет назад, после окончания Кембриджа, я два года работал в одной из крупнейших клиник Лондона, но больше уж там беспокойно. Наш же клиент тихий, благоразумный.

— Да, пожалуй, вы правы.

Появилась Валери и положила на стол шефу черную папку. Фред прочитал: «Клиент № 24657. Доставлен 24 сентября 1965 года. Участок № 7».

Бирк раскрыл папку, быстро пробежал глазами анкету.

— Драгоценностей нет, золотых зубов тоже, — сказал он Фреду. — Что вас интересует в этом клиенте?

— Я хочу просто посмотреть на него.

— Странно, — Бирк пристально глянул на Честера. — Очень странно... Ну что ж, милый Фред, я уже дал распоряжение на раскопки. Но это противозаконно, потому что беспокоить наших клиентов могут только полицейские...

— Разрешите, я пойду туда? — нетерпеливо сказал Фред.

— Одна маленькая формальность, — остановил его хозяин фирмы. — В какой банк представить счет?

— Я предпочитаю платить наличными.

— Нас это вполне устраивает. Итак, непосредственно за раскопку — шесть кларков двадцать пять лемов и за риск — как известно, среди деловых людей он оплачивается — сто пятьдесят кларков. Итого, сто пятьдесят шесть кларков двадцать пять лемов.

«Бандит», — ругнулся про себя Фред, но быстро достал деньги и положил на стол.

Когда вместе с Бирком они подошли к седьмому участку, рабочие уже закончили работу. Бирк осветил фонарем могилу, потом гроб, покрытый сырьими комьями глины.

— Откройте крышку, — приказал он.  
Один из служащих спустился вниз и приоткрыл крышку.  
Фред отшатнулся: он увидел лицо профессора Миллера.

#### 4. Накануне решения

Гард поправил подушечку на сиденье, поддернул брюки, чтобы не так быстро мялась складка, сел и уже готов был отаться мерному течению криминалистических дел, когда раздался стук в дверь.

Еще не видя человека, Гард по характеру стука определил, что посетитель взволнован, нервничает и что последующие минуты будут острыми. Поэтому его лицо тотчас приняло любезно-сосредоточенное выражение.

— Войдите!

Вошел Фред Честер.

Они не виделись три недели, и Гард не знал, что делал это время журналист и был ли вообще в городе, но не удивился его неожиданному приходу, потому что уже давно отучил себя удивляться — мешало работе. Сбросив с лица теперь уже не нужное любезное выражение, он показал Фреду на стул. Их разделял массивный канцелярский стол, ящики которого, полные бумаг, хранили пронумерованные и подшитые судьбы многих людей и истории многих трагедий.

— Гард, — тихо сказал журналист, — зачем было обманывать меня?

Фред разительно изменился. Он походил на человека, выброшенного из привычной колеи жизни. Гарду было достаточно увидеть, как дрожат его пальцы, чтобы понять это.

— Сегодня прекрасный день, — сказал Гард. — Но газеты пишут, что в Австралии ураган. Так-то вот.

— Гард! — голос журналиста дрогнул. — Завтра этот ураган может быть здесь!

— Возможно. Ну и что? Сегодня небо безоблачно. Сегодня истина в этом.

— Брось! Я раскопал то дело... о Миллере.

Искусство сыщика во многом зависит от умения слушать: кто больше знает, тот и сильней.

— Я слушаю тебя, — сказал Гард.

Честер вытащил из кармана блокнот.

— У меня нет протоколов, — сказал он. — И я не проводил следствия. Дело вообще не в фактах — они часто лгут. Дело в людях, которые стоят за этими фактами. Поэтому не удивляйся, многое покажется тебе непривычным и странным...

— Я слушаю, — повторил Гард.

В то утро Миллер стоял у распахнутого окна. Была осень. Он смотрел на поток прохожих. Каждый торопился по своим делам. Редко кто поднимал голову, а если поднимал, то задумывался ли о большом мире, который его окружает? О людях, что шли рядом? О себе, наконец? Эдакие маленькие, замкнутые вселенные двигались по тротуару, далекие от Миллера, как и он от них. И равно близкие.

Миллер захлопнул окно. Великолепие осени раздражало, как обман. Он оглядел кабинет. Все строго и нерушимо стояло на своих местах, но Миллер испытывал состояние человека, увидевшего, что дом загорелся сразу с четырех углов.

Всего лишь несколькими днями прежде он пережил счастливый миг, когда внезапно, в каком-то истинном озарении нашел то, что искал долгие годы. Это был тот миг, когда Миллер увидел путь до самого конца — так, будто уже прошел его. Начинался он, как ни странно, в самом запущенном отске физики, куда давно никто не заглядывал, ибо там двери были заперты аксиомами. Миллера толкнуло отчаяние поиска — право же, мысль его уже готова была ломиться внюю дверь.

Что означала его находка для него самого, для людей, он понял не сразу. Кинулся сначала к Дорону — докладывать, но что-то остановило ученого, он словно споткнулся о взгляд этого военного в штатском, который прямо, как перпендикуляр, восседал в кресле. Споткнулся и забормотал о каких-то пустяках... Дорон, естественно, остался недоволен им больше, чем обычно.

«Главное — жить в мире с самим собой», — сказал кто-то из мудрых. Но с самим собой у Миллера началась отныне мучительная схватка. То, о чем он сегодня думал, как о подлости, завтра казалось ему добродетелью. А послезавтра — наоборот. Его средство могло — действительно могло! — избавить мир от страшной угрозы ядерного самосожжения. Атом-

ные бомбы, которые не взрываются! Водородные заряды ракет, которые не могут поразить и воробья! «Люди, это возможно, возможно, возможно!» — хотелось ему кричать. Но люди бывают разными. «О да, — сказал бы Дорон, — это великолепно. Бомбы не взрываются — у противника! Вы, Миллер, великий патриот. Вы герой!»

Он скажет так и даже не улыбнется.

Когда Миллер понял это, ему стало страшно. Конечно, он может нарушить подпиську о неразглашении военных тайн и послать статьи с описанием «эффекта Миллера» и схемы установки во все ведущие журналы мира. Сделать его установку несравненно легче, чем создать атомную бомбу. Она доступна даже для Никарагуа. Тогда он спаситель человечества от угрозы ядерной войны. Но тогда он государственный преступник в глазах доронов, и его ждет быстрая и «случайная» смерть, ибо дороны не прощают. Они убьют его просто потому, что так надо. В назидание другим.

Или — или. Выбор. Между славой и гибелью. Между благом человечества и собственным благом. Газеты твердят: маленький человек, сегодня ты особенно ничтожен. Ты винтик сверхсложной машины современности... Миллер тоже так считал. Но в наше время маленький человек может оказаться у кнопки, повелевающей силами ада. Все беды и заботы мира лежат на твоих плечах, маленький человек, профессор Миллер!

Вот и сегодня, как много раз за последние дни, с потухшей сигаретой в руке он стоял посреди кабинета. По циферблату настенных часов бежала секундная стрелка. Секунды, минуты, часы... Рано или поздно, но он должен принять какое-то решение. На его открытие завтра набредет кто-то другой.

Это неизбежно. И тогда ответственность за все человечество ляжет на плечи этого другого, но кто знает, что решит он?

Когда зазвонил телефон, Миллер догадался, кто это: Ирэн... Он волновался, видя издали девушку, похожую на нее. Он волновался, проходя мимо тех мест, где они бывали вместе. Миллер мог представить мир без себя, но представить себя без Ирэн — это было выше его воли.

Он снял трубку.

— Да...

— Ты решил?

Миллер едва не застонал. Вчера, в минуту слабости, он малодушно попытался переложить тяжесть решения на ее плечи. Он не сказал Ирэн ничего о существе своего открытия — он просто дал ей понять, что стоит на грани решения, от которого зависит либо их собственное счастье, либо счастье всего человечества.

Ирэн ответила ему тогда: «Я хочу быть с тобой. Как всякая женщина, я хочу иметь свой дом, своих детей — твоих детей. И чистое небо над головой. Мне легко принять решение, но решать должен ты. Потому что, если это сделаю я, ты мне не простишь». Она права.

— Ты меня слышишь? — сказала Ирэн. — Ты еще не решил?

— Завтра утром...

Почему завтра утром, он сам не знал. Наступило молчание. Миллер готов был взвыть от боли.

— Завтра утром, Ирэн! Я буду тебя ждать... И прости!

Он бросил трубку. Потом побрел к двери. Его вел уже не разум, а желание пойти кого-то более сильного, умного, кому можно было бы пожаловаться, как в детстве он жаловался отцу.

Миллер не помнил, как очутился у двери профессора Чвиза. Это был единственный человек — его добрый старый учитель, — к которому он еще мог прийти. Но рассказать — об этом не могло быть и речи! — хотя бы услышать его спокойный голос.

На дверях лаборатории горела надпись: «Не входить! Идет опыт!»

Но Миллер не заметил ее. Он дернул дверь, она не поддалась. «Старик опять заперся, чтобы ему не мешали», — подумал Миллер и нажал кнопку, отключающую блокировку. Дверь распахнулась, и он вошел в лабиринт установок.

Он шел мимо электронных машин, думая о своем. Его лицо отразилось в экране телевизора. «Нет, нет, — говорил он себе, — мой страх ложен! Разве прокляли себя создатели атомной бомбы?» Он шел мимо колонн Графтена, мимо бетонных выступов, за которыми прятались шины, несущие в себе миллионы вольт напряжения, мимо пультов электронных микроскопов. «...Хорошо то, что разумно, — билось в его голове. —

Какое мне дело до всех, если меня ухлопают дороны и меня не будет?»

Он шел мимо сфер гиперрегулятора — гордости старика Чвиза. «Жизнь, богатство, Ирэн, дети, власть, слава... — стоит ли отказываться от всего этого из-за дурацкой политики?»

Что-то сверкнуло перед глазами Миллера радугой. Какая-то целена окутала раструбы гиперрегулятора. Миллер взмахнул рукой. Его кольнул холод. Сверкание исчезло. Миллер опомнился. Нет, он попал не туда... Надо взять влево.

— Миллер, вы опять здесь? — вскричал Чвиз, увидев его. — Я же просил вас...

— Меня? — сказал Миллер. — Это было, наверное, вчера, дорогой учитель, когда вы прогнали своего любимого ученика из лаборатории...

— Идите домой, Миллер, на вас нет лица.

— Пустое... Нервы.

— Но у меня до нуля упало напряжение! Миллер, вы случайно...

— Простите, Чвиз. Возможно. Я задумался. Но разве у вас идет опыт?

Борода Чвиза стала торчком.

— Вы были в камере?!

— Это опасно? — Миллер спросил почти равнодушно.

— К счастью, нет. Но вы меня напугали. Вот этот кролик, — он показал на застекленный вольер, — благодаря вам мог превратиться в эдакого сфинкса...

— Как жаль, учитель, что я не перенял у вас способности шутить. Но простите меня, я, кажется, действительно очень виноват, что помешал вашему опыту.

— Ничего страшного, Миллер, ничего страшного. Но вам следовало бы отдохнуть. Погодите, я провожу вас.

...Заснуть в эту ночь Миллеру не удалось. Тьму наполняли лица, даже когда он плотно зажмуривал глаза. Лица. Молодые, старые, красивые, уродливые, они толпой шли через сознание и смотрели, смотрели на Миллера. Их взгляд был невыносим. Так, вероятно, могли смотреть те, кого нацисты вели в газовые камеры.

Невыспавшийся, с больной головой Миллер направился в ванную, чтобы принять холодный душ и хоть так прогнать видения.

И в эту минуту он услышал, как в замочной скважине входной двери заскрежетал ключ. Миллер обмяк. Ключ повернулся. Кто-то осторожно нажал дверь. Но запор изнутри не поддался. Тогда за дверью стало тихо. «Что за бред! — подумал Миллер. — Кому я нужен, если мои секреты еще при мне?»

В порыве отчаянной решимости он распахнул дверь. На лестничной площадке никого не было, но внизу затихали шаги.

## 5. Галстук из Монако

На следующее утро, как обычно, ровно в 9.00 Миллер был в институте. Он прошел длинным коридором, легким поклоном головы приветствуя встречных, и, остановившись перед дверью своего кабинета, не сразу понял, что она уже открыта. «Странно», — подумал Миллер и вошел в кабинет.

Мягкий щелчок заставил обернуться человека, стоявшего спиной к Миллеру и перебиравшего бумаги на столе.

— Простите, я не совсем понимаю... — начал Миллер, плохо сдерживая раздражение, вызванное бесцеремонностью посетителя, — этой мой кабинет и...

— Ваш? — искренне изумился человек у стола, и только в этот момент Миллер вдруг увидел, что тот удивительно похож на него. Такое же растерянное веселое недоумение заметил он и во взгляде незнакомца.

Миллер бросил портфель в кресло и подошел ближе, вглядываясь в стоящего напротив человека. Он видел себя! Именно таким он знал свое лицо. Час назад, когда он брился, он видел вот этого человека в зеркале. Зеркало? Голографическая проделка шутника Раута из оптической лаборатории? Он подмигнул своему изображению, но оно не ответило ему, и он понял, что это реальность.

Человек у стола засмеялся нервно и коротко.

— Забавно, очень забавно, — проговорил он, разглядывая Миллера.

Тут физик заметил, что и одежда незнакомца была точной копией его костюма. Те же серые брюки, пиджак в клетку, белая рубашка, черные полуботинки и даже этот галстук с крохотным гербом Монако внизу, который он купил в про-

шлом году, когда ездил в отпуск на Ривьеру. Галстук — это уж слишком... Он подошел ближе и спросил:

- Простите, откуда у вас этот галстук?
- Купил в Монако, — ответил незнакомец.
- В прошлом году?
- В прошлом году.
- В августе?
- В августе.

Тут у Миллера впервые мелькнула мысль, что все происходящее — галлюцинация, болезненная реакция мозга, утомленного бессонными ночами последней недели. Как это называется у психиатров? Раздвоенность сознания? Неужели он заболел? Заболеть сейчас, накануне решающих действий? Ужасно... Он опустился в кресло и, прикрыв лицо рукой, до боли надавил на глаза. Взглянул снова. Вот он, стоит.

— Это редчайший феномен, — сказал незнакомец и засмеялся нервным смехом. — Насколько я знаю, у моей матери не было близнецов. Вероятность такого совпадения практически равна нулю. И тем не менее... — он опять коротко хохотнул, — коли уж вы пришли ко мне, давайте познакомимся.

— Я пришел к вам? — спросил Миллер.  
— Не понимаю, — незнакомец пожал плечами. — Или вы будете отрицать, что минуту назад переступили порог моего кабинета?

— Но это мой кабинет! — Миллер встал с кресла.  
— Черт с ним, с кабинетом. Не будем спорить по пустякам. Итак, разрешите представиться. — Незнакомец протянул руку. — Профессор Эдвард Миллер, доктор физики...

— ...Родился в Женеве 9 марта 1927 года, — продолжал Миллер, — окончил Мичиганский университет в 1950 году...

— Совершенно верно! — восхликал незнакомец.  
— Еще бы не верно! — сказал Миллер. — Это же я!

Теперь он подумал, что участвует в грандиозной мистификации, великолепном иллюзионе, и уже заранее восхищался гением неизвестного фокусника.

— Что значит «я»? — спросил незнакомец.  
— Я — значит я, — сказал Миллер весело. — Эдвард Миллер, доктор физики, — это я.

— Та-ак... — протянул незнакомец и вытащил из кармана пачку сигарет.

«Курит тот же сорт», — подумал Миллер и взял предложенную ему сигарету. Две зажигалки щелкнули одновременно. Две одинаковые зажигалки. Они оба заметили это.

— Так... так... — снова протянул незнакомец и выпустил первое колечко дыма. — Итак, вы утверждаете, что вы тоже профессор Миллер?

— У меня есть на это некоторые основания, — не без иронии сказал Миллер.

— Хорошо. Предположим. Как говорят политики, поговорим не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет.

— При самом беглом осмотре видно, что объединяет нас чересчур многое.

— Итак, вы мой двойник.

— Простите, это вы — мой двойник.

— Не понимаю.

— Прочтайте «Начала» Эвклида, он пишет там о принципе подобия, — посоветовал Миллер.

— Кстати, я читал Эвклида.

— На третьем курсе. Главным образом для того, чтобы произвести впечатление на Леру Вудворд, рыженькую тенистку с химфака.

— Вы и это про меня знаете? — удивился незнакомец.

— Это я знаю про себя!

— Послушайте, — сказал незнакомец, — а ведь все гораздо серьезнее, чем вы думаете. И зря вы веселитесь.

— Это единственное средство, чтобы не сойти с ума.

— Да, первы работают за красной чертой. И еще бессонная ночь: не привык почевать в гостинице.

— В какой вы остановились? — с веселой любезностью спросил Миллер.

— Нигде я не останавливался. Я живу на Грей-авеню...

— Дом 37, квартира 14.

— Верно! Но прошлой ночью я вернулся поздно и обнаружил, что замок заклинило. Ломать замок — это работа до утра, и я решил заночевать напротив.

— В «Скарабей-паласе»?

— Да.

— Значит, это вы скреблись в дверь, когда я сидел в ванной?

— В какой ванной?

— В своей ванной, в своей квартире, на своей улице Грей-авеню!

— Та-а-ак...

— А ведь вы правы, — задумчиво продолжал Миллер, — положение действительно гораздо серьезнее.

Помолчали.

— Послушайте меня спокойно, я все понял, — сказал, наконец, Миллер. — Так вот, я настоящий Миллер, а вы мой двойник, случайно синтезированный вчера в лаборатории Чвиза. Старик добился своего! Он рассказывал мне не раз свою теорию матричной стереорегуляции. Человек — система живых клеток, особенным образом организованных. Никакой души, духа и прочей мистики. Физика и химия. Только! Живое становится живым потому, что количественные соотношения в органических молекулах переходят в новое качество. Организм для Чвиза — матрица. Он дробит его на молекулярном уровне в поле своего гиперрегулятора и перепечатывает заново... Полная копия, абсолютно полная, вплоть до напряженности нейронов... Чвиз рассказывал об этом, но я всегда считал, что это бред.

— Кстати, и я думал, что это бред, — сказал незнакомец.

— Да, да, не перебивайте, именно вчера, когда я случайно оказался в поле его аппаратуры. Еще вчера утром вас не было. Поэтому мы никогда не встречались раньше. Вы — это я в то самое мгновение, когда я проходил мимо его биохологенератора или как там его называют.

— Послушайте, а вы не отличаетесь скромностью, — сказал двойник. — Почему «я — это вы»? А если наоборот? Как я мог родиться вчера, если я помню себя десятки лет? Я все помню, — сказал он задумчиво, — я могу показать вам могилу отца, и две сосны, где висели мои качели, и свои фотографии... Маленький мальчик в матроске на велосипеде...

— Это мои фотографии!

— ...свои фотографии и ту скамейку в Парке смеха, где я впервые увидел Ирэн...

— Ирэн! — воскликнул Миллер. — Вы знаете Ирэн?

— Простите, это моя невеста, — спокойно ответил двойник.

— Но это чудовищно!

— Успокойтесь, так называемый «профессор Миллер». И давайте здраво взвесим все события. Если вы утверждаете,

что я возник вчера и виной тому ваша неосторожность в лаборатории старика Чвиза, то, насколько я знаю теорию Чвиза, мы должны быть абсолютно одинаковы физиологически, а характер и эмоции одного из нас должны определяться характером и эмоциями другого точно в момент синтеза. Каким были вы в ту секунду, когда Чвиз включил поле? Не помните? Развеется, вы не помните, человек не может контролировать и запоминать свои эмоции по секундам. А тогда ответьте мне на вопрос: как можно сейчас доказать, что вы настоящий Миллер, а я синтезированный?

Миллер молчал.

— Значит, критерия нет, — продолжал двойник. — Сравнивать не с чем. И клянусь, я не отобрал у вас вашего имени. Поверьте, я убежден, что синтезированный двойник — вы.

— Послушайте, — сказал Миллер, — но ведь я отлично помню, как все было. После разговора с Чвизом я сел в такси и уехал домой, а утром...

— А я после разговора с Чвизом пошел бродить по городу и опоздал: вы заперли дверь.

— Но я помню все, что было до Чвиза, я все время думал.

— И я прекрасно помню, я тоже все время думал о своей установке нейтронного торможения.

— Это ваша установка?

— Ну, а чья же?

— Послушайте, но ведь это уже очень серьезно! Теперь нас двое. Наша установка... — Он невольно запнулся, так дико произнучали эти слова: «наша установка». — Мы двое должны решить, паконец...

— Не знаю, как вы, а я уже решил, — ответил двойник. — Всю ночь в «Скарабее» я ворочался с боку на бок и думал, думал...

В этот момент в дверь постучали.

— Это Ирэн! — сказал Миллер.

— Да, это Ирэн, вчера я попросил ее зайти ко мне, — подтвердил двойник.

— Она не может видеть нас двоих! — зашептал Миллер. — Вы должны уйти!

— Я?

В дверь опять постучали.

— Убрайтесь! — закричал Миллер.

— Послушайте, — глухо сказал двойник, — эта женщина — единственное, что есть у меня в этом мире, единственное, во что я верю.

Он резко оттолкнул Миллера и бросился к двери.

## 6. Кредо

Миллер едва успел закрыть за собой дверцу стенного шкафа. До прихода Ирэн у него оставалось мгновение, чтобы оценить ситуацию, в которую он попал, и найти какую-нибудь статичную позу. О боже, оценить ситуацию! Люди устроены так, что необычность своего положения по достоинству оценивают потом, много позже, заливаясь краской стыда, смеясь или испытывая приступы запоздалого страха. Но в конкретный момент они нередко ведут себя столь спокойно и привычно, словно всю жизнь только тем и занимались, что на два часа в сутки регулярно подвешивали себя вниз головой или, как Миллер, прятались в темных и душных стенных шкафах.

Так или иначе, но Миллер немедленно присел на корточки, чтобы замочная скважина оказалась на уровне его глаз, и обнаружил под собой твердый предмет, пригодный для сидения. Он даже успел подумать о том, что не плохо бы узнать, какой это болван не выполнил его распоряжения и не выбросил старенький опиель-сейф... впрочем, надо бы при случае сказать ему спасибо.

И тут вошла Ирэн.

Дальнейшее было, как в кино. Нет, как в романе. Или нет, как во сне. Во всяком случае, было так, как не бывает в обычной нормальной жизни. Миллер, сидя в шкафу, наблюдал через замочную скважину не просто сцену свидания знакомого или незнакомого мужчины со знакомой или незнакомой женщиной, что уже достаточно пикантно и необычно для учёного с его именем, — он подглядывал за самим собой, причем подглядывал совсем иначе, нежели мы порой следим украдкой за собственным отражением в зеркале. По крайней мере там мы выбираем для этого мгновения. И тут он имел возможность наблюдать себя, ну, что ли, целиком, хоть со стороны затылка, понимая при этом, что отражение может действовать совершенно независимо от своего хозяина.

Миллер затаил дыхание и прильнул к замочной скважине.

Между тем Миллер-второй, подойдя к Ирэн, поцеловал ее в лоб, как это делал всегда Миллер-первый. Потом подумал и вдруг поцеловал прямо в губы — что Миллер-первый делал чрезвычайно редко, когда испытывал прилив особого волнения от встречи с Ирэн, а подобное он испытывал всякий раз после продолжительной разлуки. Затем он специфическим миллеровским движением поправил воротничок рубашки, и Миллер-первый подумал про себя, что жест этот выглядит со стороны удивительно неприятно, и какое счастье, что Ирэн на этот раз, как, вероятно, и всегда, не обратила на него внимания.

Звук поцелуя помог Миллеру-первому очнуться от созерцательности. «Я ревную или не ревную?» — неожиданно спросил он себя и понял, что сама возможность спокойно задать этот вопрос уже есть ответ на него.

Он чуть не рассмеялся. В конце концов можно относиться к происходящему, как к научному эксперименту, способному вызвать у ученого лишь любопытство. Важно только понять, беспредельно ли оно. Итак, что будет дальше? Пора предложить Ирэн кресло у окна — ее любимое низкое кресло, стоящее рядом с низким столиком, — затем открыть крышку бара, достать начатую вчера бутылку кальвадоса или стерфорда... «Ты сегодня лирически настроена, Ирэн? Значит, кальвадос?»

Словно подчиняясь приказанию Миллера-первого, двойник мягко проводил Ирэн в ее любимое кресло, затем беспомощно оглянулся, будто ища чего-то. («Действительно, — подумал в это же мгновение Миллер-первый, — куда я сунул вчера ключ от бара?»), потом решительно протянул руку к той самой книжной полке, где стоял недочитанный томик Вольтера («Он вспомнил быстрее меня!» — с интересом отметил Миллер-первый), достал ключ, и вот уже крышка бара открыта.

— Я хочу, Ирэн, чтобы ты была сегодня серьезной.

Итак, кальвадоса не будет. Ирэн бросила на Миллера-второго внимательный взгляд и протянула рюмку. Забулькал стерфорд.

Отлично. У юристов это называется «эксцессом исполнителя»: отражение проявило свою первую независимость от хозяина. Непонятно лишь, зачем Ирэн надо быть серьезной.

— Ты устал, Дюк?

Ну вот, они произнесли, наконец, по одной фразе. У Миллера гулко застучало сердце, потому что именно в этот момент он понял, что больше всего волновало его секундой прежде. Узнает ли Ирэн подделку? Поймет ли, что перед ней не настоящий Миллер? Не заподозрит ли по одним ей известным приметам, что это двойник?

Нет, не заподозрила. Она сказала «Дюк», она произнесла «Дюк», а не свое обычное «Эдвард», и это была ее маленькая благодарность за его волнение, за поцелуй при встрече, за предстоящий разговор, серьезность которого она угадала.

Признательность не всегда красноречива.

— Ты устал, Дюк? — И все. Ни одного лишнего слова.

— Спасибо, милая... Я плохо спал этой ночью.

— Сердце? — Бедняжка, она всегда волновалась из-за его сердца!

— Нет. Думал. Я хочу сказать тебе...

В замочную скважину Миллер плохо видел выражение ее лица. Она сидела вполоборота к шкафу, а свет из окна шел неяркий — на улице моросил дождь и солнца не было. Но вся ее поза — и закинутая голова с пышной прической, и поставленная быстрым движением рюмка, и рука, беспокойно лежавшая на подлокотнике, — все это говорило о том, что она волновалась.

— Что ты хочешь сказать мне? — переспросила Ирэн, привыкшая к тому, что Миллер, погруженный в свои мысли, не всегда торопился их излагать. — Ты принял решение? Или что-нибудь случилось?

«Ого! Еще как случилось!» — подумал Миллер-первый и с благодарностью посмотрел на Ирэн: умница, все-таки почувствовала что-то...

— Да, — сказал Миллер-второй, — я, кажется, принял решение...

Зазвонил телефон. «Черт возьми, надо будет завтра сказать миссис Слоу, чтобы она не лезла со своими звонками в дообеденные часы!» — подумал Миллер-первый, нетерпение которого было естественным. Между тем двойник, извинившись перед Ирэн, спокойно поднял трубку:

— Я вас слушаю, миссис Слоу. Дорон? Ну что ж, соедините. И скажите Кербера, чтобы он зашел ко мне... минут через десять.

«Дорон? Как он некстати!» — подумал Миллер-первый и даже приподнялся со своего сиденья, потому что никогда не видел себя разговаривающим по телефону с шефом.

— Дорон? — сказал двойник. — Вы очень кстати, я только что хотел вам звонить... Да, генерал, я готов принять участие в испытаниях... Кое-что есть, попробуем... Благодарю вас, шеф, но поздравления я буду принимать после испытаний. Когда? Вы говорите: сегодня? Ну что ж, не возражаю. Пусть будет в четыре. До встречи на полигоне!

Невероятным усилием воли Миллер-первый заставил себя усидеть в шкафу. Так вот оно, решение! Минутный разговор с Дороном, десяток элементарных слов, и подведена черта переживаниям, бессонным ночам, гамлетовским раздумьям. Как это просто: в течение минуты решить судьбу свою, судьбу Ирэн, судьбу всего мира! И ничего вокруг не изменилось. Где-то по коридору шагает спокойно Кербер; как всегда, подкрашивается губки миссис Слоу; едут машины по улице; танцуют где-то пары; работают где-то люди, на какой-то части земного шара шьется пальтишко для ребенка, и неизвестно теперь, успеет ли он его надеть... Нет, не дрожит рука Миллера-второго; спокойно льет стерфорд в рюмку Ирэн.

— Спасибо, Эдвард, я больше не хочу.

Он взял ее ладонь, прижал к своей щеке.

— Но ты же сама отдала мне решение.

— Ты говоришь так, будто я возражаю.

— У тебя теперь будет все, Ирэн, — продолжал он, словно не слыша ее слов. — Вилла, яхты, машина, покой, счастье... Знаешь, если верно, что отдельные беды порождают общее благо, то пусть общая беда создаст хотя бы наше с тобой счастье. Мне надоело...

— Ты говоришь так, — повторила Ирэн, — будто я возражаю!

— Когда, Ирэн, впереди идет гордость, позади идет убыток. Но я люблю тебя, Ирэн, ты понимаешь?

Раздался стук в дверь. Вшел помощник Миллера Кербер. Он остановился у порога, издали поклонился Ирэн и, как всегда, сняв очки, молча обратил свой взор к шефу. Он был в сером халате с рукавами, засученными до локтей, а его голый череп, начищенный до блеска, опять, как и всегда, вызывал желание у Миллера-первого поставить на нем печать. Даже сейчас, сидя в шкафу, он почувствовал зуд в руках и,

глядя на своего Двойника, понял, что тот, вероятно, испытывает нечто подобное.

— Кербер, — сказал Миллер-второй, — мы сейчас осмотрим установку. К четырем часам ее надо доставить на полигон. Ирэн, это займет не более десяти минут. Прости, тебе придется подождать. Я пришлю за тобой, как только мы кончим.

Они вышли.

Ирэн достала из сумочки пудру и повернулась лицом к окну.

Не колеблясь, Миллер осторожно открыл дверцу и бесшумно вышел из шкафа. Когда он, уже не таясь, сделал несколько шагов по кабинету, Ирэн, не оглядываясь, без удивления спросила:

— Так быстро?

— Да. Мне нужно позвонить.

— Ты где-то выпачкал весь костюм, — сказала, повернувшись, Ирэн.

Миллер уже поднял телефонную трубку.

— Миссис Слоу, срочно соедините меня с Дороном!

Прошла долгая минута, прежде чем Миллер услышал:

— К сожалению, шеф, Дорон не отвечает.

Миллер швырнул трубку на рычаг.

— Черт возьми! — вырвалось у него.

— Эдвард, — сказала Ирэн, — случилось еще что-нибудь?

— У тебя не будет ни яхт, ни вилл, Ирэн. Это все бред.

Ты будешь нищей, как я. Ты будешь...

— Что это значит? Эдвард!

— Я не могу объяснить. Не умею. Нам пора уходить.

— Куда?

— Этого я тоже пока не знаю. Если угодно, я испытывал тебя, Ирэн, хотел проверить.

— И Дорона тоже испытывал? И Кербера? Зачем?!

— Пойдем, Ирэн. Все очень сложно. Тебе не понять.

— У меня голова идет кругом... Опомнись и помоги, опом...

Она не договорила. Миллер вдруг увидел в ее глазах ужас. Она смотрела мимо него совершенно невыносимым взглядом. Потом беспомощно протянула руку, как бы пытаясь за что-то ухватиться, и рухнула в кресло. Он быстро оглянулся.

В дверях стоял Миллер-второй.

## 7. Голый король

Нахальства у Двойника, очевидно, хватало. Он подтолкнул Миллера к шкафу.

— Забирайтесь назад, — сказал он, — поговорим потом.

Миллер чуть не задохнулся от злости. В нем все клокотало, но он понимал, что пререкаться сейчас бессмысленно: каждую секунду Ирэн может очнуться, и тогда трудно представить, что произойдет. Он забрался в шкаф.

Все в ту же замочную скважину Миллер увидел, как Двойник, смочив носовой платок водой, приложил его ко лбу Ирэн. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее взгляд скользнул по кабинету беспомощно и боязливо.

— Дюк, — тихо сказала она, не то спрашивая, не то утверждая, — я больна?

— Успокойся, Ирэн, — мягко сказал Двойник, — не надо волноваться.

Он поднял ее и усадил в кресло.

— Эдвард, мне показалось, что ты... Я видела двоих...

— То есть как — двоих? Кого?

— Мне страшно, Дюк.

— Успокойся, Ирэн, — повторил он. — Ты очень утомлена. Это бывает. Когда я много работаю, со мной происходит нечто подобное. Это не болезнь. Успокойся. Ты знаешь: миражи в пустыне, ложные солнца... Ты, наверное, волновалась?

— Да. Я ждала твоего решения и...

— Не будем сейчас об этом. — Двойник обнял Ирэн за плечи. — У нас еще целая вечность впереди.

— Да, да, Дюк, ты прав, как всегда.

Миллер, наблюдавший за этой сценой из шкафа, вначале удивился тому, как Двойник вышел из столь трудного положения, как легко он успокоил Ирэн. «Молодец! — невольно похвалил он. — Я, наверное, не смог бы сделать это столь убедительно».

— Я провожу тебя, — услышал Миллер голос Двойника.

— Не надо, Дюк. Мне нужно побывать одной.

Ирэн направилась к двери. У порога она на мгновение остановилась, и ее взгляд вновь скользнул по кабинету.

Миллер сидел неподвижно, закрыв лицо руками, пока Двойник не распахнул двери шкафа.

— Выходите, — сказал он. — Мы одни.

Нестерпимо жгло горло. Опустившись в кресло, где минуту назад сидела Ирэн, Миллер схватил рюмку, одним махом выпил вино и закашлялся. Двойник укоризненно посмотрел на него.

— Я не думал, — ехидно заметил он, — что у вас есть склонность к алкоголизму.

Миллера взорвало:

— Еще неизвестно, какие пороки обнаружились бы в вашем характере, если бы вы сидели в этом шкафу, а я бы нежничал с вашей невестой.

— Оставим это, — прервал Двойник. — Лучше обсудим положение. — Он посмотрел на часы. — До испытаний осталось мало времени, я должен к ним подготовиться. Ну, а вы...

— Что вам делать на испытаниях? Если кто-нибудь из нас должен на них присутствовать, то, конечно, я! Вы оставайтесь здесь, в кино сходите, что ли.

— Я не люблю кино. И вы отлично это знаете. Мне нужны испытания, они слишком много для меня значат, поэтому я должен быть на полигоне!

— В таком случае я звоню сейчас Дорону и говорю ему, что поедет один Кербер. — В голосе Миллера послышались металлические нотки. Он решительно направился к телефону.

Двойник остановил его:

— Не торопитесь. Через час после вашего звонка я зайду к Дорону и скажу, что еду на испытания!

— Он примет вас за сумасшедшего.

— Почему меня, а не вас?

Они замолчали.

— Поймите, я, как и вы, тоже ученый, — сказал Двойник. — Мне, как и вам, прежде всего важно убедиться в том, что установка работает.

— Это, пожалуй, единственное, что заслуживает внимания, — Миллер усмехнулся, понимая, что первый раунд у них кончился вничью. — Так давайте, коллега, объединим свои усилия хотя бы на этом этапе.

— Вы... впрочем, могу и я... короче говоря, один из нас поедет на полигон раньше, — неожиданно предложил Двойник. — Там и встретимся. В бункере могут находиться только двое, нам места хватит.

— Но как быть с Кербером? Он всегда ездил на полигон вместе со мной...

— И со мной тоже... Обойдемся без Кербера, — отрезал Двойник. — А то, боюсь, я ему все же поставлю печать на лысину!

И они, быть может, впервые добродушно рассмеялись, отлично поняв друг друга.

...Как и договорились, Миллер приехал на полигон раньше, а Двойник должен был приехать вместе с Дороном. Предъявив часовому пропуск, Миллер прошел в свой бункер. Дверь была открыта. У пульта управления колдовали два механика — служащие полигона. Они доложили, что установка к опыту готова. Миллер отослал их.

Оставшись один, он полностью переключился на предстоящий эксперимент.

В то время как глубоко под землей должна будет взорваться бомба и вспыхнет ядерный шквал огня, он, Миллер, находясь в двух километрах от этого ада, попытается задержать взрыв, ну, пусть на пять секунд, на десять, этого будет достаточно, чтобы понять: установка сработала! Она сейчас там, над черным жерлом шахты, уходящей в глубину земли. Но если нажать вот эту красную кнопку, суперполе должно заключить атомный огонь в свои жесткие объятия. Это поле должно держать его не только секунды — вечно, всегда! — но может и выпустить, и тогда бетон, земля, все превратится в сгусток плазмы...

Миллер чувствовал, что эксперимент закончится хорошо. Сегодня установка будет работать!.. А вдруг нет? Разве он застрахован от неожиданностей? И кто вообще избавлен от них?

Неожиданно Миллер услышал голос Дорона.

— Профессор, — сказал генерал, — что вы нам сегодня обещаете?

Миллер испуганно отшатнулся, но, поняв, рассмеялся. На командном пункте включили трансляцию, голос Дорона доносился из репродуктора.

— Наука не терпит спешки, — ошарашенный Миллер услышал свой собственный голос. «Значит, они уже там. Лишь бы Двойник не наговорил лишнего!» — Из суммы рядовых репетиций складывается премьера, генерал.

— Вы театрал, профессор, — ответил Дорон с раздражением, — но у нас все-таки не спектакль! Вы когда-нибудь скажете мне толком о ходе ваших работ?

— Но, генерал, иногда и репетиция может доставить удовольствие! — ушел от прямого ответа Двойник.

Да, он вел себя осторожно. «Или он не уверен в исходе испытаний, — подумал Миллер, — или...» И тут его поразила своей неожиданностью мысль: или он, кроме самой установки, больше ничего не знает!

— Профессор, — сказал между тем Дорон, — мы с нетерпением ждем завершения вашей работы. И чем быстрее она будет закончена, тем лучше для вас.

— Я постараюсь, генерал.

Когда Двойник, наконец, появился в бункере, он увидел Миллера, улыбающегося и почти счастливого. Миллер сидел в кресле и курил сигарету. Он встретил своего коллегу иронически.

— Как добрались, профессор? — спросил Миллер.

— Отлично, профессор! — Двойник принял предложенный тон разговора. — Правда, Дорон забросал меня глупыми вопросами, а в остальном все нормально. Установка готова к опыту?

— Конечно.

— Итак, коллега, сегодня решается наша судьба? — сказал Двойник. — Если установка будет работать, как я и предполагаю, то мир вскоре узнает о новом открытии.

Миллер угрюмо насупился.

— Не надо торопиться, — заметил он.

Двойник перелистал журнал монтажа, в котором шаг за шагом записывалась сборка аппаратуры, и с удовлетворением потер руки.

— Я представляю, — сказал он, — как мы начнем выпускать установки серийно, большими партиями. Любой хороший завод освоит их производство за два месяца.

— Это не так просто, — заметил Миллер.

— Знаю. Но достаточно посадить конструктора, чтобы он грамотно сделал чертежи по уже существующей разработке, и все будет нормально. В установке, конечно, не все совершенно, но она и так хороша...

— Может быть, хватит болтать? — зло заметил Миллер. — Пора приступить к делу.

Они тщательно проверили все приборы.

— Я очень волнуюсь, — признался Двойник, — и в то же время я спокоен, мне кажется, что опыт будет удачен.

— Возможно, возможно. — Миллер испытующе посмотрел на Двойника. — Но меня беспокоит одна деталь: сможет ли суперполе пробить такую толщу земли? Я как-то упустил это из виду.

— Вполне естественно, — сказал Двойник. — Как вы могли думать о том, о чем я не думал?

Они взволнованно зашагали по комнате. «Господи, почему я не проверил это раньше?» — подумал каждый из них.

— А если... если... — Двойник остановился, — увеличить напряженность?

Миллер на секунду задумался. Но, проделав в уме несложные подсчеты, разочарованно сказал:

— Нельзя! Не справятся блоки фокусировки поля. Кроме того, в зону действия установки попадет первый бункер, там люди...

— Ерунда! — Двойник загорелся своей идеей. — Я уверен, ничего им не будет!

— Люди могут пострадать! — резко сказал Миллер.

— Вы просто хлюпик, профессор!

Миллер ничего не ответил. В голову пришла любопытная мысль: если включить оба генератора суперполя последовательно, то этого будет вполне достаточно...

— Слышите, я требую! — упрямо повторил Двойник.

— У нас нет времени, чтобы переналаживать установку.

— Что же делать?

— Включим генераторы поля последовательно.

— Зачем? — не понял Двойник.

Миллер, не скрывая своего превосходства, объяснил идею. Некоторое время Двойник не понимал и только в конце, когда Миллер сказал ему, что и как надо делать, согласился. Через несколько минут аппаратура была готова.

Миллер торжествовал. «Двойник, — думал он, — не очень-то хорошо соображает. Впрочем, это естественно, ведь он живет отдельно от меня второй день, значит уже два дня мыслит иначе, совсем иначе... Вероятно, в лаборатории Чвиза воспроизвелося далеко не все... — и от этой мысли Миллер

пришел совсем уже в отличное настроение, — а может быть, Двойник и не подозревает о некоторых тонкостях теории нейтронного торможения!»

— Еще есть надежда, что король голый, — сказал вслух Миллер.

— Что? — не понял Двойник.

— Это я просто так, — Миллер мысленно обругал себя за несдержанность. Он подумал о том, что если не будет установки, — она, например, исчезнет, — то Двойнику грош цена. Ведь он не сможет вновь создать установку!

В репродукторе раздался голос начальника полигона:

— Зона освобождена. Приготовиться, через пять минут взрыв.

— Садитесь за пульт, — сказал Миллер. — Я буду снимать показания приборов.

...Из командного пункта доносился монотонный голос начальника полигона:

— До взрыва тридцать секунд... десять... пять... три...

Двойник включил установку.

Начальник полигона считал:

— Два... Один... Взрыв!

Тишина.

Прошли пять секунд, десять...

Взрыва не было.

— Выключайте, — спокойно сказал Миллер.

Двойник даже не пошевелился.

На командном пункте началась паника.

— Выключайте! — сказал Миллер.

— Еще несколько секунд, — не оглядываясь, ответил Двойник.

— Выключайте!

Двойник взорвался:

— Как вы не понимаете, что каждая лишняя секунда — это тысяча кларков в недалеком будущем!

Миллер осталбенел от изумления.

Паника катилась по полигону.

— Немедленно проверить энергетику! — ревел в микрофон Дорон. — Начальника третьего участка ко мне!

— Выключайте! — закричал Миллер и бросился к пульту.

Двойник, сжав кулаки, поднялся ему навстречу.

## 8. Билет в Аргентину

Миллер не успел нажать кнопку сброса поля: рука Двойника цепко обхватила его запястье. Физик рванулся. Двойник засмеялся коротко и неприятно.

— Драка отменяется, — сказал он отрывисто, — ведь и физически мы равны. — Он разжал руку.

Миллер чуть тронул красную кнопку, и в тот же миг они увидели, как острой пикой взметнулась вверх дрожащая голубая линия на экране нейтронного счетчика: в шахте взорвалась бомба.

Миллер устало опустился в кресло, закрыл глаза. Двойник подошел к контрольному секундомеру.

— Шесть минут семнадцать и три десятых секунды, — сказал он. — Боже мой, какой вы все-таки идиот! Просто не верится, что вы мой Двойник.

— Идиот вы, — лениво сказал Миллер. — Впрочем, даже кретину ясно, что если процесс ядерного деления можно затормозить на десять секунд, то при определенном расходе энергии его можно затормозить на десять минут, или дней, или лет. Это уже неинтересные технические детали, которые должны заботить не физика, а репортера... А вы упивались своей властью над нейтронами, как мальчишка, которому подарили барабан.

— Да! Упивался! — закричал Двойник. — Упивался! Поэтому что нам с вами все ясно и секунду спустя, а Дорону и господам из министерства обороны и секунды мало! Им нужен эффектный фокус — вот тогда им будет ясно! Эффектный и достаточно долгий, чтобы они успели сообразить. Года два назад я листал книжку «Теория рекламы...».

— Это я листал! — сказал Миллер.

— Опять дурацкий спор, — вздохнул Двойник. — Ну хорошо: мы листали. Но вы ничего, видно, не запомнили, а я запомнил. Надо уметь продавать. И право же, все равно, чем вы торгуете: пивом или установками нейтронного торможения. Если вы принесете Дорону листок с формулами, вам заплатят тысячу кларков, а если вы сунете ему под нос секундомер — можете сорвать миллионы.

— Так, так, — сказал Миллер, — браво! Раньше я думал, что есть физики-теоретики и физики-экспериментаторы. Оказывается, есть еще физики-лавочники.

— Зря стараешься: драки не будет, — спокойно сказал Двойник. — Ну что вы злитесь? Почему цену моим мозгам должен назначать кто-то, а не я?

— Вашим мозгам? — переспросил Миллер.

— Ну хорошо: нашим.

— Это, простите, меняет дело. Я сам распоряжаюсь своими мозгами.

— Можете не волноваться: я джентльмен. Все деньги — пополам. И послушайте меня, давайте сразу договоримся: я покупаю билет в Аргентину или в Австралию, куда хотите, хоть в Россию, и вы уезжаете. Нам будет трудно вдвоем.

— Интересно, — сказал Миллер, — очень интересно. Я уезжаю, а вы? Что будете делать вы? Только откровенно.

— Абсолютно откровенно! Я иду к Дорону и рассказываю ему о том, что генератор существует, работает, и предлагаю его купить... ну, допустим, за миллиард кларков.

— Зачем вам такая куча денег?

— Я не жадный: миллиард надо просить для солидности. На двоих нам вполне хватит двадцати миллионов. Потом отдаю установку, ее разбирают, изучают...

— Но они не понимают принципа генерирования и ориентации поля.

— А зачем его понимать? Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства? Так даже удобнее: я им — установку, они мне — чек. И — до свидания. Поселимся с Ирэн где-нибудь у теплого моря...

— Но ведь Ирэн будет в Аргентине.

— Почему?

— Вы же собираетесь спровадить меня в Аргентину.

— Вас, но не Ирэн.

— Ах, вы надеетесь, что я...

Их разговор прервал голос Дорона из репродуктора:

— Профессор Миллер! Профессор Миллер!

Двойник быстро подошел к микрофону, щелкнул выключателем.

— Миллер у микрофона.

— Мы до сих пор не понимаем, чем вызвана задержка взрыва, — сказал Дорон. — Могут ли ваши опыты влиять на наши эксперименты?

— Гм... Трудно сказать, — осторожно начал Двойник.  
— Думаю, что не могут, — быстро вставил Миллер.  
Двойник погрозил ему кулаком.  
— Вы могли бы зайти ко мне? — спросил Дорон.  
— Хорошо, — сказал Двойник.  
— Я зайду через десять минут, — добавил Миллер.  
Двойник выключил микрофон.  
— Зайду все-таки я, — сказал он.  
— Послушайте, мне это надоело, — Миллер закипел. — С меня хватит. Вы ходили по моему кабинету — я сидел в шкафу, вы ездили в моей машине — я добирался на попутной. Давайте вести честную игру: утром вы говорили с Дороном, теперь моя очередь.  
— Понял, — сказал Двойник и улыбнулся. — Вы думаете, что я начну торговлю и оставлю вас в дураках...  
— А где гарантия... — перебил Миллер.  
— Вот это настоящий разговор! — захохотал Двойник. — «Где гарантия»? Да, вы не такой простак, каким хотите казаться. — Внезапно он стал серьезным. — Даю вам слово: сегодня торговли не будет. Это слишком серьезное дело, и к нему надо подготовиться. Более того, я постараюсь убедить Дорона, что задержка, возможно, не имеет к нам отношения. Если он узнает о нашем опыте, то спокойно сможет обойтись и без нас: установка в его руках. Итак, сейчас 15.30, в 17.00 встретимся дома и все обдумаем... Да, пока не забыл: купите себе домашние туфли, я не могу больше ходить по квартире босиком.

Двойник вышел. Некоторое время Миллер неподвижно сидел в кресле, потом встал, в задумчивости походил по тесному бункеру, сел снова. Итак, решение, о котором он думал так долго, принято. Принято не им. Помимо его воли. Двойник пронест уставку, это вопрос только времени. Он должен помешать ему. Как? Как? Как?

Он сидел долго. Вдруг вспомнил: «Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства?» Миллер быстро встал.

«Может быть, это не лучшее решение, но это решение», — сказал он своему отражению в трубке осциллографа. Выпуклое стекло искажало его лицо... Там, в трубке, он совсем другой, не похожий на Двойника...

«Мерседес» профессора Миллера подъехал к стенду, где была смонтирована установка. Он улыбнулся часовому; тут его знали. Подошел к аппарату, долго возился, отключая провода, тянувшиеся к маленьким ящичкам — блокам ориентации поля. В них — все. Два ящичка не больше жестянки из-под чая. Правда, тяжелые. «Гири, — подумал Миллер, — гири на весах войны и мира». Он отнес их в машину.

Через десять минут, когда он был уже милях в пятнадцати от полигона, он остановил свой «мерседес» у моста через реку. Вышел. Вынул блоки, положил под передние колеса. Сел за руль и двинул автомобиль. Раздался легкий хруст, как сахар на зубах. «Мерседес» снова остановился. Миллер вышел с газетой в руках. Аккуратно сгреб в газету исковерканные пластинки металла, панельки, магнитики, битое стекло, клочки разорванных проводов. Завернул. Пакетик полетел в реку, сплеснулся и даже проплыл, к удивлению Миллера, несколько метров. Но тонкая бумага быстро размокла, расползлась под тяжестью разбитых приборов.

Он переехал мост. Крутый поворот шоссе был огорожен белыми бетонными столбиками, прямыми и строгими, как солдаты. Миллер на ощупь проверил застежки предохранительного шоферского пояса. «Жалко все-таки машину...» — это была его последняя мысль перед тем, как «мерседес», ударившись правым боком в столбик, с визгом отлетел на левую сторону шоссе. Маленькая тонкая струйка побежала к обочине. Наверное, это была вода. А может быть, бензин. А может быть, кровь?

...17.30. Миллера нет. Что он придумал? Душно, Двойник подошел к окну, распахнул створки и в тот же миг услышал голос мальчишки-газетчика: «Экстренный выпуск! Новый подземный взрыв прошел успешно!» (Он улыбнулся.) «Миссис Лэлли Кичк — мать двадцать шестого ребенка!» (Молодец Лэлли!) «Известный физик профессор Миллер — еще одна жертва автомобилизма». Двойник вздрогнул. Нет, он не мог ослышаться. Выскочил на улицу, схватил газету и сразу увидел на первой полосе свой искореженный «мерседес». Отдельно — фотография Миллера: голова откинута назад, глаза закрыты. Не понимая слов, пробежал глазами заметку: «...доставлен в госпиталь св. Фомы...» Где этот святой находится?

Первое, что сказал врачу Миллер, когда открыл глаза в госпитале святого Фомы, было:

— Прошу вас позвонить по телефону РС-15-875... господину Дорону... и рассказать ему...

— Обязательно, обязательно, — суетливо и ласково ответил врач и тут же набирать номер.

«Так, — подумал Миллер, — установки нет. Это раз. Дорон знает, что я в больнице. Это два. Сегодня об этом напишут газеты. — Он готов был смеяться от радости. — Главное теперь — надуть врачей... Какие признаки сотрясения мозга? Тошнота. А еще? Кажется, сотрясение нельзя проверить никакой электроникой... Итак, он перешел, наконец, на легальное положение. «Профессор Миллер — жертва автомобильной катастрофы! Ха! Ха! Пусть теперь тот покрутится!»

— Если придет мой брат, вы узнаете его, он очень похож на меня, пропустите его, пожалуйста, — сказал он.

Двойник пришел в тот же вечер, едва не столкнувшись с уходящей Ирэн. Миллер улыбнулся, увидев его наклеенные усы.

— Не колются? — спросил он шепотом.

— Что? — не понял Двойник.

— Усы не колются? — Миллер захохотал. — Может быть, теперь вам купить билет в Аргентину?

— Чему вы, собственно, радуетесь? Разбили мою машину...

— Нашу машину, — поправил Миллер.

— ...Нашу машину, — продолжал Двойник, — и только ради того, чтобы заставить меня купить эти дурацкие усы? Это не смешно, это глупо. Неужели вы до сих пор не понимаете, что Дорону совершенно наплевать на то, кто из нас настоящий Миллер? Ну, пусть вы. Пусть. А я пойду и предложу ему установку. Он что же, по-вашему, не возьмет ее только потому, что вы, так называемый «настоящий Миллер», лежите в госпитале? Чепуха!

— Правильно, — весело сказал Миллер. — Все правильно. Но вся штука в том, что теперь вам нечего предлагать Дорону.

Он ожидал увидеть на лице Двойника удивление или возмущение. И не увидел.

— Знаю, — Двойник устало махнул рукой, — все знаю. Я был на полигоне. Вы сняли блоки ориентации поля и выбросили в какую-нибудь помойку. Согласен с вашим выбором: это самая дорогая вещь, которая когда-либо лежала на помойке за

всю историю человечества. Но я не буду их искать. Пусть ищет Дорон, если ему жалко двадцать миллионов кларков. А мне эти блоки не нужны. У меня они есть. Вот тут.

Он постучал себя пальцем по лбу.

## 9. Ключевое уравнение

Миллер молчал, а Двойник со вкусом описывал детали открытия. Он так увлекся, что вынул карандаш и потянул к себе листок с температурной кривой, чтобы изобразить ключевое уравнение.

Это было уже слишком. Перед Миллером сидело его «я», на этот раз не только физическое, но и интеллектуальное. Сидел ученый, которому формулы доставляли чисто эстетическое наслаждение.

— Хватит, — сказал Миллер.

Карандаш Двойника замер.

— Хорошо, коллега, хватит. Но согласитесь, что у нас с вами великолепная профессия. Право, мне жалко лишать вас удовольствия быть ученым.

— То есть как — лишать? Почему меня, а не себя?

Это был глупый и ненужный вопрос, но Миллер нарочно задал его, чтобы выиграть время.

— По-моему, это ясно, — Двойник улыбнулся. — В наши дни всесилия доронов жизнь ученого трудна. Я к ней более приспособлен, потому что во мне, к счастью, нет вашего комплекса неполноценности.

— Совести, — поправил Миллер.

— А! — Двойник улыбнулся. — Для нас, ученых, объективная реальность превыше всего. Что такое совесть? В каких координатах прикажете ее измерять? И чем? Вот так-то.

— Пожалуй, вы правы, — заметил Миллер, — вам легче жить.

— Ну, не сказал бы. Черт возьми, кому из нас приходится больше заботиться друг о друге — вам или мне?

— Если вы имеете в виду вариант с Аргентиной...

— Почему? Мы можем рассмотреть и другие варианты. Помнится, в детстве, я, значит и вы — мы оба мечтали быть художниками. Почему бы вам не вернуться к живописи? Тоже творчество.

— Действительно, почему бы?

— Да и вообще Аргентина не обязательна. Вы можете остаться здесь, вы станете моим братом, документы мы купим. Затем вилла на Коралловых островах, а? Плохо разве?

— Неплохо, — согласился Миллер.

— Но без Ирэн, профессор, — сказал Двойник. — Ирэн моя.

Миллер не умел притворяться. Он знал за собой эту слабость. К тому же у него по-настоящему заболела голова.

— Так что же, — сказал Двойник, — обсудим этот вариант?

— Не сейчас, — Миллер закрыл глаза. — Завтра. У меня голова идет кругом.

— Вижу, вижу, вы побледнели. У вас действительно сотрясение мозга? Бедный мой братик...

Двойник нежно погладил Миллера по плечу.

«А ведь он, пожалуй, не врет, — подумал Миллер. — Он действительно жалеет меня, ибо считает поверженным. Он просто опьянен сознанием своего превосходства! Это хорошо».

И вдруг Миллера как острый ножом резанула мысль: Двойника не было раньше, и его не должно быть в будущем! Боже, как это просто! Как это просто!

— Завтра, — сказал Миллер, не открывая глаз. — Решим все завтра. Вы подумайте... о вариантах. Я тоже подумаю... братик.

Последнее слово далось ему с трудом, но почему-то очень захотелось его произнести.

— Что ж, неплохо! Дела наши, кажется, идут на лад. А говорят, что от автомобильных катастроф один только вред. — Двойник подмигнул Миллеру. — Итак, завтра. Вы больной, поэтому выбирайте время.

— Я выйду отсюда в девять вечера. Заеду домой переодеться — у меня порван пиджак. Встретимся в одиннадцать... На углу Криго-стрит и Лоби-авеню.

— Почему на улице? Уж лучше в кафе...

— Хорошо, давайте тогда в институте. Там никого уже не будет, и нам не помешают.

— Дома еще спокойней.

— Нет, нет, только не дома!

— Понимаю. Может прийти Ирэн? Пожалуй, вы правы, профессор...

## Двойник вышел.

Когда за ним закрылась дверь, Миллер понял, что еще ми-  
нута-другая — и он сорвался бы. Накричал, нагрубил и все  
испортил бы... Итак, Миллер против Миллера. Как странно!  
Впрочем, странно ли? Разве все эти последние месяцы он не  
был занят борьбой с самим собой? Здесь ничего не изменилось,  
если не считать того, что его второе, темное, «я» отделилось  
и зажило самостоятельной жизнью. Завтра этой борьбе придет  
конец, только и всего. Но хватит ли у него сил сломать это  
«я» в другом человеке?

...Утром Миллер проснулся бодрым, решительным, каким  
давно уже не был. Уговорить врачей выписать его из госпита-  
ля не составило особого труда. Куда труднее было дождаться  
вечера.

План был четок и ясен. В 9.15 Миллер заехал к себе до-  
мой, торопливо переоделся, открыл ящик стола и, ни секунды  
не колеблясь, сунул в карман пистолет. Потом вышел на ули-  
цу, остановил такси. «Уэлком-сквер, 18!» — крикнул шоферу.

Ирэн, как он и ожидал, была дома. С того времени, как  
Миллер оказался в больнице, она не находила себе места.  
Из квартиры не выходила ни на секунду. В любой момент мог  
позвонить Миллер — так думала Ирэн.

Когда Миллер вошел, она молча поднялась ему навстречу,  
и глаза ее говорили больше, чем любое слово, которое могли  
произнести губы.

— Ирэн, — сказал он. — Помоги мне быть сильным...

Она на миг отступила — маленькая серьезная девочка с  
внезапно осунувшимся лицом — и тихо спросила:

— Дюк, нам будет... очень плохо?

— Да, Ирэн, скорее всего. Я принял решение, и через два  
часа...

— Но уже ночь, — сказала она.

— Через два часа я сделаю самый важный и самый труд-  
ный шаг к его осуществлению. Я пойду сейчас...

— Не надо, — прервала Ирэн. — Что бы ты ни сделал,  
я одобряю. Однажды я уже сказала тебе об этом. Лишь бы  
ты не был таким...

— Каким?

— Таким... разным. Издерганным. Я устала мучиться твои-  
ми мучениями.

— Ирэн, я должен сейчас уйти.

— Хорошо.

Она подняла голову. В ее глазах блестели слезы.

— Потом ты мне все объяснишь. Когда у тебя будет время. Я жду, Дюк.

Говорить Миллер больше не мог. Он благодарно посмотрел на Ирэн и вышел из комнаты.

После его ухода Ирэн с минуту еще стояла у двери, опустив руки. Медленным взглядом обвела комнату, в которой сгущались сумерки. Потом вытерла слезы, посмотрела на часы — было десять вечера — и пошла в спальню. Когда раздался стук в дверь, она была уже в халате.

— Лили, это ты? — спросила она, решив, что это маленькая Лили, живущая на первом этаже.

Дверь отворилась.

— Дюк?! — воскликнула Ирэн, удивленная столь внезапным возвращением Миллера.

— Да, я. Ты расстроена? А у меня хорошие новости. Все складывается так удачно, что не сегодня-завтра ты станешь женой богатого и знаменитого мужа. Через неделю, Ирэн, мы отправимся на Коралловые острова. Ты так давно мечтала о поездке... Что с тобой, дорогая?

Ирэн зажала рот, чтобы не закричать.

— Ирэн! — он шагнул к ней, но она отпрянула в угол.

— Не подходи... — прошептала она. — Это не ты!

Страшным усилием воли Двойник удержал проклятия.

— Ирэн, послушай... Я не думал...

Но Ирэн не слушала его. Она вжалась в стену и медленно покачивала головой. Потом словно обмякла, взгляд ее потух.

— Уходи, — глухо сказала она. — И не появляйся, пока я не позову тебя. Мне надо подумать.

— Но я тебе все объясню!

— Десять минут назад я не просила у тебя объяснений, — она хрипло засмеялась. — Ты хамелеон. Ты не способен решать раз и навсегда. Теперь решу я сама. Уходи.

...Двойник быстро шел по темному коридору института, не глядя по сторонам. Если бы перед ним сейчас вдруг возникла стена, он не стал бы ее обходить, он прошиб бы стену, так переполняла его ярость. Но у двери в кабинет он замедлил шаг, вынул из кармана пистолет и, поколебавшись с секунду, поставил спуск на предохранитель.

## 10. Развязка без конца

— Что было дальше? — быстро спросил Гард.

Некоторое время Фред не отвечал. Он закрыл блокнот, отвернулся к окну и с тоской смотрел на улицу. У Гарда возникло ощущение, что, не будь его в кабинете, Фред распахнул бы сейчас окно и через несколько секунд покончил счеты с этим миром.

— Ты слишком близко принимаешь все к сердцу, — сказал Гард. — Тебя так надолго не хватит.

— Что было дальше? — медленно произнес репортер, словно не слыша последних слов Гарда. — Миллеры вполне созрели для решительных действий. Понимаешь, Дэвид, — он повернулся к инспектору, — это почти то же самое, как в одном человеке идет борьба с самим собой, и вот он однажды решает, что пора подвести черту. Быть или не быть, в конце концов это каждому рано или поздно приходится решать. Но когда мы подводим черту для себя, мы можем убить мысль, оставив плоть живой. У них же плоть оказалась неотъемлемой от мысли... Убийство было, Гард, и ты это прекрасно знаешь!

— Но юридически...

— Но юридически его не было, если Миллер жив, а наличие двойников нигде не зафиксировано?

— Однажды я уже слышал это, — сказал Гард.

— От Дорона, — спокойно добавил Честер.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю все. С того момента, как появился Двойник, и до того момента, как тебя вызвал Дорон. Он тебя вызывал?

— Но при этом никто не присутствовал.

— И он говорил с тобой?

— За последние три года я впервые позволяю себя допрашивать. Да, говорил, две минуты.

— Вполне достаточно, чтобы сказать: «Инспектор Гард, зарубите себе на носу...»

— Но про Двойника он мне ничего не говорил.

— А ты у него спрашивал? Дорон привык иметь дело с теми, кого уже трудно превратить в людей, потому что связь Франциск давно обратил их в бессловесных скотов...

— Фредерик!

— Что было дальше, Дэвид? Была ночь. Дежурный сказал, что это случилось где-то около двенадцати. Но их последняя встреча началась часом раньше. Целый час они сидели в креслах друг перед другом, пили вино и сжимали в карманах пистолеты. В сущности, Гард, они не были врагами, потому что человек не умеет быть врагом самому себе. Непримиры были их планы! Однаковое прошлое — и взаимоисключающее будущее! Это трагедия, Гард, трагедия нашего века — я не взял бы на себя обязанность адвоката, если нужно было бы защищать оставшегося в живых... Дурацкая жизнь, если она может до такой степени искалечить психику человека, что нередко и без двойников мы сами себя не узнаем!

Да, Гард, они были умными людьми и наверняка думали обо всем этом в тот последний час. Впрочем, тогда уже ничто не имело для них значения — ни открытие, ни установка, ни Аргентина, ни даже Ирэн. Они еще произносили какие-то слова, но только для формы, боясь спугнуть жертву. Ведь каждый из них думал, что лишь он замыслил убийство, и жертва об этом даже не подозревает!

Вот почему, Гард, они, не сговариваясь, выстрелили одновременно и даже несколько неожиданно для себя, хотя оба стремились к такому финалу, — они выстрелили сразу же после того, как одновременно поняли, что оба пришли убивать. А сначала... Сначала они панически искали повода вытащить друг друга из кабинета, из этого института — куда-нибудь на улицу, в темноту, чтобы можно было сбросить труп в канаву, или в реку, обезобразив предварительно лицо... Это страшно, Гард, это чудовищно, но представь себе:

«— Ах, как хорошо сейчас на свежем воздухе, профессор!

— Где-нибудь у реки...

— Цивилизация скоро задушит природу.

— А помните, как мы в детстве мечтали попасть на необитаемый остров?

— Вместе с рыжей химичкой Лерой Вудворд?

— Нет, еще раньше. Правда, тогда у нас была... Роза Мэри. Она жила в соседнем доме.

— И тоже рыжая! Нам с вами везло на рыжих, коллега.

— Какая славная пора!

— Так выйдем на воздух?

— Пожалуй...»

Разговор современных убийц... В недалеком будущем, Гард, прежде чем покончить со своими жертвами, убийцы будут, как фотографы, говорить: «Простите, можно попросить вас чуть-чуть повернуть голову — вот так? Смотрите в эту точку. Подбородочек повыше, это выглядит эстетичней. И пожалуйста, повеселее взгляните. Отлично!» — а затем: «Спокойно, стреляю!»

Знаешь, что испортило им все дело? Вызов дежурного. Не нажми Миллер кнопку, мы ничего не знали бы о происшедшем. Ни мы, ни весь мир...

— Ты думаешь, — сказал Гард, — что мир об этом узнает?

— Иначе, какой смысл в том, что это случилось?

— От тебя?

— Да, от меня. Чего бы мне это ни стоило. И очень скоро!

— А почему ты считаешь, что именно Миллер вызвал дежурного? И зачем?

— Потому что Миллер... Видишь ли, он позволил себе поиграть с Двойником в кошки-мышки. Ты обратил внимание, Гард, на то, что Миллер почти во всем был нерешительнее Двойника? Он, а не Двойник сидел в шкафу, он прятался на полигоне, он жалко выглядел перед Ирэн, он не принимал решительных мер... Я не знаю, почему так происходило. Возможно, потому, что человек, творящий зло, всегда решительней человека, творящего добро. Зло более прямолинейно, оно грубее, целеустремленней...

— Но добро все же сильнее, Фред.

— Только в итоге. И не всегда. Так вот, Дэвид, дежурного вызвал тот из них, у кого прежде сдали нервы. Миллер незаметным движением — спинкой кресла, чуть откинувшись назад, — нажал кнопку вызова дежурного. Когда раздались бы шаги по коридору, он сказал бы Двойнику: «Сюда кто-то идет. Прячьтесь в шкаф!» — и настал бы на этом со всей решительностью, которой ему прежде так не хватало. Он еще не знал в тот момент, что Двойник тоже пришел убивать. И он рассчитывал не просто пошутить над Двойником, а получить при этом хоть крохотное подтверждение собственной решимости и воли, без которых его палец не смог бы нажать на курок.

Но дежурный не появлялся! А повторный вызов уже не прошел незамеченным. И вот тут-то в течение каких-то се-

кунд, словно спрессованные обстоятельствами, разыгрались трагические события.

«— Зачем вам дежурный, Миллер? — резко спросил Двойник.

— Чтобы вы сели в шкаф! — так же резко и прямо ответил Миллер.

— В шкафу проще убивать?

— Проще на улице!»

Вызов был принят. Они все поняли. Они уже не сидели. Они стояли посреди комнаты. Они смотрели друг другу в глаза, но, как боксеры, видели все, что делают их руки.

Два выстрела слились в один.

Остальное ты знаешь, за исключением некоторых подробностей.

Убийца, перешагнув труп, вышел из кабинета. В любую секунду могла открыться дверь. Правда, у него оставалась возможность убрать дежурного, но это было уже слишком, и он понимал, что убийство дежурного юридически не оправдадаешь.

И действительно, они столкнулись почти у самых дверей кабинета.

«Вы давали сигнал?» — спросил дежурный.

Он ничего не ответил, он был взволнован, и, кроме того, ему было некогда.

Через семь минут его машина остановилась у дома, где живет Дорон. От института до этого дома ровно семь минут езды поочной улице. Это был тот случай, когда разговор с Дороном должен был состояться не по телефону, и немедленно, поэтому он рискнул прийти к нему прямо в дом и поднять с постели. А не прийти не мог: в кабинете лежал труп, надо было предупредить события. Еще через десять минут Дорон выехал в институт. Ты помнишь машину, которая, сверкнув фарами, въехала во двор института, когда мы, допросив дежурного, выходили из здания? Это был Дорон.

— Так что же, Фред, он сказал Дорону?

Он напомнил ему о направлении поисков Чвиза, сказал о появлении Двойника и об Ирэн. И больше ничего. Об открытии и установке не было сказано ни слова! Пока не было сказано ни слова... И у него были для этого существенные причины — я не знаю точно, какие именно, но полагаю, что са-

мой главной было то, что он боялся стать таким же трупом, как тот, что остался лежать в кабинете... Ведь Дорон мог легко освободиться от автора открытия, считая, что в его руках установка, тем более что повод для этого был самый подходящий.

Затем последовали два вызова: тебя и Чвиза. Старика подняли с постели, и Дорон принял его у себя в кабинете. Понимаешь, если бы можно было повторить все условия, при которых получился Двойник, это стало бы открытием всех открытий! Дорон отлично это понимал. Вероятно, он уже рисовал в своем воображении какого-нибудь кретина, физическая сила которого для Дорона вполне компенсировала бы отсутствие мозгов. Таких кретинов можно было бы делать тысячами и миллионами, это были бы замечательные солдаты, полицейские, дешевая рабочая сила — черт знает, какие перспективы открывала такая возможность! Бедный Чвиз! Теперь он испытает на себе такое давление Дорона, какого не испытывал даже Миллер. Я не знаю, сумеет ли он воспроизвести эксперимент, который привел к появлению Двойника, но то, что он сам теперь раздвоится, не сомневаюсь. Это будет битва не менее трагическая и не менее кровавая, чем битва двух Миллеров!

То, что сказал тебе Дорон, ты помнишь, я повторять не буду. Конечно, он немедленно позвонил Хейссу, и газета на следующий день вышла без моего репортажа. Труп убрали сначала в морг, выдав за нищего старика, и пьяница Конда даже часа не провел с телом, завернутым в какие-то тряпки. А затем убитого похоронили на кладбище Бирка. Похоронили рано утром, хотя Бирк вот уже шесть лет хоронит только вечером, во время захода солнца и при свете факелов. Но что не в силах сделать Дорон!

Утром профессор сидел в своем кабинете, как будто бы ничего и не случилось...

— А что с Ирэн? — спросил Гард.

— Сейчас, наверное, уже все в порядке. Она ведь ничего не знает об убийстве, а все ее подозрения и тревоги должно развеять время.

— Фред, ты гениальный сыщик! — не без зависти сказал Гард. — Как ты все узнал? Ты говорил с людьми? Нашел очевидцев? Видел...

— Дело сейчас не во мне. Ты должен помочь! Дай хотя бы совет. Я не знаю, Дэвид, что делать... Или немедленно преду-

предить мир о случившемся, или... Что мне делать, Гард? Я должен торопиться с решением — пока не поздно, пока еще можно предотвратить катастрофу!

— О чём ты говоришь, Фред?

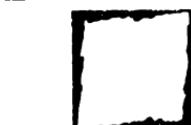
— Мир должен быть сейчас предельно бдительным, Дэвид. Нам нельзя спать спокойно, мы должны...

— О чём ты говоришь? — повторил Гард.

— Ах, Дэвид, ты никак не хочешь понять, в чём ужас положения! Да, я знаю все, я знаю все про двух Миллеров. Но я не знаю главного: кто из них остался в живых!..

# ГОЛУБАЯ ЖИЛКА АФРОДИТЫ

Фантастическая повесть



Общее вступление. Рассказывает физик

**Н**ас было трое друзей, влюбленных в одну женщину. Да, я забыл сказать, что эта женщина была каменная. Когда-то, в далеком неправдоподобном детстве, мы отправились в путь за красотой. Но двадцатый век — это странный век метаний между рационализмом и инстинктами, и потому в нашей попытке найти живой эталон красоты была причудливая смесь того и другого.

Мы собрали по всем журналам несколько сот фотографий красивых женских лиц тех давних времен, пересняли их в одном масштабе и многократной экспозицией создали один сводный негатив.

Мы трепетали, когда делали первый отпечаток, и, видимо, не напрасно. Когда мы вытащили на свет мокрео фото, мы увидели лицо покойницы.

Надо ли описывать наш испуг? Однако кончилось все очень странно. Один из нас взял себе этот отпечаток и исчез дня на три, а потом принес его обратно.

— Я тут тронул кое-что, — сказал он. — Потом снова сфотографировал.

На нас глядело живое прекрасное лицо. И мы тогда догадались, что красота не состоит из признаков.

Мы сделали три отпечатка и разошлись по трем дорогам. Теперь один из нас — художник, другой — поэт, третий — физик. Физик это я.

Через несколько лет после войны мы встретились снова.

Помните эту историю, когда где-то в Африке нашли древнюю скульптуру? Фотография женского лица обошла все газеты. Скульптуре было 12 тысяч лет, цивилизация времен Атлантиды, но не это было самым интересным, для нас по крайней мере. Самое интересное было то, что она была как две капли воды похожа на лицо с пожелтевшего фото, которое каждый из нас хранил с самого детства. Вот так.

Такая же странная сила и тающая нежность были в этом лице. Попробуйте найти объяснение этому сходству! Мы попробовали.

Художник считал, что эта скульптура — обобщенный образ красоты, разлитой в мире, и что ее можно только собирать и собирать по капле, чтобы создавать небывалое, и что одинаковый путь привел к одному результату и нас и того мастера древних времен — отсюда сходство.

Я считал, что это портрет женщины, прилетевшей из космоса 12 тысяч лет назад, и тосковал, что не увижу второго прилета, а сходство объясняется тем, что в нас заложена программа гармонии, то есть тяга к человеческому усовершенствованию, и когда мы инстинктивно ее осуществили в фотопортрете, то результаты невероятно совпали с живым прототипом.

Поэт же шел еще дальше. Потому что он был максималистом. А что это за поэт, если он не максималист? Он считал, что поскольку образ возникает в мозгу по каким-то законам, то эти же законы могут породить и его реальный прототип.

Вот причина сходства.

Мы любили эту женщину, но судьба каждому из нас готовила поражение.

Так давайте же расскажем о трех поражениях, потому что они привели к одной победе.

Первым расскажет художник.

## Обыденное кольцо. Рассказывает Костя Якушев по прозвищу Да Винчи. Крах первый

У меня всегда одно и то же — встану на перекрестке и думаю: как дойти домой? По одной дороге — далеко, но привлекательней, по другой дороге — ближе, но все известно.

И так всегда: как идти? По длинной дороге глупо, по ближней — скучно.

Вот и в этой истории мне затруднительно связно рассказать все, что было. Если рассказать коротко — да, мы добились, чего хотели так яростно и так долго. Но при коротком рассказе надо опускать столько обстоятельств, что вся история становится почти бессмысленной, все равно что из курицы сделать не бульон даже, а бульонный кубик. И солено, и сухо, и несъедобно.

Поэтому давайте вести рассказ по старинке, чтобы он был похож на веселого зеваку, который оглядывается на витрины, на проходящих девушек, сворачивает в сторону обсудить чужой скандал и так помаленечку добирается до цели. А когда добрался — видит, что пришел обогащенный, и не растерял, и ничего не забыл, и на прежнюю цель смотрит спокойными глазами, и она для него не фетиш, не кумир, а просто этап, и, стало быть, он остался человеком. А это в общем-то самое главное. Хотя есть и другие мнения.

Когда уже все устали от еды и анекдотов и расположились кто где, чтобы сообразить, чем развлекаться дальше, я увидел ее.

Ну конечно же, господи, совершенно очевидно, что история дальше пойдет про то, как он увидел ее и что из этого вышло. Почему-то до сих пор это все еще интересно, хотя периодически считается, что с этой темой покончено... Эта ошибка обнадеживает.

Дальше, конечно, надо будет рассказать, как она сидела в кресле, и какие у нее были ноги, и что я почувствовал, глядя на... виноват, я хотел сказать, глядя ей в глаза. Отделяемся сразу. Ноги у нее были красивые, как у фестивальной звезды, а глаз я не видел, так как она разглядывала журнал, где на обложке был изображен сладавый мальчишка с усиками. А так как журнал был огромный, то ноги ее, казалось, росли прямо из журнала и принадлежали этому любимцу природы. Мне стало противно, и я отвернулся.

Потом я почувствовал на себе чей-то взгляд и оглянулся поеживаясь. Она опустила журнал и смотрела на меня.

Разве есть хоть одна история, которая началась бы сейчас, сию минуту, кто может похвастаться, что знает начало отсчета? Она опустила журнал и смотрела на меня. О чем это говорит? Для вас ни о чем, для меня о многом.

И это многое случилось давным-давно, еще тогда, когда я занимался третьей сигнальной системой. Я тогда был начинающим художником и додумался до нее самостоятельно. Одно время о ней очень много говорили. Напомню вам, в чем суть дела.

Нас учили как? В искусстве, дескать, есть содержание и есть форма, и содержание искусства — это факты жизни и их связи, а форма — это сумма приемов, в которые эти факты воплощаются. А тогда возникал вопрос: а откуда брать эти приемы? У великих художников? А они откуда брали? И не потому ли они великие, что сами их изобретали? И потом, может быть, не в фактах дело, а в том, кто за ними стоит... Вот Верещагин всю жизнь писал потрясающие факты — битвы, казни, а Рембрандт — соседей по квартире. Кто лучший художник — можно не спрашивать.

Стало быть, один художник от другого отличается каким-то особым богатством внутренней жизни, которое нельзя свести ни к интеллекту, ни к эмоциональности; ни ум, ни темперамент художника еще не делают, хотя и нужны ему, как вся кому человеку. И вот, занявшись тогда поисками этой особенности, я убедился, что ее, особенность эту, можно определить одним словом — вдохновение. Я понял, что это некое душевное состояние, свойственное только тем, кто может изобретать эти приемы, а не коникует их, и только в тот момент, когда он их избирает.

Что же заведует в мозгу вдохновением? Ежели оно есть, должен быть и механизм. Первая сигнальная система заведует сношениями с внешним миром, рецепторы — глаза, уши и прочее. Вторая заведует речью. Опять не годится. Описать свои ощущения может каждый, а изобрести нечто новое — только некоторые. И тогда мне пришло в голову, что должна существовать третья сигнальная система, заведующая вдохновением, то есть особым способом мышления, которое отпущено многим, но возникает редко. И в эти моменты человек добивается результатов, которых ему никаким другим путем не добиться.

Парнем я тогда был неглупым, хотя и наивным до изумления.

Изложил я все эти соображения в письме, снабдил большим количеством цитат — высказываний великих мастеров, описывающих это состояние, и отправил в Академию наук. И получил оттуда ответ — он у меня и сейчас хранится. Суть ответа такова. Третьей сигнальной системы быть не может, потому что о ней ничего не говорится у Павлова, а кроме того, мысль о ней не нова, ее высказывали академики — приводились фамилии, — но после соответствующей критики они отказались от этой мысли. Ну тут я сразу успокоился. Потому что времена были такие, что после соответствующей критики отказывались от собственных родителей, не то что от мысли. И я, конечно, сразу успокоился. Если ученые, экспериментаторы своим ходом пришли к этой мысли, стало быть, третья сигнальная существует, а остальное — дело не мое. Мое же — искать способы развивать ее практически, если ее можно развить.

А пока я возился с этими непонятными никому делами, у меня начались личные неурядицы, неудачи и обвалы, и вопрос встал так: либо надо бросать заниматься ерундой и жить, как все люди, либо потерять то подобие семьи, которое сложилось у меня к тому времени.

И решил я все бросить к чертям и только напоследок сходить к одному человеку, который жил на даче под Москвой.

Это был странный человек. Режиссер, украинец. Одни видели в его фильмах гениальность, другие — фальшь. И все сходились на том, что его картины странные. А вся суть была в том, что та монументальная форма, которую он искал для передачи душевных своих взлетов, не могла быть сфотографирована с натуры. Поэтому гениальные кадры перемежались у него с недостоверными. Догадайся он воплотить свои замыслы, скажем, в мультипликации — получились бы шедевры. Но в его время мультипликация числилась по ведомству мики-маусов и царевен-лягушек, и даже Шекспира играли обыкновенные живые актеры с прыщами и насморком.

Я пошел к нему. Он должен был знать, что такое вдохновение.

Был вечер. Шоссе после электрички показалось тихим, хотя и по нему пролетали субботние машины с удочками, гитарами и снедью для пикников.

Я свернул на щербатую асфальтовую дорожку между заборами дач и черными елями и вдалеке увидел двух девушек в сатиновых спортивных шароварах и майках. Одна, та, что справа, была обыкновенная, а вторая, та, что слева, была необыкновенная.

Я это сразу заметил, хотя видел вдалеке только силуэты.

В необыкновенной все было необыкновенно. И тоненькая талия, и плечи подростка, и тяжелые, приподнятые чуть-чуть волосы, кое-как заложенные в пучок, и то, как она шла в своих неуклюжих ситцевых длинных штанах пузырями. Боже, как она шла! А как она шла? Фейхтвангер описывает, как император Тит влюбился в принцессу Беренику только из-за походки. «Вот какие здесь водятся», — подумал я. Когда я их догнал, я уже был совсем готов.

— Как пройти на дачу?.. — спросил я и назвал фамилию режиссера.

Она обернулась, нет, повернула голову на длинной шее, посмотрела на меня чуть хмурыми глазами и сразу стала похожа на олененка.

Оказалось, что она живет у него на даче уже третий день и приехала откуда-то с юга. Вот так-так... Я молол всяющую чешуху, подруга смеялась, и олененок шел, не поворачивая головы, а я думал: болван, ведь мог увидеть ее на три дня раньше.

Однажды только она обернула ко мне лицо. Это когда нас обогнал дядька, у которого верхом на шее сидел трехлетний клон, и дядька держал его за сандалии.

Я сказал:

— А наверно, приятно, когда такой сидит у тебя на шее и держит тебя за щеки.

Она вдруг обернула лицо и улыбнулась. Черт возьми, ей понравилось, что я люблю детей, и она меня признала.

Мы пришли на дачу.

По двору ходила огромная непородистая собака. Режиссер был болен и лежал на раскладушке.

— Сердце у меня болит, — сказал он.

Я рассказал ему, зачем я пришел.

— Хто вы такой? — спросил он меня с украинским акцентом.

Я рассказал ему, кто я и чем занимался за свою жизнь.

— Быстро не обесчую, но через пять лет вы будете режиссером, — сказал он. — Только режиссура может пожрать вашу энергию.

У него был огромный лоб прекрасной лепки и седые волосы. Мы говорили, пока не стемнело.

— Сейчас хто великий художник? — сказал он. — Тот, кто пишет великого человека. А хто пишет человека помельче — тот художник помельче. А хто пишет обыкновенного человека — тот художником почти не считается.

Да, — сказал он, — вдохновение есть. Шо это такое, я не знаю, но это не страшно. Страшно то, шо я не знаю, как его вызвать по желанию.

Все это время я видел ее в окно. Она теперь была в широкой клетчатой юбке и сидела на траве, опираясь на отставленную вбок руку. Юбка раскинулась веером.

— Вот кого надо снимать в кино, — сказал он. — Эти тонкие ручки, эту грацию. Может быть, она не гениальна, но это благородная норма. А мы шо снимаем?

Я провел у него на даче три дня. Мы с ней подружились.

Меня устроили ночевать на веранде, и мне приснилась солнечная паутинка.

Когда я проснулся, сон не исчез. Перед моими глазами сушились на веревке чулки-паутинки. Солнце было мне в глаза сквозь проэрачные паутинки.

— Ну и что? — сказала она независимо. — Подумаешь! Утром здесь первое солнце.

Стянула с веревки чулки и исчезла.

Подросток еще. С юмором. Забавная. Совсем подросток. Пнула ногой бумажку. Подметая пол, вертится, как волчок. Волосы свисают вниз, когда метет. Когда поворачивается — взлетают. Напряженный открытый взгляд, чуть хмурое выражение, чуть первое лицо. Независимость, любопытство, гордость, комичность. Я никогда не видел таких.

Однажды мы долго разговаривали с режиссером, а потом он отправился в сад с раскладным стулом.

Я услышал шорох в платяном шкафу и отворил дверцу. Она вылезла из шкафа и гордо пронефилировала мимо.

Потом однажды режиссер рассказывал, как он пришел в кино. Ему было около тридцати, то есть примерно столько же, сколько мне в момент разговора, но только за ним была гражданская война, а за мной — Отечественная. Он тоже собирался быть художником, но его приятель-матрос, которого назначили комиссаром Киевской студии, сказал:

— Выручи. Сними картину. Пленка есть.

Он взял пленку и аппарат и в четыре дня снял комедию.

— Это были буколические времена, — сказал режиссер.

Мы опять расстались потому, что старик часто уходил отдохнуть. И в этот самый момент она снова вылезла из шкафа. Я не мог сдержать раздражения, потому что почувствовал себя глупо.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— А вам жалко? Да? — ответила она.

Она все время торчала в этом шкафу.

Был еще случай.

На даче появился какой-то молодой человек, какой-то ученик режиссера. Беловолосый, с розовым лицом. Но я сразу понял, что режиссер интересует его меньше всего.

Однажды он отвел меня в комнату и объяснил мне, что он познакомился с ней раньше меня и что не пора ли мне уезжать с дачи.

Противный этот разговор затянулся, так как белобрысый говорил с паузами и недомолвками, а я не стремился его понять. А когда он это заметил, то прошипел мне, что знает о моем семейном положении и примет меры. На это я сказал ему, что передам весь этот разговор старику и интересно, что из этого выйдет. Он сразу осекся.

Я посмотрел на него внимательно. Такой, знаете, беловолосый слизняк без подбородка, аксолотль из подземной речки, а хорохорится.

— Нет свидетелей. Кто докажет? — спросил он.

Он был прав. Свидетелей не было.

Скрипнула дверца шкафа. Тот резко обернулся. Физиономия его исказилась. А я счастливо засмеялся, так как догадался сразу.

Открылась дверца, и из шкафа вылезла она. Тот отступил к стене и замигал своими пороссячими глазками. Белые волосы его стояли дыбом вокруг розового залисого лба.

— Вы бейте его посильнее... — сказала она, проходя. — Он этого не любит. Я пробовала.

И вышла.

Я сказал ему:

— Брысь!

И он исчез.

А мне действительно пора было уезжать.

В этот последний день у нас со стариком был очень важный разговор. О памяти, о фантазии, о вдохновении и о том, чем они отличаются друг от друга. И я ему высказал все, что думаю на этот счет, и все, что думают мои приятели Гошка и Алёша, и о том, как мы до войны пустились на поиски красоты, и к каким выводам пришли, и о письме в Академию наук, и об ответе на письмо, и о том, что я думаю о его картинах.

Он меня не перебивал и только сказал:

— Я был рассчитан на большее количество фильмов.

Потом я спросил его, что он думает о старомодном понятии «душа» и каков, по его мнению, реальный смысл этого слова.

Он мне рассказал, как он задал этот же вопрос одному старику.

— А что, отец, говорят, никакой души нет, что душа — это рефлексы?

— Это у кого как, — ответил старик. — Если человек хороший, то у него душа есть, а если плохой — это точно, одни рефлексы.

Потом он, как всегда, пошел отдыхать, а я собрался выкупаться перед отъездом.

На протяжении всего этого важного разговора мысль о том, что она сидит там в шкафу и слушает, помогала мне. Я держался хорошо. Нет, черт возьми, я действительно хорошо держался. И понял почему.

Исполненный благодарности, я открыл дверцу и заглянул в шкаф.

— Вылезайте, ну... — сказал я. — Поговорим, как мужчина с мужчиной.

Никто мне не ответил. Я отодвинул пиджаки и штаны и увидел некрашеную стенку шкафа. Шкаф был пуст, если не считать проклятых пиджаков. Но разве они могут заполнить пустоту, скажем так — пустоту шкафа? Ее нет. Вот факт. Ничем его не отменишь, и надо уезжать. Меня вдруг пронзила такая тоска, которая в народе зовется смертной. Я ни разу не помирал, но в этот момент понял, какая тоска может пронзить перед смертью.

А потом я пошел купаться на этот дачный пруд, где в будни пытались ловить карасей, а в воскресные дни по всем кустам стояли полуторки с пивом для любителей коллективных выездов на лоно природы, на полянах бухал волейбольный мяч, по берегам лежали кучки одежды, накрытые панамами, а в пруду шевелились разноцветные резиновые головы.

Это был будний день. На берегу я встретил ее.

Стояла такая жара, что можно было разговаривать откровенно. Все тормоза сдали.

Да, я забыл сказать, что она была гречанка.

Мы произносили слово «Атина». Она произносила, а я только пытался.

— Атина, — говорил я.

— Нет, нет!

— Асина? — говорил я. — Нет? Нет?..

— О боже! — говорила она. — Осина. Слышала бы она!

Все плывалось от солнца. Небо было белое, а вода — слепящая до черноты.

Мы пытались произнести слово «Афина» так, как его произносят греки. Не «ф», а среднее между «т» и «с». Имя богини было первое греческое слово, которое я хотел научиться произносить по-гречески.

Какого черта было смеяться? Она должна была гордиться тем, что изучают ее язык, эта чудачка. Господи, ну кто она такая? Были древние греки — они представляли интерес, древние греки, а не просто греки. Просто греки — это просто греки. Они представляют интерес ни больше и не меньше других наций. Греки, подумаешь! Разве может она понять?

Когда я напивался — а это случалось редко, слишком много мне для этого надо было выпить, гораздо больше, чем обыч-

по оказывалось в компаниях, куда меня заносил случай, а так вообще я вел трезвый образ жизни, не пил, — когда я напивался, достаточно мне было услышать греческое слово, чтобы я ушел и рыдал где-нибудь в темноте, в коридоре или на кухне, среди капель из крана и кастрюль, мерцающих в темноте от уличных фонарей.

Какой-то комок вдруг накатывал, поднимался от груди к горлу, и тогда я рыдал даже от такого дурацкого слова, как «канелюры». «Канелюры», — говорил я шепотом и рыдал, захлебываясь, отчаянно и по-мальчишески. «Канелюры», — говорил я, и снова беззвучно и некрасиво распяливал рот, и все старался двумя руками вытереть слезы, а они все бежали и бежали по щекам.

«Канелюры» — это такие бороздки, которые идут вверх по колонне. Вся колонна тогда состоит из натянутых мраморных складок, или пучка каменных струй.

— Канелюры... Я такого слова не знаю, — сказала она. — Это, наверное, не греческое слово.

Молчала бы уж лучше.

Собственно, она и молчит и смеется, и у нее это неплохо получается.

— Ну, ну, не задавайтесь, — говорю я. — Подумаете, гречанка нашлась.

— Почему нашлась? — спрашивает она. — Я не нашлась. А я думаю о своих делишках. Личных. Весьма неудачных.

— Чего вы смеетесь, клякса? — спросил я.

— А знаете, какой мой любимый идеал? — спросила она в ответ и почесала ногу об ногу.

Ну вот, договорились до идеалов.

— Какой? — спросил я.

— Гайдэ.

— Кто?

— Не помните? Не помните?! Гайдэ не помните?

— Чего вы расшумелись, какая Гайдэ? Из «Монте-Кристо», что ли?

— А какая же?

— Ну помню.

Она постепенно успокаивалась.

— Я пойду домой, — сказала она.

— Идите.

— Я пойду домой, — сказала она, повысив голос.

— Знаете что? — сказал я. — Ваш идеал Гайдэ? Ну и прелестно. У вас переживания по этой части? Прелестно. А у меня нет переживаний. Ну и привет.

— Я знаю.

— Что вы знаете?

— Что у вас нет переживаний...

— Много вы знаете, — сказал я. — Тоже мне Гайдэ. У каждой порядочной Гайдэ должен быть свой Монте-Кристо, красавец с седыми висками. А у вас есть?

— Есть.

— Ну да? Кто?

— Вы... — сказала она и убежала.

Ну вот, договорились.

Обычно о таких вещах я догадывался раньше.

Но это и было раньше. У меня тогда было тонкое одухотворенное лицо, и я делал вид, что не знаю, какое я произвожу впечатление, а я всегда знал, и поэтому, когда я спрашивал: «А я вам сильно нравлюсь?» — та с разбегу отвечала: «Да». Только, несмотря на одухотворенное лицо, художник я тогда был плохой.

Теперь у меня сладко заныло сердце. Я уже со всеми своими личными делишками отвык от этого ощущения. Да, здорово все-таки узнать вдруг, что ты произвел впечатление на такую кляксу.

Старался ли я произвести впечатление? Безусловно. Применил ли я хитрости? Применял. И подчеркнутая грубость, и нотки горечи, на которые клюют невинные кляксы, то есть весь антураж, вся старая бутафория.

Нечестно? Как сказать. И да и нет. А честно вот что.

Где-то в душе, в самой глубине, жила боль, что ничего не может быть. На что можно рассчитывать? На почтенье? И все? Потом они обычно выходят замуж, и это остается у них светлым переживанием. Потом они говорят: «За мной ухаживал один художник». Я почти не встречал женщины, которая бы не могла сказать, что за ней ухаживал один художник. Я не хотел быть ничьим переживанием и меньше всего ее. Жирно будет считаться светлым переживанием ее юности. Жирно будет. У меня таких, как она, было сто штук. Вранье. Таких, как она, не было.

Дело не в юности ее. В ней было что-то от Греции. От той старой светлой Греции, которая заставляла меня рыдать, когда я пьяный, и твердо стоять на земле, когда я трезвый.

Я уехал.

Неделю я ломал себя, пытался задушить воспоминание, не смог.

Я совершил велосипедные прогулки, радиус которых все удлинялся, пока однажды я не обнаружил, что еду по тихой асфальтированной дорожке прямо к даче режиссера.

Я слез у калитки и заглянул внутрь. Дача была пуста. Только огромная собака вышла из конуры и посмотрела на меня внимательно.

Я пошел обратно на подгибающихся ногах и держась за велосипед — такое меня было волнение.

На проссе я увидел летящую навстречу машину. Только когда она приблизилась, я понял, что едут она и старик.

Глаза ее расширились мне навстречу, как два цветка, и она все смотрела на меня, пока приближалась машина.

Старик сидел рядом с шофером. Я поклонился им и сделал вид, что я прогуливаюсь в этих местах. Машина укатила.

Через двое суток вочных известиях я услышал по радио, что умер великий режиссер.

Потом были похороны, и я сам вытаскивал гроб из серого автобуса с черной полосой, а потом стоял в почетном карауле.

Тихо играли скрипки, плакали люди, и его было еле видно среди цветов и лент.

Когда все кончилось, я остался один. Совсем один. Совсем. Этой девушки я больше не видел никогда и даже не знаю, кто она такая, так как ни о чем не расспросил ее, а теперь спрашивать было некого.

Через месяц, когда я оправился после потери, ко мне привели мои приятели Гошка и Алеша, у которых тоже были свои неудачи, и Гошка сказал:

— Судьба похожа на сумасшедшего — визжит, плачет, смеется, ухает, сопит, чавкает, — и ни одного приличного звука.

— Что ты считаешь приличным звуком? — спросил Алеша.

— Между прочим, не то, что ты думаешь, пе музыку.

- Я не думаю, — сказал Алеша. — А что?
- Когда вдали летним утром деревья стоят в росе, а вдалеке бьют молотом по наковальне.
- Ух ты!.. — сказал Алеша.
- А что?
- Здорово...
- Представляешь? — спросил меня Гошка.
- Да, — сказал я.
- Знаешь, какой звук? Когда хочется подхватить: «Мы кузнецы, и дух наш молод, — сказал Гошка, — куем мы счастья ключи».
- Да, — сказал Алеша. — «Вздымайся выше, наш тяжкий молот... в стальную грудь стучи, стучи...»
- Да, — сказал я. — Надо работать.

А потом мы пошли и здорово так запели, сначала тихо, а потом, когда вышли за город, громко, и все повторяли один куплет, потому что забыли остальные.

А сейчас я случайно встретил ее в гостях.

— Меня зовут Костей, — сказал я, когда мы удрали с вечеринки.

— Господи, — сказала она. — А вы меня, конечно, не помните...

Конечно, я ее помнил.

Я пожал ее руку — очень вежливая мягкая рука. Потом мы поболтали о том, о сем, а потом я с ней попрощался и усадил ее в машину, и она уехала домой. А я вернулся на вечеринку. Я уселся в угол и стал тихо-тихо смотреть телевизор и все старался забыть ощущение, которое пронизало меня, когда я пожимал эту тихую вежливую руку и на одном из нежных пальцев почувствовал гладкое кольцо.

Как вы думаете, зачем я рассказал эту печальную и обыденную историю о том, как человек не понял другого, не догадался, прошел мимо красоты, а потом удивляется, что ему не сладко, когда обнаруживает, что веселая птица-счастье окольцована чужим кольцом?

Нет. Не угадали. Я рассказал эту историю потому, что, когда я познакомился с ней, мне было тридцать два года, а ей шестнадцать. А сейчас не за горами конец двадцатого столетия.

Давайте поговорим о чем-нибудь таком. О звездах, например, или о дорогобужском сыре — как его есть, снимать ли серебряную фольгу перед тем, как резать, или совсем наоборот — оставлять ее? Или поговорим о том, как парочки целуются в подъездах. Только не стоять на месте. Двинемся, граждане, двинемся.

Все дело в том, что неизвестно, какое твое движение может решить проблему, поставленную жизнью. Ведь даже отсутствие движения — это движение. Ничто не останавливается, пока ты сидишь и ждешь. Все движется вокруг и, проезжая мимо тебя, само возьмет да и привезет тебя к цели. Только вся беда в том, что оно привезет тебя совсем не туда, куда тебе надо. А кстати, что такое это «надо»? Ты-то сам знаешь, что тебе надо?

А ведь все-таки стремишься.

Когда человек сидит на станции, он стремится к чему-то определенному, и он мчится к нему со скоростью поезда, приближающегося к этой станции. Но тут нужно быть уверенными в расписании.

Короче говоря, все сводится к простому вопросу, и потому ответ на него непонятен: как запрограммировать судьбу?

Я сидел и смотрел телевизор, где показывали тошнотворно хорошую программу, и думал: зачем мне эта программа, если это чужая программа и в ней запрограммировано чужое представление об удовольствиях, не совпадающее с моим?

Я сидел и думал: на что я надеялся, когда увидел, как она опустила журнал и посмотрела на меня, какова моя собственная программа удовольствий, ежели мне не годится рекомендованная, и почему, собственно, меня так поразило это тысячепудовое кольцо у нее на пальце?

Какие чувства я испытал, когда обнаружил кольцо? Такие же, как и вы. Привычные. Я, конечно, не содрогнулся, обнаружив это кольцо, не застонал, не заскрежетал зубами и не упал без чувств. Просто, пожимая ей руку, я сказал:

— Ну вот.

Она посмотрела на меня снизу вверх, потом вздохнула, а потом сказала:

— Да...

А потом сказала:

— Да, да...

А потом пожала плечами.

А потом я посадил ее в машину и погрузил туда же тысяче-пудовое золотое кольцо, и прежде чем захлопнулась дверца, я успел швырнуть на заднее сиденье свои дурацкие надежды. Надежды на что?

А потом я иду обратно в гости, и так как я уже сыт по горло, то я стараюсь смотреть по телевизору тошнотворно прекрасную, совсем не подходящую мне программу и занимаюсь тем, что пытаюсь убить время, а оно себе течет и течет, и ему до нас столько же дела, сколько нам до марсиан.

Я выгляжу лет на сорок и чувствую себя соответственно, а жить мне полагается еще минимум столько же. Тысячу лет люди искали эликсир молодости, а он оказался под носом. Черт возьми, кто мог подумать, что основная причина преждевременного старения — это ложь, обыкновенная человеческая лживость.

Ложь как следствие хитрости, которая спасала человека от врагов, оказалась главным врагом, главной причиной старости. Первыми додумались до этого мы с Гошкой и Алешей, только нам никто не поверил тогда. А потом все, конечно, подтвердились.

То раздвоение личности, в котором жил человек, когда он всю жизнь говорил не то, что думал, то есть всю жизнь был кувалдой по самым тонким и чувствительным своим приспособлениям, по своим анализаторам целесообразности, которые поставляют данные для интуиции, то есть для третьей сигнальной системы, был по творчеству, по вдохновению, — это раздвоение личности оказалось причиной необратимого разрушения самой этой личности, сиречь старостью.

Ну все перепробовали. И физику, и биологию, и химию, и биофизику, и биохимию — забыли только этику, которая и наукой-то не считалась.

А оказалось, выход простой, как репа: не лги — проживешь дольше. Но вот это-то и оказалось труднее всего.

Обнаружилась странная вещь. По улицам ходили бывшие старцы, которых уже нельзя было отличить от молодых, потому что они научились говорить правду и тем отхлопотали себе двойной срок жизни.

И в этот момент обнаружилась еще одна странная вещь. Оказалось, что говорить правду окружающим гораздо легче,

чем самому себе. Вот что обнаружилось, граждане. Вот что было ужасно. Оказалось, что благодаря предыдущему воспитанию накопилось такое количество общих мест и штампов мышления, что бедная человеческая единица, пытаясь сказать самому себе правду о собственных желаниях, не могла понять, чего она действительно хочет, а что ей только кажется, что она хочет или должна хотеть. Потому что без правды о своих желаниях нельзя было установить правду о форме своей личности, то есть о своем характере. То есть о той особенности своей, которая сможет расцвести неповторимым цветком и сделать счастливой самое личность и окружающих ее.

А выход опять был под носом, и мы с приятелями, видимо, знали о нем, но помалкивали по многим немаловажным причинам, не последняя из которых была та, что нормальные люди могли посчитать нас сумасшедшими.

«Любопытно только, что она и сейчас выглядит, как будто ей сейчас двадцать лет», — сидя у телевизора, думал я об ушедшей женщине. Видимо, она научилась не врать гораздо раньше меня. А что толку? Обыкновенная женщина. Какая там древняя Греция!

Теперь внимание. Теперь сюжет этой обыденной истории начинает делать головокружительный поворот.

Только я подумал о том, как она молодо выглядит, и это, наверно, потому, что она научилась не врать раньше, чем я, и потому разрыв в возрасте, который так и испугал меня когда-то в незапамятные времена, теперь еще увеличился и мы все отдаляемся друг от друга со скоростью непреодоленной лжи, — только я об этом подумал, как (внимание!) дикторша последних известий, улыбаясь, начинает читать по бумаге, которую кто-то ей положил на стол, что в районе Караганды опустился межпланетный корабль неземного происхождения.

А потом дикторша из телевидения перестает улыбаться и, запинаясь, читает второй раз то же самое сообщение, а потом экран выключают и появляется табличка — технические помехи, а потом экран снова вспыхивает и мужчина-диктор с некрасиво пляшущей челюстью в третий раз читает то же самое сообщение, и тогда мы помаленьку начинаем соображать, что это не надоевшая всем телевизионная хохмочка, которую называют режиссерским приемом, что-то вроде горчички на скучной сосиске обыденной информации, а что все это правда, и что

кто-то прилетел наконец, и спрашивается — что теперь с этим делать, а?

Дальше расскажет физик.

## Слишком долгое ожидание. Рассказывает Алеша Аносов по прозвищу Рыжик. Крах второй

Мы сидели у Памфилия и пытались привести его в себя, разговорить, а он все не поддавался, посыпал нас изредка нехорошими словами, а когда мы поднимались уходить, он отворачивался к стенке на своей бугристой тахте, и тогда мы слышали дыхание его прокуренных легких, и тогда мы шли от дверей обратно и глядели на его затылок, который был выразительней его лица, так как лицо его ничего не выражало во все, а затылок выражал хотя бы презрение к нам, так ничего и не понявшим.

И так мы танцевали от двери к тахте некоторое долгое время и все больше увязали в липучей паутине бессмысленности. И потому, когда раздался осторожный стук в дверь, мы, честно говоря, обрадовались.

— Да! — крикнул Костя. — Да, входите!

— Хоть какая-то живая душа, — сказал я. — Слава богу.

— Да! — крикнул Костя. — Да! Входите!..

Дверь приоткрылась, на пороге стоял невысокий человек в берете. Мы смотрели на него, он на нас.

— Здравствуйте, — тихо сказал он.

— Закройте дверь! — рявкнул Гошка, не поворачиваясь. — Дуэт...

Человек вышел и закрыл дверь с той стороны.

Мы переглянулись.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Костя, идя к дверям.

Человек стоял на лестничной клетке и ждал.

— В чем дело? — спросил Костя. — Почему вы ушли?

— Вы сказали «закройте дверь».

— Недоразумение, — сказал Костя. — Войдите.

Тот вошел и снял берет.

— Меня направили к вам, — сказал он мне. — Я ваш новый...

— Ко мне? — удивился я.

— Извините, я продолжу... — сказал он. — Я ваш новый ассистент.

— Так. Слушаю вас, — сказал я.

— Извините, это все, — сказал он.

— Немного, — сказал я.

— Извините.

Костя посмотрел на него внимательно.

— Странные у тебя ассистенты.

— Начальству виднее, — ответил я Косте и обратился к нему: — Подождите нас.

— За дверью? — спросил ассистент.

Я откашлялся.

— Гоните его к черту, — сказал Гошка, и мы увидели его блестящие глаза, обращенные к ассистенту.

— Не обращайте внимания, — сказал я этому человеку. — Сядьте куда-нибудь.

— Извините, а куда? — спросил тот.

— К черту! — сказал Гошка.

Мне хотелось сказать то же самое, но я сдержался.

— Вы плохо начинаете, — сказал я ему. — Мне нужны инициативные сотрудники.

— Он смущается, — сказал Костя. — Не тронь его. Вы смущаетесь?

— Не знаю, — сказал ассистент.

Костя побагровел.

Я взял ассистента за руку и подвел к креслу в дальнем углу.

— Садитесь. Почитайте вот это... — я сунул ему в руки журнал. — Здесь есть статья об инициативе. Вам будет интересно.

— Я почитаю, — сказал он.

Мы подошли к Гошке.

— Зачем вы оставили его здесь? — сказал он. — Он мне не нравится.

— Гошка, — сказал я, — кончай все это. Надоело. Старый ты уже для таких штучек.

— В том-то и дело, — сказал Гошка. — Вы болваны. Не поняли, что произошло.

Он ошибался. Мы прекрасно все понимали. Не хуже, чем

он. Только мы сдались, а он нет. Вот в чем дело. И то, что он не сдался, было хуже всего. Чересчур все это напоминало безумие. И сейчас Гошка прощадал.

Я не верю в то, что человек состоит из пищи, которую он ест. И я не верю, что можно заменить слово «душа» словом «психология», а потом считать ее решающей системой.

Душа, а проще сказать, личность человека, это, видимо, все-таки не просто система, даже самая сложная. Хотя бы потому, что любая система может и не работать, если питание отключено, и все-таки оставаться системой. А личность человека, его душа, это процесс, работа. И устойчивость ее — это не устойчивость камня, лежащего в овраге, а динамическая устойчивость волчка, гиростата, сопротивляющегося отклонению. Или, скажем, остановите течение реки, и вода останется, а река исчезнет — будет пруд.

Я не верю в статику души. И потому я считаю, что искусство всегда держалось на исключениях. С нормой ему делать нечего. Норма — это инструкция. Может быть, я считаю, что искусство занимается патологией? Нет. Просто искусство интересуется теми исключениями, в которых оно предчувствует норму более высокую, чем обыденность.

Возьмите любой образ, самый реалистический и достоверный. Ну хоть Наташу Ростову, например. В финале она добродетельная самочка. А поначалу она обещала норму более высокую и потому была исключением. Обещание не выполнено, и читать про это неинтересно. Почему любят детей? Потому что они обещают. Отнимите детское у короля Лира, и останется вздорный старик, псих ненормальный.

Гошка был исключением из правила и потому погибал. И погибал он из-за этого проклятого марсианина, ничем, казалось, не отличавшегося от людей.

То есть, конечно, он прилетел не с Марса, но название его планеты почти невозможно выговорить, поэтому его стали называть марсианином. Ведь называли же па Руси немцами всех иностранцев. Не правда ли?

Помните, что произошло, когда прилетел марсианин? Ну вы же прекрасно помните. Немногие тогда понимали весь обыденный трагизм случившегося.

Праздновали, торжествовали, печатали статьи и интервью.

Шуму и треску было столько, что все уже начали уставать, как при затянувшемся кинофестивале. И вот тогда никто еще ничего не понял, не поняли смысла того, что произошло, но уже ощущали — что-то случилось.

А потом разом прекратились все сообщения, перестали печатать портреты этого, — хотел сказать, человека — марсианина.

Волнение медленно угасало. Какое-то время оно поддерживалось на Западе смутными слухами о неких особых данных, которые он сообщает сейчас ученой и правительственной комиссии. Все ждали сенсационного коммюнике, и возникли даже страхи. Но когда оно было опубликовано, это коммюнике, страхи утихли, и все успокоилось.

В коммюнике говорилось, что марсианин сообщил чрезвычайно важные научные данные о марсианском обществе, о природе и энергетическом потенциале планеты, что, как предварительно удалось выяснить с помощью электронного перевода, на Марсе существует единая общественная система, что Марс не знает войн и потому настроен дружественно к обитателям Земли, что марсианин в настоящее время проходит курс изучения языка, после чего Академия наук будет печатать многотомное исследование, основанное на данных, сообщаемых марсианином, и потому вклад его в науку неоценим. И все. Ну вы же помните.

И все.

И тут, наконец, все поняли, что произошло.

А произошло вот что.

Как там ни крути, а в душе каждого человека живет смутное представление о необыденном.

Смутное потому, что точных критериев необыденного нет.

Может быть, его главный признак — новизна, думают некоторые. Нет, постоянно возникают изобретения, которые вчера казались невозможными. Лазер был сенсацией некоторое время, потом стал обычным, как бормашин. Луч и луч, и какая разница, что он там прожигает. Волнения он вызывает уже не больше, чем телевизор. В чем дело? А дело в том, что любая техническая новинка — это орудие, инструмент и человек его использует и не считает необычным. Почему? Потому, что человек любой свой инструмент ощущает средством, а себя

целью. Человек не может долго восхищаться средством, так как ощущает любое средство ниже себя.

И потому произошла ужасная вещь.

Если марсианин прилетел сюда сообщить научные данные, то грош цена этим данным, если рухнул некий неопределенный идеал необыденности, который втайне каждый относил почтенно-то к Марсу. В том-то и дело, что прилетел.

Прилетел и стал давать автографы. И вся столетняя мечта о другом, недостижимо необыденном мире рухнула. Вся она свелась в общем к нормальному интервью:

— Ну как поживаете?

— Ничего.

— Расскажите слушателям, как вы добились таких результатов.

— Сначала у нас ничего не получалось, но потом...

Стоило мечтать о прилете марсиан, чтобы услышать разговор типа:

— Ну как у вас с продуктами?

— Ничего. А у вас?

А как же «Аэлита»?

О господи! Стоило дожидаться столько лет встречи с пришельцем, чтобы увидеть на всех экранах этого молодого человека, которых у нас самих пруд пруди.

Интерес к нему держался до тех пор, пока еще ощущалось, что вот он марсианин, а поди ж ты, ну совсем как мы с вами, и еще некоторое время, пока ожидали сенсационных сообщений. А когда началась нормальная научная работа и стало известно, что их жизнь отличается от нашей только деталями совершенно несущественными, если вспомнить, что речь идет о Марсе (о Марсе!), то все поняли — ничего не произошло. И это самое страшное.

Вы же помните прекрасно, как все пережили тяжелый, ни с чем не сравнимый психологический кризис.

Конечно, все давно уже поняли, что нечего ждать милостей от природы и прочее и человек должен сам совершенствовать себя и свою жизнь, не надеясь на варягов. Все так. И казалось бы, уже примирились с этим. Все так, ноказалось, казалось все же... Вдруг обнаружили, что в душе у каждого жил, а теперь умирает ребенок. Который верил в Деда Мороза и Снегурочку, верил в необыденное. А тут прилетел обыкновенный молодой человек, и рухнула иллюзия. Приехал молодой человек

и привез кое-какие новинки техники, сообщение о том, что с продуктами у них там неплохо и профсоюзные взносы уплачены за отчетный период, есть, конечно, кое-какие недоборочки, но в основном дела идут хорошо и дружными усилиями они избавятся от всех недостатков в ближайшую тысячу лет.

Мир повзрослел как-то сразу в течение нескольких дней.

Ладно. Детство прошло. Но наступило зрелое мужество. Надо было принять, примириться и думать о том, что делать дальше.

Теперь надо вернуться к этому проклятому клоуну Памфилию.

Вы, конечно, помните, что он говорил о той древней скульптуре?

То, что он говорил, достаточно хорошо известно, так как в свое время над этим много смеялись.

Он говорил, что всякий образ, родившийся в мозгу человека при известных условиях, может материализоваться в реальной жизни самостоятельно, так как будет создан по тем же законам, которые образовали его в мозгу человека.

Ну, посмеялись и забыли.

И только Гошка свято верил, что эта скульптура неземного происхождения, оставленная нам на память, и что была женщина, прилетала и улетела назад, оставив после себя головокружение и тоску.

Мы сначала тоже не придали значения тому, что сказал Памфилий. Он поэт, и ему это полагается. «Ничего, — подумали мы. — Из этого всего получится, может быть, стих, а может быть, песня. И Гошка освободится».

Практика показала обратное.

Оказалось, что мы его еще мало знаем. А кого мы хорошо знаем, хотел бы я спросить? Может быть, себя мы хорошо знаем? Я пощупил, конечно.

Не получилось ни песни, ни стиха, а пришло письмо от Кати, моей жены.

Я тогда был в очень сложной командировке и, как всегда, заканчивал монтаж, как всегда, удивительно прекрасной схемы. Сколько я их состряпал за свою жизнь, одна лучше другой, но ничего существенного в мироздании от этого не произошло. Правда, на этот раз, кажется, тут действительно было нечто стоящее, и поэтому выбраться мне было затруднительно. А надо было. Потому что в письме было написано:

«Приезжай, Гошка пропадает».

Да, не получилось песни.

На этот раз песня обернулась острием внутрь, и Гошка пропадал.

Он пропадал потому, что все оказалось неправдой.

Разве так он представлял себе этот прилет?

Что угодно он мог себе представить, только не прилет этого заурядного марсианина, которому так обрадовались все мы, а потом постарались позабыть и о нем и о разочаровании. Ничего. Обошлось. А у него не обошлось.

Сейчас надо рассказать о том фокусе, который он проделал с нами много лет назад.

Когда Гошка пришел к мысли, что образ возникает в мозгу по тем же законам, что и его жизненный прототип, и что, стало быть, все, что возникает в мозгу, может при известных условиях повторяться в жизни, он обрадовался и успокоился.

Ну как же? Если изобретатель представляет себе во всех деталях двигатель, который он нигде не мог увидеть, то этот двигатель можно построить и он будет работать. Тут, правда, вмешивается воля и в момент воображения и в момент воплощения. И поэтому это пример элементарный. А образ возникает независимо от воли, и материальное подобие этого образа должно возникнуть независимо, значит надо ждать, пока законы, которые вызвали в мозгу этот образ, сами создадут его реальный прототип. А сколько ждать? Может быть, жизни не хватит? Может быть. Иногда простое ожидание — героизм.

И Гоника ждал. Но годы или, люди занимались делами дня, и ожидание становилось пеленым. Мепялись взгляды, делались открытия, ветер возвращался в круги своя, а Гошка ждал. Он начинал становиться анахронизмом.

Человечество трезвело, а «рыцарь Гринвальюс все в той же позиции на камне сидел», и над ним смеялся Козьма Прутков.

И тогда, много лет назад, мы, как и теперь, пришли к Гошке и тоже сразу поняли, что дело неладно.

Глаза у него лихорадочно блестели, трубка у него гасла, и на однушку табаку он тратил полкоробка спичек.

Комната у него была чисто прибрана, на столе стояли цветы, и через каждую фразу он оглядывался на дверь. А ког-

да он молчал, на его лице было такое выражение, будто он говорит быстро и жалобно.

Мы ему тогда сказали примерно то же самое, что и сейчас:

— Гошка, кончай это дело. Фантазия фантазией, но надо заниматься земными делами. Посмотри на себя — ты похож на ненормального.

— А что есть норма? — спросил он, и посмотрел на дверь, и привстал.

Мы тоже оглянулись. Дверь как дверь, белая и убедительная.

— Кого ты ждешь? — спросили мы.

— Ее, — ответил он.

Мы, помню, начали о чем-то допытываться, но услышали сначала бормотанье, а потом он вытер лицо и начал рассказывать спокойно и как бы удивленно.

Из нас троих Гошке больше всех было свойственно интуитивное мышление. Во всяком случае, у него эта третья сигнальная система работала чаще, и догадки его были неожиданнее, чем это бывало у нас. Оправдывались и подтверждались самые странные его идеи.

Я уж не говорю о нашумевшем его предсказании насчет золотых рудников в районе Джиланчика. Это когда он еще занимался поисками дьявола, а нашел зеркало. Все тогда отнеслись к этой догадке как к очередной мистификации. А когда через некоторое время здесь открыли самые мощные золотые пласты на земле и появилась статья в «Комсомолке» — «Сокровища красных песков», — о его догадке постарались забыть.

Но совсем забыть не удавалось, и отношение к Гошке было странное, какое-то раздраженно-боязливое. Ну не может же быть, чтобы человек вот так, за здорово живешь, без всяких исходных данных взял да и предсказал геологическое открытие? И не то чтобы сделал геологическое открытие, а предсказал самое возможность этого открытия.

Но все дело в том, что интуиция — это вовсе не отсутствие исходных данных и фактов. Она просто опирается на факты и связи настолько тонкие, что они прямо входят в подсознание, минуя размышление, и поэтому кажется, что они взяты с потолка.

Он посмотрел в потолок.

— Не кажется ли вам, что это произойдет через несколько минут... может быть, уже произошло... — сказал он с жуткой убедительностью.

— Не сходи с ума...

— Не заметили ли вы сегодня странную многолюдность на улицах? — спросил он. — Отвечайте, не увиливая, ну?

Мы молчали.

— Заметили, конечно, — сказал он. — Только трусите признаться.

Мы действительно заметили и потому теперь начали трусить.

— Смутные слухи, — сказал Гошка. — Смутные слухи. Я ехал в такси, и шоферша молодая рассказала мне о пункте, куда ей надо будет мчаться в случае начала войны. Понятно? — спросил Гошка.

Мы молчали.

— Потом милиционер остановил такси, — сказал Гошка. — Это было начало паники. Город сейчас как огромная гостиница. Все знают, как поступать в случае налета. А на самом деле это прилет пришельцев. Я об этом сразу догадался. А потом передали по радио, что население должно быть готово к атомным взрывам или аннигиляции... Ну, вы смотрите, как разворачиваются события... Тосклиwyj ужас перед крахом человечества и в то же время жуткое любопытство, которое я заметил у окружающих и которое передалось мне... Потом это предупреждение по радио — они прорвались.... То есть где-то на Западе их ракеты приняли за враждебные земные, и по всем вычислениям плоского разума их надо встречать плохо, так как вычислено и подтверждено, что они принесут гибель... Поэтому и авангардные бои, и кого-то уничтожили из пришельцев, и теперь приближались мстители.

Фосфоресцирующее ночное небо в облаках и ощущение того, что где-то уже ведутся бои...

Колебания: уже пора идти в убежище или еще нет...

Трусливое бегство от лишних в этих условиях действий и элементарных услуг друг другу — как-нибудь сами пусть выпутываются — и тут же удерживают себя от таких мыслей.

С одной стороны распадение связей — какая разница, что подумают о тебе, если скоро, может быть, всех нас не станет, с другой — тоска и ярость против приближающейся разлуки.

Ночь. Вдруг все заледенели. На небе засветился круг с размытыми краями... Сфокусировался — часы светящиеся...

Стрелка пошла по кругу: нам показывают, сколько осталось, догадался кто-то... И вдруг все поняли и заледенели.

«Это уже они показывают, сколько осталось».

Что осталось: до встречи или вообще — существовать?..

Человек борется не столько с природой, сколько с плодами собственной фантазии. Которые, впрочем, тоже есть природа.

Когда ракета опустилась, открылся люк, и вышла ОНА.

Та самая, что 12 тысяч лет назад. Пустяки. Не произошло ни атомного взрыва, ни аннигиляции. Ничего не случилось, если не считать удара красоты, который ощутили все, даже те, кто за всю жизнь не произнес этого слова, даже ледяные красавицы сезона ощутили это, даже старики, интересующиеся только омлетом, даже кретины, ковыряющие в носу, ощутили этот удар понимания, эту бесспорную и безошибочную красоту.

Особое несловесное понимание, безошибочность, тающая нежность исходили от нее, как сияние. Даже тем, кто стоял далеко в толпе, даже тем, кто смотрел в окошки телевизоров, было понятно, что ее кожа под рукой как ветер.

Засмеялась.

«Сейчас», — сказала она, и каждый услышал это на своем языке.

Приложила руку ко лбу. Начала медленно говорить.

Толпа притихла.

Вибрирующий голос.

Отстранила услужливо подсунутый микрофон. Голос без усилия доходил до каждого. Видимо, усиление совершалось каким-то другим путем. Все поняли: никакой вражды не будет, на стрельбу ей наплевать, они шли на это, предполагали страх и ошибку.

Подошла к клетке ревущих зверей. Откуда эта клетка? Ракета мягко, не колыхнув воды и не спугнув лебедей, опустилась посреди пруда в Московском зоопарке, и утятя помчались к ракете желтыми стайками.

Она открыла клетку. Ужас охватил людей.

Львы, рыча, кинулись наружу, тяжко сшибая друг друга, и с воем начали подползать к ней — как будто узнали.

Крокодилы, сопя, ползли к ней, скрипя песком, трущимся о чешуйчатые брюхи. Передний открыл пасть, как при зевоте.

Она положила между челюстями тонкую руку. Он не захлопнул пасть. Она засмеялась и оглядела всех.

В толпе послышался стон. Люди начали становиться на колени...

— Перестань! — закричал Костя.

Памфилий замолчал. По щекам у него бежали слезы.

— Псих ненормальный,— сказал Костя. — Ты же сумасшедший совсем. С тобой потолкуешь и сам свихнешься.

— Откуда ты набрал все эти подробности? — спросил я.

— Видел,— сказал Памфилий.

— Где?

— Внутри себя.

— Бред.

— ...И на улице,— сказал Памфилий.— Вы же видели толпы на улицах?

— Сегодня праздник авиации,— сказал Костя.— Гошка, опомнись...

— Да, праздник авиации,— сказал Памфилий.— Подожди, дай я докончу. История не окончена... После того как я рассказал все это вам, и вы сочли меня сумасшедшим, и я на это ответил вам, что все это просто фантазия, а мало ли фантастики печатается сегодня, и вы с этим согласились,— после этого мы включаем радио, и тут диктор скажет: «Передаем чрезвычайное сообщение,— и голос у него задыхающийся.— Президиум Академии наук,— скажет диктор,— сообщает, что радиотелескопы обнаружили межпланетные корабли, и они приближаются...»

Он замолчал. И мы не знали, что сказать на это. Как он цеплялся за свою фантазию! Он уже и нас включил в нее, и мы уже стали элементом рассказа. Но это все-таки был рассказ. Как говорил Олеша: рассказ это все, что рассказано. На улице был белый день. Реальная жизнь шумела на улице, а здесь несчастный парень пытался материализовать фантазию. Зачем?

— Зачем?

— Я люблю ее, братцы,— сказал он.— Вот в чем штука.

— Кого, чудак?

— Ту, которая прилетит...

— Ладно,— сказал Костя.— Тут пути нет. Разве что в безумие. Ты становишься маньяком, Гошка. Вернемся к реальной действительности.

Он включил радио. Нормальное московское радио.

— Вот послушай реальные известия, — сказал он. — Кто где что посеял и что из этого выросло. После всей болезненной чепухи это звучит райской музыкой.

И тут диктор, реальный диктор, а не выдуманный, реальный московский диктор сообщает о непонятных сигналах из космоса, обладающих периодичностью в сто с лишним дней. И что среди всех хаотических сигналов космоса это первые сигналы с устойчивой характеристикой. И что многие советские ученые не исключают возможности их искусственного происхождения... Ну, вы все, конечно, помните это сообщение. Обидно только, что никто теперь не поверит, что Гошка рассказал нам свою фантазию о сообщении раньше, чем оно произвучало по радио.

Мы ничего не понимали. Чересчур это напоминало продолжение Гошкиного рассказа, и хотелось проснуться.

Мы посмотрели на Гошку. Он смеялся. Морда у него была спокойная и довольная.

— Ну вот, — сказал он дружелюбно. — Я же говорил вам, а вы не верили. Я знал, что сегодня должно случиться что-то в этом роде.

Поглядев на наши лица, он сказал.

— Выпейте водички. Еще посмотрим, кто из нас псих. Попшли куда-нибудь, закажем и съедим большую еду. Я помираю от голода.

Он потянулся с хрустом.

— Я не гордый, — сказал он. — Теперь могу подождать, сколько нужно. А вы балды, братцы кролики. Сами придумали третью сигнальную систему, а сами боитесь ею пользоваться. Чуть меня с толку не сбили.

Вот как было много лет назад. Так здорово пачиналось. А что из этого вышло?

Случилось самое фантастическое — прилетел этот научно-промышленный марсианин.

— Ну и что хорошего? — спрашивал Гошка.

Ладно, пора прощаться с детством. Я имею в виду детство человечества.

Кстати, этот тип, мой будущий ассистент, присланный певесть откуда и невесть каким начальством, так и сидел в углу, куда я его посадил с журнальчиком. И он был нам совсем не пужен сейчас, и только моя врожденная вежливость не из-

воляла мне спросить его сразу, что ему, собственно, здесь нужно и почему он не пришел мне представляться в лабораторию.

- Послушайте, почему вы пришли сюда? — спросил я его.
- Мне сказали, чтобы я разыскал вас, и я разыскал...
- Имелась в виду лаборатория.
- Мне никто не сказал этого, — ответил он.
- А сами вы не могли догадаться? — спросил Костя. Он пожал плечами. Меня начал бесить этот жест.
- Боюсь, мы с вами не сработаемся, — сказал я.
- Почему? — спросил он.
- Я вам потом объясню, — сказал я. — Вы прочли то, что я вам дал?
- Да.

Я ему дал статью, где убедительно доказывалось, что, несмотря на развитие кибернетики, человеку полагается думать.

- Вы согласны с тем, что там написано? — язвительно спросил я.

Он пожал плечами.

- Он пожимает плечами, — сказал Костя. — Почему вы пожимаете плечами?

- Вы спросили меня, согласен ли я... — робко сказал он.
- Ну?
- Я этим движением хотел показать, что я не понял...
- Чего не поняли? Согласны вы или нет?
- Я не понял того, что я прочел... — тихо сказал он.
- Не поняли то, что вы прочли?.. А что, собственно, там можно не понять? — спросил я. — А почему, собственно, вы держите журнал вверх ногами?

— Вы мне его так дали... — робко сказал он.

Он как взял журнал вверх ногами, так и пытался его читать. Он в нем ничего не понял. Мы глядели на него ошеломленные.

- А... почему, собственно, вы не могли его перевернуть?.. — тихо спросил Костя.

Он посмотрел на Костю снизу вверх, и робко улыбнулся, и пожал плечами.

Тогда Гошка вскочил с тахты, схватил его за шиворот, выволок из комнаты, протащил его по лестнице и вышвырнул на улицу.

Потом он вернулся, потрогал стены, стол, потолкал тяже-

лое кресло, как будто хотел убедиться, что все прочно стоит на местах.

— Не люблю фантастику,— сказал он и вытер руки о штаны.

Костя повернулся от окна.

— Он там внизу ждет,— сказал он.— Сигналит.

— Узнай, что ему нужно? — сказал я.

Костя открыл окно.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Я у вас забыл берет, — ответил ассистент.

Гошка схватил берет и вышвырнул его на улицу.

— Не человек, а какой-то марсианин,— сказал он.

Тут позвонил телефон, и Гошка снял трубку.

— Тебя,— сказал он мне.— Начальство.

— Что они все, сбесились? У меня выходной день...

Слушаю.

— Ну как? — спросил голос в трубке.

Это академик Супрунов из отделения биофизики.

— Что — ну как?

— Как вам понравился ваш новый ассистент?

Потом он мне все объяснил, что и как и зачем все это было нужно, и выходило, что я сам выпросил себе такого ассистента потому, что моя работа по расшифровке сигналов мозга требует как раз такого ассистента. Я и мечтать не мог о таком.

— Братцы,— сказал я ребятам.— Братцы... Гошка, знаешь, кого ты вышвырнул за дверь?

— Кого? — спросил Гошка.

— Марсианина...

— То-то мне его лицо показалось знакомым до отвращения,— сказал Гошка.

## Привет тебе, Аврора. Рассказывает Аносов. Крах третий

Я посмотрел на часы и тут же забыл, который час.

Совершенно очевидно, что они сегодня не прилетят.

Колючие звезды шевелились в черном небе. Корыто локационной антенны вращалось как бешеное.

Ждать и догонять труднее всего, ждать и догонять. Мы

сильно продвинулись вперед и, по-видимому, догнали их. Теперь оставалось только ждать.

Весь мир ждал. И мы ждали. После того что произошло с первым прилетевшим марсианином, у нас для этого были все основания. Сейчас, когда они должны прилететь и уже нет возможности повлиять на события, особенно важно припомнить все подробности того, что случилось в эти последние безумные несколько часов.

Поначалу ничего не было заметно. Поначалу казалось, что этот паршивый марсианин не был таким паршивым.

Суть дела состоит в следующем. Люди должны понимать друг друга. Координация стремлений, согласование, совпадение желаний — это и раньше было важно, но считалось как бы частным делом и решалось на семейном уровне. Сейчас с исчезновением классов и классовых столкновений вопросы взаимопонимания вышли на первый план. А что у человека для понимания? Язык слов? Язык жестов? Язык мимики? То есть понимание человека человеком держится по-прежнему на догадках. Оцениваем жесты, симптомы, статичные признаки, ищем подтексты в словах, догадываемся, что они означают на самом деле. Хаос, дисгармония.

Я человек реальный, не фантазер. У меня сказано — сделано. У меня тоже своя идея, которую я тащу через всю жизнь. Но только в отличие от Кости и Памфилия идея моя практическая.

Костя обуреваем идеей третьей сигнальной системы и ищет способы вызывать вдохновение по желанию, то есть ищет способа мыслить скачкообразно и потому высокопродуктивно.

Памфилий идет еще дальше и считает, что если в мозгу возникает образ и, стало быть, этому есть причины, то почему бы этим же причинам не породить образ в реальном виде. То есть как бы теория Платона наоборот.

Понять — значит упростить.

Понять себя — значит упростить себя. Отсюда вся кибернетика — от идеи свести функции мозга к простым «да» и «нет». Для частных задач расчета и управления она годится, для открытий — нет. А только открытия позволяют жить живому. Ведь если понять — значит упростить, значит то, что понято, — проще того, кто понял. И стало быть, любая машина, созданная человеком, проще мозга, ее создавшего. Это относится и к кибернетике.

Спрашивается: а как же прогресс, а как же эволюция — развитие от простого к сложному? Но разве эволюция проходила сознательно?

Ну хорошо. Человек пришел к сознанию, что у него есть сознание. Так неужели сознание ему дано только для частных задач упрощения? Для того, чтобы придумать робота, который быстрее человека отвечает «да» и «нет»? А зачем ему этот робот?

Вдумаемся. Машина — всегда для облегчения усилий. Стало быть, ясно одно: человеку трудно с достаточной быстротой отвечать «да» и «нет». А почему? Потому что самое трудное для человека — это сделать выбор. Даже самый маленький выбор для него микротрагедия. А почему? Потому что все, что есть, для чего-нибудь нужно.

Выбор относителен. В каждом варианте есть «за» и «против». Поэтому истинное решение лежит за рамками противоположных доводов. Но до этого надо созреть, а это всегда трагедия. Вредность или полезность любого выбора относительна, и человек смутно чувствует это, и его охватывает рефлексия, то есть противоборство желаний. У робота же никаких желаний нет, поэтому решение его мгновенно. Желаний у него нет, но у него заодно нет и совести. И это мы тоже достаточно видели в фашизме.

Мы еще не знаем, что такое желания, но мы знаем, что они есть. Мы стараемся понять причины желаний, потребностей, но суть их одна — человек несчастен, если они не удовлетворены.

Но исполняются наши желания, и мы опять несчастны, так как чаще всего результаты нас не удовлетворяют.

И очень часто мы испытываем счастье тогда, когда мы этого вовсе не ожидаем. То есть удовлетворены какие-то наши глубинные желания, о которых мы и понятия не имели.

Есть понятие «черный ящик». Оно означает, что есть некая система или механизм, принцип действия которого нам неизвестен, но известны результаты нашего воздействия на этот механизм. Ударишь по нему — всыпхнет, скажем, зеленый свет, пощелкаешь — раздастся звук. О человеке неизвестно даже это. Неизвестно, как поведет себя человек, столкнувшись с одним и тем же фактом.

Что это означает? Что человек нестабилен, что он что-то вроде тумана или броунова движения? Нет. Стабильнее человека нет ничего. Только стабильность его высшего порядка. Все его бесчисленные, не поддающиеся учету реакции обеспечивают его главную стабильность, делающую его человеком и безошибочно отличающую его от любого животного вида.

Что же это за отличие?

Не кажется ли вам, что единственное, что делает человека человеком, это вовсе не способность вычислять, и анализировать, и делать выбор — это умеют делать машины, не приспособляемость — это умеют даже бациллы, — не кажется ли вам, что человека делает человеком только его способность к сочувствию, распространяющаяся на окружающих?

Вы скажете, что это тоже мысль, и, стало быть, упрощение?

Да, но только в той мере, в которой она выражена словами.

Подберите любой термин, назовите это чувство нежностью, этикой, душевностью, состраданием, милосердием, совестью, взаимопониманием, каким угодно словом назовите это чувство, — наблюдение останется верным: все человеческое связано у человека с этим, все звериное или машинное — с отсутствием этого. Чего этого? Человечности. Человечности!

Так нельзя ли, спросил я себя, не дожидаясь, когда станет известен механизм человечности, придумать механизм, улавливающий и использующий симптомы гуманизма? Если есть это чувство — должны быть и его симптомы.

Любое чувство — это процесс, то есть некая энергетика, и следовательно, на выходе всегда изменение электрических потенциалов, изменение биотоков. Значит, их можно записать, получить энцефалограмму любого чувства, в том числе и главного — этого.

Если можно записать энцефалограмму, то ее можно и воспроизвести. Можно построить генератор, способный передавать на расстояние прихотливую звенищую энцефалограмму человечности, и она будет накладывать свою синусоиду на весь спектр человеческих биотоков, и вызывать резонанс, и отзываться эхом в человеческой душе, и, стало быть, эта задача при всей ее сложности чисто техническая, а это уже по моей части. Так думал я.

«Послушайте, — думал я, — а разве мы не занимаемся этим повседневно? Разве вся педагогика, воспитание, школа, семья с самого нашего детства не занимаются тем же самым? Толь-

ко они это делают словами, звуками, красками, которые вызывают образы, а я обойдусь без промежуточного звена и, стало быть, смогу проще дойти до больших глубин и сделать рефлекс человечности устойчивым, как потребность».

Но тут передо мной вставал другой вопрос. Где взять образцы?

Кто решится энцефалограмму одного человека сделать эталоном для всех остальных? В любом случае остается сомнение: а нет ли более высокого образца? И кроме того, где доказано, что сама человечность — статична, не изменяется, не эволюционирует? Где доказано, что в каждом следующем поколении не может быть достигнута более высокая ступень? Кто же решится остановить этот великий процесс и загнать человечность в одну, даже самую просторную колодку?

Так возник вопрос о последствиях.

Сегодня уже нельзя отмахнуться от этического смысла науки вообще и любого эксперимента в частности. Поняли уже, наконец, что научное открытие, изобретение не нейтральны. Молотком можно забить гвоздь, но можно и пробить голову. Важно, в чьих руках молоток. Если нельзя давать пистолет ребенку или безумцу, так как они не отвечают за последствия, то ученый, безответственно идущий на эксперимент, отвечает за него, как всякий преступник.

Науку остановить нельзя, но ученые поварослели, и никто уже теперь не идет на эксперимент, не предусмотрев «фул пруф», защиты от дурака, не разработав техники безопасности.

Как же мне было поступить? Как же снять противоречие между необходимостью проверить эту идею (чересчур заманчивы были последствия) и необходимостью обезопасить человечество от этой идеи (чересчур страшны были последствия)?

А выход нашелся очень простой. Вот какая моя задача — лично моя, какая моя задача конкретно, как учепого? Моя задача: смонтировать генератор, способный глушить синусоиду бесчеловечности. Вот и все.

Вот и выход из моего противоречия науки с этикой.

Не нужно создавать единого эталона человечности и тем

тормозить ее эволюцию. А нужно глушить бесчеловечность и тем тормозить ее эволюцию.

Создавать идеалы — это дело оторвавшегося от земли Памфилия и держащегося за землю Якушева. Я не художник. Не мое дело — создавать идеалы. Мое дело — выпалывать все, что мешает их цветению.

Кто мне в таком деле поможет? Человек, которому легче всего взглянуть со стороны на земную норму, на человеческий вид в целом и который, с другой стороны, сам бы ничем не отличался от нормального человека. Кто же это? Вы угадали. Марсианин.

А теперь надо рассказать о четырех ребятах, из-за которых все окончилось благополучно. Если, конечно, можно считать благополучным неудавшийся эксперимент.

Главная среди этих четырех была одна гречанка. Я тогда еще понятия не имел, что она старая знакомая Кости Якушева.

Она была немножко лохматая, с огромными не то огненными, не то меланхоличными глазами. Рот у нее был всегда полуоткрыт. Бывало, уставится и смотрит. И не поймешь, думает она о чем-нибудь или просто ждет, когда же ты, наконец, уйдешь.

Сначала все считали ее глупой. Но это быстро прошло.

— Телка, — сказал наш сотрудник Кожин. — Уставилась и смотрит. Интеллект на точке замерзания.

И еще многое говорил. А потом совсем интересно говорил. Мы все забыли даже, из-за чего он разговорился. А когда стало совсем интересно и он уже одобрительно поглядывал на нее и думал: вот, наконец, у нее что-то живое в глазах, — в этот самый момент она усмехнулась и спрашивала его:

— Стараешься?

А потом пошла прочь и сорвала травину длинную и голенастую. А мы смотрели, как она шла, далеко отставив согнутую в локте руку, так как травина была длинная и голенастая, и светлый конец травинки она держала губами.

Как она шла! Это надо было посмотреть, как она шла. А у Кожина был бледный вид.

Он опять заговорил о чем-то, но Толич сказал:

— Тебя почему-то интересно было слушать, пока она здесь стояла. А теперь неинтересно. А может быть, ты глупый?

Кожин тогда повернулся и ушел. От Толича всегда можно было ожидать нелепых выводов. Он этим славился.

А как она танцевала! Боже! Она распускала тяжелый пучок волос, встряхивала головой и роняла волосы на спину. Грива! И тогда она начинала танцевать. Кисти рук отведены в стороны, шаги длинные, повороты — не уследишь, талия — как тростинка! А в глазах опять никакого выражения. Нельзя понять — интересно ли ей, что на нее смотрят, или она просто дожидается, когда устанут на нее смотреть и разойдутся. И все время летающая грива волос.

А в общем-то она не задавалась, не была недотрогой или какой-нибудь одинокой. Она дружила с тремя ребятами. Самыми неинтересными из всех, каких вы когда-либо встречали в своей жизни. Иногда вы могли их увидеть всех четверых. Тогда она клала кому-нибудь из них руку на плечо, и все четверо смотрели на тебя.

Потом они уходили.

Больше всего раздражало то, что вот так рассмотрят, взведят и уйдут. И не то чтобы они при этом понимающие переглянулись или потом поговорили о тебе, обсудили. Нет. Просто у них было единое мнение на все. Поэтому они посмотрят на тебя и уйдут, и каждый из них будет уверен, что у каждого из них, у всех, одно и то же мнение. Вот собаки!

Можно подумать, что наедине они вели содержательные беседы — рассказывали друг другу сюжеты фильмов, задавали друг другу вопросы: «А как ты провел день?», или: «Нравятся ли тебе новые стихи, напечатанные в газете?» Нет. Наедине они все четверо не вели содержательных бесед. Не вели они также бессодержательных бесед. Они не вели никаких бесед. Они молчали.

Можно было подумать, что у них уже все рассказано друг другу. Нет. Они понятия не имели о прошлом друг друга. Это было известно точно. А может быть, они были связаны какой-нибудь тайной? Или они родились в одном доме или в одном роддоме? Или родители их погибли в одной воронке, завещав им... В общем на любое предположение, которое может вам прийти в голову насчет того, почему она была с этими тремя парнями, самыми неинтересными из всех, которых когда-либо я знал, был один ответ: «нет».

Скучнее этих парней еще не рождала планета. Можно их описать, если вы настаиваете. Один был белокуро-курчавый

с вечной нелепой улыбкой на губах. Другой был тощий, с крошечным ртом, примоченными водичкой волосами и петухом на затылке. Третий, самый низкорослый, был стрижен под бобрик, с угрюмым нависшим лбом, маленькими глазками и вечно черной недоброй физиономией. Описание делает их приметными. Отбросьте его. Оставьте только непередаваемое ощущение скуки, которое распространяли эти трое, когда взгляд останавливался на всей четверке, у которой не было абсолютно никаких причин быть вместе.

Мы познакомились со всей четверкой на острове. Река была сизая в то лето. Дулись в волейбол в кружок. Потом появилась эта четверка. Я когда-то давным-давно ходил на лекции по истории кино, только чтобы поглядеть старые фильмы. Знаете, такие старинные звуковые фильмы, где играют еще обыкновенные живые артисты, как в театре, не понимая, что театр — это каждодневная игра, а лента — вещь станковая, как живопись или скульптура. Удивительно. Но мало ли что нам сейчас удивительно. Нам вот сейчас кажутся удивительными старинные обтекаемые формы автомашин. Вспоминаю, что их такими делали для скорости, как будто нельзя было поставить посильнее мотор. Я там посмотрел историческую картину, называлась, кажется, «Богдан Хмельницкий», да, именно так. Там был один кадр, когда глашатаи объявляли: «Татарин на острове!» — и показывались татары, идущие россыпью вверх по берегу, и впереди кружились шаманы. Вот так эти четверо и шли по берегу, чуть наклонившись вперед, когда мы их увидели первый раз. А мы организованно играли в волейбол и на нее — нуль внимания, чересчур она была заметная и немыслимо яркая. В газете был чай-то рисунок, портрет «Мисс фестиваль», кубинка с последнего международного фестиваля, помните? Вот на кого она была похожа. Когда у Кожина потом нашли этот рисунок, все сразу догадались, почему он его хранил.

Потом, когда закончилась работа и мы все уехали с острова, я думал, что больше не придется иметь с ней дела. Но вот теперь, когда установка была закончена и встал вопрос об эксперименте, я, перебирая в уме картотеку людей с необходимыми данными, картотеку, сто раз пропущенную через статистические машины, все чаще наталкивался на группу из четырех фамилий, три из которых были мужскими, а одна женская.

И только на последнем туре отбора, когда надо было из десяти отобрать одного абсолютно нормального человека, я решил, наконец, посмотреть фотографии. Так как внешний вид тоже имел значение (Костя, например, предлагал начинать отбор с внешнего вида, но я традиционно не решался), когда я посмотрел на фотографии, я сразу узнал всех четверых. Ее и троих скучнейших, ординарных до зевоты парней.

«Слава богу, — подумал я, — хоть этих троих я брать не обязан». Вопрос же о единственной кандидатуре решился сразу.

Нет, не потому, что тут были какие-то личные мотивы, я как раз не люблю нормы, это Костя любит норму, я люблю исключения, я люблю Катю, это моя жена. Мой выбор пал на эту девушку, так как ко всему прочему она была гречанкой. А сами знаете — у каждого из нас есть какое-то тайное почтение перед людской породой, родившей самую высокую норму, тип. А я хотел предусмотреть все.

Я и предусмотрел все. Кроме одного. Я не предполагал, что она откажется пройти испытание без своей унылой свиты.

Она отказалась наотрез.

А они молчали, и сонно смотрели на меня, и понимали что-то свое, для меня непонятное, и опять были согласны друг с другом во всем, и я чувствовал себя идиотски.

Была проделана огромная работа, я даже боюсь сказать, сколько лет, сил и средств ухлопали на этот эксперимент. Один среднестатистический отбор стоил... не буду называть сумму... И вдруг эта особа говорит, что она отказывается, и выдвигает глупое условие. Все равно как если бы первый космонавт заявил перед запуском, что он полетит только со своими хорошиими приятелями, иначе ему лететь не хочется.

Что оставалось делать? Я плонул и согласился. В конце концов не все ли равно — один или четыре. Расходов это почти не потребует.

Мы с марсианином начали готовить установку.

Он сказал:

— Сначала попробуем на себе... Чтобы не повредить остальным.

Это меня растрогало. Скажите пожалуйста. Приезжий, можно сказать командировочный, что ему до наших земных дел, зачем ему связываться с экспериментом, результаты которого вполне неизвестны?

Если бы я не познакомился с ним за это время и не полюбил его, я бы сразу сказал «нет». Зачем мне в этом чисто земном опыте путаться с неизвестным, чуть не сказал — человеком, марсианином?

Так и сказала эта гречанка, хотя ее никто об этом не спрашивал.

— Не путайте его в это дело, — сказала она. — Кто его знает, какие у него там биотоки.

— Чепуха, — сказал я. — Он ничем не отличается от человека. Это показали объективные исследования.

— В том-то и дело, что объективные, — сказала она.

Я разозлился. Я никак не мог понять и оправдать ее открытой неприязни к марсианину. Я присматривался к нему все это время, и, за исключением некоторых странностей, вроде того, что он ничего не делал без разрешения, ни одного шага не мог ступить без того, чтобы не спросить: разрешите? — что, впрочем, объяснялось его боязнью нарушить какие-нибудь земные правила или привычки, — и его все полюбили за эту мягкость и тактичность, и обслуживающий персонал был от него прямо в восторге, и я полюбил его за ласковость, — ничего плохого я не мог заметить за все это время. Но я понимаю, конечно, что бы я ни написал и какие бы доводы я ни приводил сейчас в пользу марсианина, любой читающий эти строки уже насторожился, поскольку эта красивая молчаливая девочка высказалась о нем неодобрительно.

А какие я должен был проводить исследования — субъективные? Я и провел и увидел, что это немного безынициативный, обаятельный парень, который принес из другого мира колоссальное количество устной информации, с которой сейчас возятся ученые во всем мире, а конструкторы исследуют эту небольшую ракету, не имеющую возможности вернуться обратно. Я увидел, что в его лице мы столкнулись с абсолютным доверием к нам со стороны незнакомого мира и с его личной абсолютной самоотверженностью. И вот теперь, когда он, трогательно одинокий на нашей земле, предлагает нам исследовать биотоки своего мозга, мы почему-то должны быть более

насторожены, чем он, и ответить ему недоверием. Нелепо и некрасиво.

— Согласен,— сказал я.— Попробуем на себе.

Конечно, в этом был элемент риска. Взаимно записать характеристики мозга не представляло никакой опасности. Опасно было, конечно, передать друг другу свои усиленные энцефалограммы: кто его знает, как поведет себя мозг при столкновении с незнакомым спектром излучения? Но, судя по всем предварительным исследованиям, показатели его мозга принципиально ничем не отличались от показаний нормального человеческого и, кроме того, начинать можно было на малой мощности передачи, мы хорошо продумали систему автоматической блокировки на тот случай, если мозг испытуемого проявит хоть какое-нибудь неудовольствие во время эксперимента. Короче — предусмотрено было все, что только можно по части безопасности эксперимента. И та микроскопическая доза риска, которая еще оставалась, не шла для меня ни в какое сравнение с возможностью первому увидеть образы чужого мира.

Вот с какими чувствами начинал я этот эксперимент, закончившийся так печально.

Вот описание того, чем закончился этот эксперимент. Лень и ни к чему пересказывать всю последовательную цепь мелких событий, которые постепенно вызывали у меня в душе чувство нудной настороженности и желания отказаться вовсе от этой затеи. Я не мог отказаться, если не хотел унизить в своем лице весь человеческий род.

Все, что нужно, вы поймете из дальнейшего, поэтому переходу сразу к тому, что случилось после эксперимента, опуская несущественное.

Когда все закончилось и мы обалдело смотрели друг на друга, как люди, подглядевшие случайно сквозь замочную скважину нечто неприличное, мы не сразу могли заговорить.

Наконец, он прервал молчание.

— Это ты был?

Мы уже давно были на «ты».

— Я. А это был ты? — спросил я.

— Я.

— Не густо,— сказал я.— И не очень интересно.

— Да.

Было слышно, как снег царапается в окно.

— Я не могу себя считать плохим человеком,— сказал я.

— Я тоже,— сказал он.

— Мало ли какие следы выбора и отброшенных желаний может вызвать встречная энцефалограмма. Ни один эксперимент не защищен от влияния экспериментатора. Нельзя строить новый дом в белых перчатках. Для того чтобы два мозга, две личности достигли понимания, нужна терпимость. В прошлом есть не только вина, в прошлом есть беда. Нельзя жить без доверия к будущему. Нельзя ждать, пока все станут ангелами, чтобы начать хорошо жить. Главное — это чистить в своей душе авгиевы конюшни.

Он нервно засмеялся.

— Тебе не кажется, что речь здесь идет о чем-то большем, чем достижение взаимопонимания? — спросил он.

— Больше здесь ничего нет. Не так мало, а? — сказал я.— Что ты имеешь в виду?

— Милочка моя,— сказал он,— речь идет о власти над миром.

Вот так-так...

— Тю-ю... — сказал я, а больше ничего не мог сказать.

Он подумал.

— Я всегда знал, что ты в общем недалекий человек,— сказал он.

— Я тоже,— сказал я.— Но меня это устраивает. А как ты себе представляешь власть над миром и что вообще это означает?.. И вообще на кой черт она нам нужна?

— Ладно, последний раз тебе предлагаю,— сказал он.

— Что предлагаешь? Власть над миром?

— Да.

Тут я засмеялся.

— Весь мир, да? И чтобы у нас над ним власть?.. Ну ладно, давай. Как ты себе это представляешь?

Он задумчиво почесал нос.

— Записывать то, что есть в нас, неинтересно,— сказал он.— Тут ты прав. Мы не дети. Накопился всякий мусор обид и прочего в том же роде. Интересно будущее. А это надо вообразить. Если записать то, что я воображаю... или ты,— добавил

он, подумав,— свои идеалы... как, например, я себе представляю хорошую жизнь... на самом деле... то есть все потаенные желания, все вожделения, вообще все — понимаешь?

— Ну-ну... — жадно сказал я. — Продолжай.

— А-а,— протянул он,— и тебя заело?

— Заело,— сказал я.

— Так вот. Можно будет навязать свой вариант жизни всему остальному человечеству... Больше того... Заставить его хотеть жить как мне угодно. Им будет казаться, что это добровольно.

— Ну-ну...

— Что — «ну-ну»?

— А как ты это сделаешь?

— Чепуха,— сказал он.— Запускаем несколько спутников и с них ретранслируем поле на весь земной шарик.

Он так и сказал: «шарик». А я вспомнил, как мы два часа шли до бензоколонки по хрустящему снегу и какая была огромная земля на закате, а ведь всего было шесть километров. И казалось, что земля плоская, как до Магеллана, и как это было приятно.

— Представляю,— сказал я.

— Да,— сказал он.— Вот так.

И отошел к окну.

А за окном под снежком бежали люди. Власть-то была у них. А теперь, стало быть, власть будет у нас. Я никогда не задумывался над тем, люблю ли я людей. Не то чтобы кого-нибудь отдельно, а всех скопом. А сейчас вдруг понял: люблю. Я теперь могу сделать так, чтобы они все ко мне хорошо относились. Я теперь буду встречать одни улыбки, и все меня будут любить, прямо-таки обожать, и будут счастливы оттого, что любят меня больше всех. Я тогда и работать, наверно, перестану, а буду только ходить по гостям, сопьюсь, наверно, а?

— Чудовищно,— сказал я.

— Почему? — сказал он. — Им же будет казаться, что это добровольно... А раз добровольно, следовательно, и они будут счастливы... Знаешь что?..

— Что?

— Можна будет даже не запускать спутников, а воспользоваться уже летающими... Их сейчас до черта летает... На первый случай... А потом они сами будут их запускать, добровольно. Представляешь?

— Нет,— сказал я.

— Какого черта?! Ты смеешься надо мной? Скажи прямо?

— Нет, — сказал я. — Просто не представляю, какие такие у тебя идеалы, чтобы из-за них стоило хлопотать.

— А ты вполне счастлив? — спросил он.

— А как же насчет взаимопонимания всех? — спросил я.

— Значит, нет. А хочешь счастья?

— Каждый хочет.

— Можешь попробовать.

— То есть?

— Сейчас,— сказал он.

Мне это не приходило в голову.

— А кто будет пробовать? — спросил я.

— Да... это вопрос... Тот, кто попробует первый, заставит другого... ну и так далее...

— Чушь какая,— сказал я.— Ну, бросим жребий.

— Нет...— сказал он.— Жребию я бы не подчинился... Это дело слепое.

Я подумал: куда девалась его робость, его вежливость, его почтительность? Ведь когда он появился, у него вид был такой: ешь меня с маслом, и все тут, благоговею, и все дела. Посмотрели бы на него сейчас те, которые верили в его ангельские качества.

— Тогда не знаю,— сказал я.

Он весь дрожал. Рот у него всегда был маленький и женственный. Теперь он его стиснул так, что рот у него стал похож на куриную задницу.

— Есть способ,— сказал он.

— Какой?

— Борьба.

— Ты способен на то, чтобы драться со мной? — спросил я с интересом.

— Да.

Он вытащил пистолет и направил на меня. «Интересно, откуда у него оружие?» — подумал я. Он почти касался панели с пусковыми кнопками.

— Болван ты,— сказал я.— Отойди от панели. Хочешь пробовать, пробуй на мне, черт с тобой.

— Ты правду говоришь? — спросил он и взвел курок.— Я же могу проверить.

— Проверяй, пожалуйста,— я пожал плечами.

Соображать надо было быстро. Но на улице был снежок и шли люди. Теплые, мягкие парни, девушки. И все со своими собственными желаниями. Я как подумал, что этот подонок может сделать с девушками... Или со старухами. Он всегда не любил старух. Он же их просто уничтожит. Когда старушка одна идет по улице, мне плакать хочется. Я маму вспоминаю.

— Не трусь, — сказал он голосом сильного человека. — Я тебя не трону. Ты правда согласен?

— Правда.

И тут я понял. Вспомнил, кого он мне напоминает. Не удивительно, что я не сразу догадался. Мы разбаловались, отвыкли, пропал иммунитет. Привязали тип к признакам быта, к канарейкам, устарелой мебели. Мещанин. Вот кого он мне напоминает. Озверелого мещанина. Резерв фашизма. Самый загадочный феномен предыдущей исторической эпохи. Последний социально исторический тип. С исчезновением классов можно уже говорить только о типе психологическом. Впрочем, о психологическом типе можно было говорить всегда, только это не решало дела, проблемы эпохи решались на социальном уровне. И я подумал: «Интересно, черт возьми, а что, если попробовать?»

— Испробуем, — сказал я.

— Смотри, без дураков.

— Дураков нет, — сказал я. — Я вступаю с тобой в коалицию. Тебе всегда будет нужен смысленный помощник.

Он не сразу заговорил, сначала помолчал.

— Теперь верю, — сказал он.

— Господи, почему? — спросил я.

— Я вижу у тебя реальный интерес. Возможность уцелеть заставляет тебя согласиться на ограничение твоих вожделений.

— Да, на ограничение, — сказал я.

— Не горюй, — доброжелательно и презрительно сказал он. — И потом это все временно. Для меня это только начало. Потом я улечу, и ты останешься хозяином земли. Ну, конечно, с подчинением центральной планете, которую я выберу в солнечной системе. А потом в галактике. Земля, конечно, провинция, но еще Юлий Цезарь сказал: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Так что не огорчайся.

— Юлий Цезарь был мещанином, — сказал я.

— Какая разница,— сказал он.  
— А где гарантия, что ты меня разбудишь? — спросил я.  
— Чудак! Мне необходим толковый помощник.  
— Черт возьми,— сказал я,— теперь верю. Тоже вижу твой реальный интерес.

— Ну вот ты наконец-то понял. Слушай меня всегда. Я научу тебя жить.

«Откуда у него эта лексика? — подумал я.— Нет. Я не могу отказаться от этого случая. Представляется неповторимый случай узреть идеалы мещанина не снаружи, а изнутри. Именно идеалы. Не канареек, которых боялись в прошлом, не низкопоклонство перед бараком, а свободу воли мещанина».

— Добро,— сказал я.— Спушься в подвал. Включу общий рубильник. А ты следи за приборами.

Он поднял пистолет:

— Не дури.

— У бездарного человека сомнение выражается в недоверии,— сказал я.— Господи, с тобой невозможно работать.

— Я тебе это припомню,— прошипел он.

— Энергия нам понадобится вся, телефоны отключены, оружие и ключи у тебя. Какие тебе еще нужны гарантии?

— Ну иди...

— Боишься,— сказал я.— Эх ты!.. А еще хочешь управлять галактикой.

— Попшел вон... а то я передумаю,— сказал он.— И убью тебя... э-э... не отходя от кассы.

— Осваиваешь идиомы, трусишка,— сказал я и пошел прочь.

И мне пришло в голову, что только большой трус может мечтать о власти над миром. Так как только она может дать ему иллюзию безопасности — так он надеется, и жаль, очень жаль, что не сохранились энцефалограммы великих тиранов. Трусу необходимо попытаться завоевать мир, он не может позволить себе роскошь отказаться от этого, он же должен себя обеспечить.

И я тогда подумал: ну нет, я от этого отказаться не могу. Узнать подлинные идеалы мещанина, без вранья, на самом деле, без игры в сверхчеловека, в сильную личность, без павлиньих перьев, без игры в цинизм, узнать, так сказать, без нижнего белья, голеньского, побывать в подсознании — ну нет, от такого путешествия я бы не смог отказаться. Чересчур важ-

ные сообщения я мог принести людям. А риск? Пусть будет риск. Путешествовать необходимо, жизнь сохранить не обязательно, сказал Магеллан. Меня душила ярость.

Я спустился в подвал.

Конечно, все четверо пришли, как и грозились. Господи, какое счастье, что они нарушили мой приказ не приходить!

Они все четверо сидели на большой трубе воздушного охлаждения.

— Опыт удался,— сказал я им.— Действительно, можно заглядывать друг другу в душу. Ребята, вы молодцы, что пришли. Я пень. В общем опыт удался.

— Последний, я надеюсь? — спросила она.

— Предпоследний,— сказал я.— Двери все заперты, а ключи у него. Телефоны мы с ним отключили сами, чтобы нам не мешали, но дело в том, что у него оружие. Вы были правы, ребята. Это подонок.

— Так,— сказала она.

Парни быстро соскочили на пол и смотрели на нее. Курчавый взял лом.

— Отставить,— сказал я.— Мне надо провести последний эксперимент. Объяснять некогда. Дело касается его идеалов. Я должен знать. А вдруг что-нибудь полезное?

— Каких идеалов? — сказала она. — Вы все с ума посходили... Один потерял любовь в прошлом, другой в будущем, а третий пробует на себе отраву — хочет узнать идеалы подонка... Фантазеры несчастные!..

— Ребята,— сказал я троим,— если бы у вас был выбор: спасти себя или ее, что бы вы сделали?

Все трое кивнули.

— Ясно... Теперь вы видите? — сказал я ей.

— Я очень боюсь за вас, Алеша,— сказала она.

— Девочка, все будет хорошо,— сказал я.

Она резко подняла руку.

Я сразу понял. По лестнице шелестели шаги. Легкие, как будто бежала крыса. Потом все стихло. Потом завертелась ручка двери.

— Отвори...— сказал он из-за двери.

— Слушай, подонок, — сказал я, — иди наверх и жди меня там. Если еще раз придешь — все отменяется. Ты меня понял?

— Я буду стрелять,— сказал он.

— Лапочка, — сказал я нежно, — тебе же тогда конец. Кроме меня, никто не согласится на этот опыт, а времени у тебя до утра. Утром придут люди.

— Согласится... — неуверенно сказал он.

— Оставим глупости, — сказал я. — Мне надоело. Я иду к двери. Стреляй, сволочь. Ну!

— Ладно. Я подожду еще, — сказал он. — Только поскорей, не копайся... А почему у тебя голос дрожит?

— У меня колебания... Я борюсь с собой, — сказал я, заужимая рот курчавому и пытаясь вырвать у него железный лом.

— Ага, — сказал он. — Теперь верю.

И стал подниматься по лестнице.

Курчавого оттащили.

— Видели? — спросил я.

Все тяжело дышали.

— Счастье, что вы услышали, как он крадется, — сказал я.

— У меня большой опыт, — сказала она. — Любила подслушивать, о чем говорят взрослые. Целыми днями торчала в шкафу... Да, — сказала она, — надо попробовать.

— Значит, так, — сказал я, — когда стрелка покажет максимум — переведете поток на него. А меня отключите, ясно? Но не раньше... Все очень просто.

— Присядем, — сказал низкорослый.

Присели.

Потом я поднялся.

— Я уже старик, — сказал я. — Потеря небольшая. Перерайте Кате, что я вел себя хорошо.

И вышел. Позади осторожно клацнул замок. Все. Пора было окунаться в грязь.

...Я пропускаю обычные картины накопления барахла и душевного ожирения, картины корысти и зависти, картины патологических страстей, войн, убийств, звериной ненависти к таланту и презрения к необыденному. Я пропускаю картины обычного удовлетворения и картины гурманства, которые, если отвлечься от частностей, были похожи на что-то вроде бани, где теплая водичка плескалась вокруг возвышающегося твердого островка, его живота. Воздух был наполнен благовонным туманом, и на этот туман проецировались возбуждающие

кинокартины, чтобы фантазия его трепетала и не давала ему уснуть. А под сводами бани раздавалась классическая электронная музыка, полезная для клеток его организма.

Я пропускаю элементарные картины и перехожу к изысканным удовольствиям. К идеалу его счастья, о котором он, может быть, и сам не знал, но которое выявило и вбивало мне в мозг безжалостное усиление.

В этих изысканных удовольствиях главную роль играл я, его помощник.

Роль моя заключалась в том, что я должен был вылизывать его поясницу.

Я вылизывал ему поясницу, но должен был делать так, чтобы он этого не заметил. Чтобы это ощущалось им как легкое дуновение теплого ветерка, повышавшего его настроение и тем самым жизненный тонус. Я старался это делать так, чтобы он, уласи боже, не почувствовал ко мне благодарности, которая бы его оскорбила.

Вылизывая его, я с легким усвоенным мастерством добивался того, чтобы у него было впечатление, что он является как бы автором всех моих бывших и будущих мыслей и работ, и открытий, и наблюдений и, естественно, владельцем всей могущей выпасть на мою долю людской доброжелательности, славы и любви и вместе с тем имел бы возможность отречься от меня в случае надобности.

Но это все относится к моим задачам по отношению к человечеству. Что же касается моей личной судьбы, то главной моей задачей в процессе вылизывания было добиться его твердой уверенности в том, чтобы он думал, что я думаю, что он умней меня, и что меня от всего этого совершенно не тошнит, и мне вовсе не хочется повеситься.

Потому что, если бы у меня мелькнула мысль, что я хочу повеситься, он бы понял, что я могу известным образом, хоть и деликатно, но все же болезненно как бы укусить его в поясницу, и ему бы пришлось слегка отдернуться. А это телодвижение могло быть неправильно истолковано испуганным человечеством как прямое указание совсем самоуничтожаться и не дышать вовсе. А это могло бы вредно сказать на здоровье и численности человечества и тем самым — и это главное — на его настроении.

Наслаждение его от моего вылизывания поясницы становилось все острее, становилось почти болезненным. Язык у ме-

ня одеревенел, и я чувствовал, как ко мне приближается моя гибель. Потому что надвигалось неудержимое желание плюнуть.

Плюнуть ему в помутневшие, узко прищуренные от вождения очи, а заодно и плюнуть на свою раздавленную жизнь. У меня уже скапливалась слюна, а за окнами зала, украшенного орлами, ликторскими пучками и свастикой, я слышал веселый лай овчарок и хриплые голоса команды, и тянуло гарью от душегубок.

И тут все кончилось.

Молодцы эти четверо.

Молодцы эта девочка и эти трое ребят, которые могли показаться скучными только такому стареющему олуху, как я, девочка Афина и трое рабочих парней, трое мастеров — крепость, корни, кровь человечества, гордость земли и ее великая норма.

Юный рассвет заливал опоганенную лабораторию. Розоперстая Аврора поднималась над заснеженным сказочным лесом вдали.

— Привет тебе, Аврора, — сказал я.

И эхо загудело в пустых переходах: Аврора... Аврора...

Раздался вежливый шорох.

Я оглянулся. Он сидел на полу, прислонившись к стенке — этот несостоявшийся гибрид электроники и Чингисхана. Он глядел на меня удивленно и не узнавал.

— Привет, — сказал я осторожно.

— Привет...

Он закивал головой и засунул палец в нос.

— Что ты чувствуешь?

— Ничего.

— Ну и прелестно, — сказал я. — Тебе чего-нибудь хочется?

— Нет.

— Пора завтракать, — сказал я.

Я вытащил из-под него пистолет и вышел. Ничего. Шок скоро пройдет.

На лестнице я встретил ребят.

Увидев меня, они остановились и смотрели спокойно и празднично. Только у белобрысого, курчавого, самого эмоционального из них, дрожал подбородок.

— Золотые мои, красавцы мои, праздничные мои... — сказал я. — Я люблю вас всех, чертей, вы даже себе не представляете, как люблю... Я всегда вас любил, только на этот раз мне, кажется, удалось доказать это на деле...

— Не плачьте, — сказал низкорослый. — Энцефалограмма получилась что надо. Аккуратная, как диктант.

— У меня есть одна догадка насчет него, — сказала Афина.

— Дайте ему позавтракать, — сказал я.

Начинался рассвет.  
Они прилетели...  
Дальше расскажет художник.

## Пункт встречи. Продолжает рассказывать Якушев. Победа

...Где-то летит самолет.

В белесо-синем небе стоит гул самолета.

Что мы увидим, если облокотимся на горячий от солнца подоконник и выглянем наружу в широкое, жестко очерченное, как на картине Лактионова, окно?

Мы увидим внизу макушки пешеходов, удаленных на десять этажей, и пешеходы при ходьбе выбрасывают вперед прямо из-под головы ступни ног.

Мы увидим белесое синее небо и облачка, расположенные сближающимися к горизонту рядами. Они расположены так для того, чтобы создать ощущение перспективы и пространства, вырывающего куда-то за дальние гряды домов, которые приближаются к нам силуэтами, проштрихованные солнечными полосками крыши.

Мы видим светлый полет голубей.

Черный полет ласточек в небе.

И еще мы видим Москву.

А звуки... Боже мой, какие мы слышим звуки! Мы слышим торопливое тиканье часов на столе, дальний, сивающийся гул машин на магистрали и шипенье листвы деревьев, натыкаемых между залитыми солнцем крышами домов. Еще мы слышим гуденье мухи в окне, щебет птиц и дальнюю басовитую

зевоту летящей тройки истребителей, которые делают разворот и поэтому кажутся мчащимися наперегонки...

Если же отстраниться от горячего камня подоконника и оглянуться на комнату, то мы увидим квадратный будильник 2-го Государственного часового завода под названием «Сигнал» и зеленые стрелки, которые показывают двенадцать.

И еще мы увидим молодую женщину, которая спит на раскладушке среди этого белого дня, и увидим белую простыню, которая мирно лежит рядом, сброшенная на пол сонной рукой.

Она спит среди бела дня потому, что вчера были гости, немножко выпили, кричали песни, а потом она и я, художник Константин Якушев с детской кличкой Да Винчи, остались вдвоем.

А потом была короткая летняя ночь и длинный рассвет, которые не описывают в романах для того, чтобы мальчики и девочки, читающие толстые журналы, не знали раньше времени, что это хорошо.

Я в детстве увлекался фантастическими романами, где рассказывалось, конечно же, о будущем. И меня, как всякого школьника, которому еще предстоит принять участие в неслыханных удовольствиях взрослых, интересовало, естественно, как там, в будущем, будет выглядеть хорошая жизнь. А так как взрослые были отделены от меня возрастным интервалом, который все никак не сокращался, и рубеж его удалялся с такой же скоростью, с какой я стремился вырасти, то я никак не мог отделаться от впечатления, что взрослые — это какой-то особый клан, попасть в который лично мне никак не удается и который лично меня злоумышленно оставляет за бортом.

И как я ни взрослел, как ни отсчитывал годы, которые приближали меня к заветному рубежу, как ни объедался информацией, спречь знаниями, которые казались мне синонимом взрослости, результатом было печальное сознание своей инфантильности и интеллектуальной незрелости.

Конечно, я был ничем не хуже большинства порядочных людей, не уклоняющихся от своих обязанностей перед ближними. Но меня в эти минуты прозрения удручало, что я ничем не лучше. Потому что, только ощущая себя чем-то лучше других, можно испытывать радостное чувство равноправия.

Я читал тогдашние фантастические романы и, пропуская межпланетные битвы, обледенения планет и кибернетические

ужасы, все эти хлесткие выводы из недостоверных данных, искал в этих монбланах выдумок те места, где автор рассказывает, как, по его мнению, выглядит хорошая жизнь. И вот тут-то начиналось самое постылое, если не сказать ужасное.

Основная масса прогнозов по части хорошей жизни, если отбросить камуфляж и увертки, сводилась либо к безделью, либо к экзаменам.

Безделье в этих случаях обеспечивалось автоматикой, а экзамены — услугливыми стихийными бедствиями, а также авариями все той же автоматики, то есть все той же тренировкой, а вернее сказать — дрессировкой личности на предмет встречи с неожиданными неприятностями, без которых авторы не представляли себе хорошей жизни. Мне казалось, что все это можно было назвать хорошей жизнью только по недоразумению.

И никому из них почему-то не приходило в голову, что хорошая жизнь лежит не столько вне человека, сколько внутри него. Потому что ежели бы мы полностью зависели от жизни внешней и не обладали бы дискретностью и самостоятельной неповторимостью, то мы бы и изменились полностью с изменением внешних условий и тогда нельзя было бы говорить о человеческом виде. Да что там о человеческом! Тогда бы картошка, посаженная в тропиках, становилась бы, скажем, ананасом, чего, как выяснилось, не происходит.

Были, конечно, фантазеры, которые показывали, как должна выглядеть хорошая жизнь, если человек к ней внутренне подготовлен. Но таким авторам отказывали в научности, и потому к ведомству фантастики они не принадлежали. Александр Грин, например.

Может быть, я против науки? Упаси боже. Я против ее самоуверенности.

Если наука перестает понимать, что она всего лишь работник на постройке этического максимума, она становится тормозом и обманом.

И в результате огромная природа и дрожащий человечек на краю неведомого.

И тогда вспоминают о поэтах. Вот кто максималист. Сколько ни дай ему любви — ему все мало. Любовь мужчины и женщины, любовь человека к человечеству, любовь человека к

природе — все мало. И вот уже любовь к меньшому брату, и поиск общения, и нежность к зверю, и человек не наглядится в ищущие глаза собаки, и носит за пазухой котенка или кролика, и говорит, что человечий малыш похож на медвежонка, и говорит: вот зверь бурундук — он маленький, и хвост у него пушистый, он сидит на плече и ест хлеб из рук, у него три черные полоски, на ушах кисточки и лицо умное — так мне одна девушки описывала зверя бурундука, и я уже никого не хочу, подай мне бурундука, и все, — я его люблю. Вот программа максимум. Ничего другого не хочу, и подай мне это, да и все тут, и я буду описывать это и описывать, ища вокруг крупицы этого рая, даже в подворотне, даже в трущобах, даже на войне, где люди бьют друг друга насмерть, вымещая друг на друге беспомощность и злобу за тоску по ненайденному райю. И тогда обворачивается ярость сбитого с толку человека на ученых — куда вы завели нас, ученые люди? Вы придумали самоварчик и керосинку и думаете, что я счастлив, и тем ограничили мои желания, и вот я бью себе подобного насмерть и даже зверье развозжу на убой. И тогда вымещают злобу на ненайденный рай на поэтах: зачем пробуждаете неисполнимые желания, зачем соблазняете несбыточными картинками, зачем заставляете тосковать по невозможному? И вот я в пьяной тоске бью свою возлюбленную за то, что она не бессмертна, и одежды ее, которые только и нужны, чтобы срывать их в любовной игре, или уродливы, или прячут увидающее тело.

Споем же песню о Гошке по прозвищу Памфилий, ибо он доказал.

Воспом же мальчика, силу его и доблесть, нежность его и ярость, чувство локтя и веру. Поэтому что нет безнадежной битвы, и след в сердцах — это след навеки. Ибо вечно в тревоге сердце человеческое, и нет того, кто бы достиг покоя. Поэтому что сказал поэт: забвенье — пустой и обманчивый звук, понятный лишь только в могиле. Ни радостей прошлых, ни счастья, ни мук придать мы забвению не в силе. Что в душу запало — останется в ней. Ни моря нет глубже, ни бездны темней. Споем же песню о Памфилии, потому что он доказал.

Помните, прилетел марсианин?

Когда слишком долго ожидается какое-либо событие и стро-

ят прогнозы, то потом удивляются, если оказывается что все произошло гораздо обыденней, чем это представлялось, и все смутно разочарованы, как будто их обличили в тупости. Собственно говоря, выражение «как будто» здесь — чистая дань вежливости...

То есть все, конечно, понимали, что, сколько бы ни длилось ожидание, а вернее сказать — неожидание, какое-то эмоциональное неверие в то, что это может произойти, однако же это когда-нибудь все-таки случится. Но это будет как-то обставлено заметно для всех.

Конечно, потом все несколько пообвыклись, но первое впечатление ошеломило своей обыденностью. Нет, конечно, это произвело огромное впечатление, и были возбужденные толпы, и люди, прилипшие к телевизорам. Но все это не переходило рамок возбуждения в городе, в котором происходит, скажем, международный фестиваль.

А потом случилась эта история в лаборатории Аносова. Когда выяснилось, что марсианин-то похож не просто на человека, а на самую плохую его разновидность и что опыт Аносова при всех его благородных намерениях чреват самыми неприятными последствиями.

И так оказалось, что все мы трое, как это бывало уже не раз, были опрокинуты мучительно, и на этот раз, видимо, непоправимо. Потому что годы уже не то и надежд все меньше. Сроки, отпущеные на мечты, кончились, и наступили трезвые сумерки.

Мы безнадежно устарели. Моя эллинская красота последний раз сверкнула и вытекла струйкой из горсти. Лешка ударился лбом о проклятый выбор — забор между научным открытием и его этическим смыслом. А Памфилий вместо встречи с живым идеалом и неземной тающей нежностью увидел большой марсианский кукиш.

...И мы сидели втроем и дымили сигаретками. И не замечали, как сумерки стали ночью, и тут раздался топот многих ног по лестнице и на улице за открытым окном. И тут нам постучали в стену и зазвонил телефон.

— Включите радио! — крикнули пам. — Включите телевизор!

Началось.

Они прилетают.

Они опустились. Первой вышла она. Потом он.

Споех же песню о Гошке Памфилии, ибо он угадал.

Особое понимание, безошибочная тающая нежность и сила, скользящая, как ручей. Кожа под рукой нежная, как ветер. Засмеялась.

— Сейчас, — сказала она.

И приложила руку ко лбу.

Потом она начала медленно говорить.

Толпа замерла, притихла. Она отстранила микрофон, но ничего не изменилось. Звук доходил каким-то другим способом...

Он все угадал, Памфилий, он все угадал, этот проклятый клоун. Он только не угадал, что все выйдет лучше.

Опасения не подтвердились. Не было ни паники, ни атомной ошалелой защиты, никого не сбили из пришельцев, и не надо было расхлебывать кровавую кашу недоразумений.

Просто в черном небе, затмевая свет звезд, возникла светящаяся надпись:

«Мы прилетаем».

Мелькнула мысль — мистификация, и тут же отпала. Расшифровывать не пришлось. Надпись возникла над всеми столицами мира и была на языке этих столиц.

— Прилетал ли кто-нибудь до нас с Марса? — спросила надпись.

— Да, — ответили столицы.

— Мы вас слышим... Что с ним?

— Все нормально.

— Мы летим с дружбой. Не бойтесь, — сказала надпись.

Потом надпись исчезла.

Всю ночь мир ждал. На рассвете они прилетели.

В некоторых странах поднялись в воздух на баражировку атомные ракетоносцы.

Нет. Наши не подкачали. Наши показали себя молодцами. Кто первый догадался, точно неизвестно. Говорят, мальчик — радиотехник с московской радиостанции. Он запустил на всю мощность:

— ...Мы работники всемирной... великой армии труда...

И смолк.

Правительство подтвердило:

— Продолжать.

Великий гимн ушел в космос.

— Мы вас поняли,— пришел ответ.  
Звездолет осторожно опустился во Внукове.

Гошка лежал ничком на тахте, накрыв голову курткой. Я огляделся. Телевизор не был включен. За стеной орало радио.

— Гошка,— позвал я,— машина внизу. Катим во Внуково. Плечи его вздрагивали.

— Ты что, старик? Ведь все как ты хотел!..— сказал я. Я наклонился над ним и приподнял куртку. Он обернулся ко мне белое лицо.

— Никто не поверит,— сказал он.— Никто... Я же все это видел раньше. Никто...

Дико зазвонил телефон.

— Гошка,— кричал далекий Аносов,— Гошка, немедленно приезжай... Костя, это ты?.. Хватай его и вези сюда... Это она, та самая... которую мы сочинили в детстве из фотографий, которую ты вырубил из дерева... которую нашли в Африке... Гошка, приезжай,— орала трубка.— Ей на вид гораздо меньше двенадцати тысяч лет...

Когда мы примчались во Внуково, толпа растекалась по аэродрому, в воздухе кружились вертолеты, а с грузовиков лопатами прямо на бетонные плиты вокруг звездолета скидывали цветы.

— Пропустите,— сказала она, глядя поверх голов.  
Не сразу все поняли. А потом поняли.

И мы поняли только тогда, когда вокруг нас образовалась испуганная пустота, которая стала шириться впереди нас и превратилась в дорогу к звездолету.

— Идите, идите,— раздались голоса.— Она зовет.  
Гошка стоял, закрыв глаза, старый-старый.

Мы взяли его под руки и двинулись втроем. Как на похоронах.

Она сошла по ступенькам.

— Двенадцать тысяч лет ты любил меня,— сказала она.— Я пришла.

Гошка открыл глаза, и мы подумали: где мы видели это—

го человека? И тут же вспомнили. Мы видели его у нас во дворе, на Благуше, много лет назад.

Гошка стоял молодой, семнадцатилетний.

«Как прекрасно почувствовать единство целого комплекса явлений, которые при непосредственном восприятии кажутся разрозненными», — сказал Эйнштейн.

Конечно, это должно производить ошеломляющее впечатление, когда человек смотрит на факты и их связи и должен сделать нормальный вывод, а он вдруг высказывает некое предположение, не имеющее никаких оснований, и все говорят — чушь, а именно оно и подтверждается. И тогда, чтобы избавиться от ошеломления, окружающие говорят, что в общем это все давно известно, и вспоминают тысячу фактов и подтверждений. Только почему-то на эти факты никто не обращал внимания, пока кто-то не связал их в своем сознании и не высказал на первый взгляд нелепую мысль.

Дальше пропускаю почти все. Нет ни красок, ни линий, все пока еще дрожит и переливается в перламутровом тумане.

Хочу только рассказать об одном разговоре. Надо рассказать.

Гошка помог мне устроить этот разговор. У него теперь такие связи!

Разговор этот происходил в скверике возле Музея изобразительных искусств на Волхонке.

Шли посетители, поднимались по каменным ступеням посмотреть на слепки старых богов, а мы сидели на скамеечке и разговаривали с марсапанином.

Пет, не с тем, первым, а с этим, настоящим. Он был как все мы и поэтому незаметен. Но, только разговаривая с ним, понимаешь: пет, все другое. За его лицом, за внешностью угадывался другой мир, другой опыт, нормы других отношений. Другая норма ощущалась в его взгляде — вот в чем дело.

И потом это их мышление по «сути», а не по «словам», и мгновенное понимание. Вдруг благодарит ни за что, вдруг обворачивается вопросительно. Никак сразу не ухватишь, какие куски пропустить в речи, чтобы не топтаться на очевидном. Такое впечатление, что тебя заставляют говорить не прозой, а по логике стиха.

— Мы улетаем, — сказал он.

— Я понимаю, — сказал я.

— Теперь вернемся скоро.

Но на самом деле я многое еще не понимал. И он видел это.

— А как же вы все-таки прилетели? — спросил я. — Вы же говорите, что у вас не развита техника.

— Вы не поняли: она у нас развита, но развитие еешло путем, противоположным вашему. Мы уже очень давно умеем путешествовать за пределы планеты, но мы почти не умеем добывать энергию. Она всегда у нас была даровая. Теперь положение изменилось. И давайте взаимно учиться.

— Передайте Аносову — он на верном пути. Но важна не только энцефалограмма, важен весь спектр биотоков человека. И еще. Вам. Запомните. Внешность выстроена по законам, внешность, не маска, маска — это ложь. Поэтому одним нужно продление внешности внутрь, а другим выведение внутреннего мира наружу. Я еще плохо говорю словами. Понятно?

— Понятно, — сказал я. — Но ответьте. Наука стремится перейти дозволенную грань и вступает в противоречие с этикой. Как снять противоречие? Часто между людьми стена из воздуха.

— Преодоление отчужденности равно преодолению этического барьера, а не прорыв в психологию, как думал Аносов. Этический барьер — вот чем займется ваша наука теперь. Человек не средство, а цель. Человек — это пункт встречи всей вселенной. Кто думает иначе, тот...

— Мещанин, — подсказал я.

— Да. Главный ваш враг, — сказал он. — Это есть ваш последний и решительный бой...

— А ваш?

— И наш, — сказал он. — Но мы прилетели перенять ваш опыт... У нас развитие шло другим путем.

У них развитие пошло не по линии техники, а по линии саморазвития. За технику они только сейчас берутся всерьез, уже готовые к ней нравственно.

— Как это получилось? — спросил я.

На Земле использование атомного распада есть венец развития материальной культуры, цивилизации, а у них это начало. У них там сложились такие условия, что урановые источники были для них в древности как для наших неандертальцев головни из лесного пожара. У них не было нужды

обеспечивать внешнюю жизнь, поэтому их история — это в основном развитие жизни внутренней. Только теперь стали иссякать природные источники энергии, и они нуждаются в нашем внешнем опыте и принесли нам плоды опыта внутреннего.

Вот почему они до сих пор не прилетали. И мы не успели тоже.

Теперь спокойно. Теперь я должен рассказать нечто, что переворачивает все обычные представления и что тогда показалось мне убедительным, как аксиома, а теперь после их отлета похоже на фантастику.

Слушайте. Они уже прилетали один раз.

Они прилетали и застали расу прекрасных людей и поняли, что люди созрели для красоты. Помните, об этом рассказал Гомер — первый эксперимент с красотой, похожий на Лешкин эксперимент с техникой? Афина — мудрость, Гера — обыденная жизнь, Афродита — красота. Парис выбрал красоту, и Афродита открыла ему глаза на красоту Елены. Помните, что получилось тогда? Парис присвоил красоту. И началась война между людьми, увидевшими ценность красоты. Видоизменяясь в эпохах, эта война длилась до двадцатого века, пока люди сообразили, что война хуже, чем отказ от красоты, и наступила обыденность.

— Парис был первый мещанин, — сказал он.

Странно, я не засмеялся и очень удивился этому. Я помню.

— Мы тогда исходили из своих представлений, — сказал он. — И потому выбрали Париса, прекрасного молодого человека, норму. Мы тогда еще не знали о вашем пути развития, противоположном нашему, и думали что вы просто отстаете по фазе. Поэтому мы выбрали норму и проглядели исключение, обесцвившее норму более высокую — Гомера. Они его считали слепцом. Они ошибались. Просто взгляд его стекленел, когда он переводил наш способ понимания в ваши слова... Теперь мы прилетели потому, что нас позвал ваш друг. Мы поняли, что наступает эпоха новой нормы. Вот и все.

— Нет... не все... — сказал я.

Меня била дрожь. Мы стояли возле колонны, и я трогал руками холодные каннелюры, и в глазах у меня билась синь Эгейского моря.

— Если все так, как вы говорите... если ваш мир такой... то кто же был этот первый, которого вы прислали?..

- Мы не присылали его. Он улетел сам.
- Кто же он? Кто эта вонючая помесь электроники и Чингисхана, этот озверелый мещанин?
- Он удрал из больницы и чуть все не испортил. Это просто наш сумасшедший, — сказал он. — По-вашему — псих. Я думаю, и у вас мещанство — это безумие.

...Утро было розовое, тихое.

Она еще спала, моя Афродита. Елена моя, моя благородная норма, девочка золотого века, и на шее у нее пульсировала голубая жилка.

Я все вспомнил. Всю свою жизнь за последние тысячи лет человечьей истории, и в душе у меня звучала прощальная песня Гошки Панфилова, Памфилия, который не подчинился и угадал, он вымечтал свою любовь, и она претворилась. Это была песня про Аэлиту.

Мужики, ищите Аэлиту!  
Видишь, парень, кактусы в цвету!  
Золотую песню расстели ты,  
Поджидая дома красоту.

Семь дорог — и каждая про это,  
А восьмая — пьяная вода.  
Прилетит невеста с того света  
Жениха по песне угадать.

Разглядит с ракеты гитариста,  
Позовет хмельного на века,  
Засмеется смехом серебристым  
И растопит сердце простака.

У нее точеные колени  
И глазок испуганный такой.  
Ты в печурке шевельни поленья,  
Аэлиту песней успокой.

Все равно ты мальчик не сезонный,  
Ты поешь, а надо вычислить,  
У тебя есть важные резоны  
Марсианок песней усыплять.

Вот разлиты кактусной пол-литра,  
Вот на Марс уносится изба.  
Мужики, ищите Аэлиту,  
Аэлита — лучшая из баб.

Не беда, что воют электроны.  
Старых песен на душе поток!  
Расступитесь, Хаос, Космос, Хронос!  
Не унять вам сердца шепоток!

Мне всегда хотелось прочесть или написать роман, а может быть, повесть, которая бы кончалась так:

«...Он просидел за столом до утра, заснул, положив голову на руки, потом проснулся и увидел, что наступило утро. Он встал, вытер лицо ладонями. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Стараясь не глядеть на незнакомую комнату, где он прожил много лет, перешагивая через бумажный мусор, посуду и заскорузлые холсты, он вышел из квартиры и запер ее на ключ. Когда он вышел из парадного, в уши ему кинулся негромкий призрачный шум улицы. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Слышался шум работ, звенели трамваи. Он достал из кармана ключ от квартиры и, подойдя к краю тротуара, опустил его в ближайший водосток. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Надо было жить. Звенели трамваи...»

Я проснулся и увидел, что наступило утро. Я отлежал все бока на одеяле, постеленном в углу мастерской. А ведь когда-то я мог, как на перине, спать на каменных плитах, и подушкой мне служил пистолет ТТ, накрытый фуражкой. Стареем, мамочка моя. Да и пистолет ТТ давно снят с вооружения. Это я узнал в незапамятные времена на офицерских послевоенных сборах, где нам бегло показывали всякое новое оружие, и я тогда во все поверил, во все новинки и не удивился новинкам. Я только удивился и не поверил, когда сказали, что ТТ снят с вооружения. Почему-то мне казалось, что личное оружие — это ТТ и что это синонимы. А как можно отменить синонимы?

Нужно было, чтобы прошло много времени, пока я понял, наконец, что у ТТ синоним не только «личное оружие», но и «фронт», и «лицо без морщин», и «незнание жизни», и «торопливые обобщения», и «умение спать на плитах, подложив под голову личное оружие, накрытое фуражкой», и «молодость».

И нужно было, чтобы прошло совсем немного времени, чтобы прошли эти короткие беглые месяцы, чтобы я понял, что молодость духа не отменяется, умение работать круглые сутки не отменяется, нежность к работающим людям и к младенцам, пихающим тротуар ногой и с воплем наезжающим

на вас своими самокатами, и к воробьям, и к площадке молодняка в зоопарке не отменяется, ненависть к паразитам со сладкими голосами, и к втирушам, и к выползням, к жирным выползням после очистительного дождя, не отменяется, главное не отменяется: от каждого по способностям не отменяется. Так как для художника всегда была важней всего первая половина формулы: от каждого по способностям. Так как трагедия его начинается тогда, когда от него перестают требовать по способностям, и он не может быть счастлив, даже если ему дают по его труду или даже по его потребностям. Ибо главная его потребность — чтобы ждали, мечтали, надеялись на проявление его способностей, чтобы требовали от него по его способностям.

У него огромные потребности, у художника. Ему нужны бесплатная пища, бесплатный кров, бесплатные переезды во все концы, бесплатные краски, бесплатные стены, бесплатные города, бесплатный мир, который он мог бы бесплатно украшать цветами своей души и который бы ждал проявлений его способностей. Ему нужна самая малость. Ему нужен мир, описанный полтораста лет назад двумя художниками в «Коммунистическом манифесте».

Панорама домов уходила в легкий августовский туман.

Я выпил молока и стал тихонько убирать захламленную мастерскую. В душе у меня звонели трамваи моего детства.

Она все еще сиала.

— Благородная норма, — сказал когда-то старик.

Она спала.

Я наклонился и стал смотреть на эту вздрагивающую паше голубую жилку, в которой была заключена светлая и яростная надежда всей мыслимо обозримой вселенной.

# ОШИБКА РАЗМЕРОМ В СТОЛЕТИЕ

Фантастическая повесть



Поль Хорди — «машинный предок»

**В** летний вечер, необычно холодный для этого времени года, мелкий служащий Поль Хорди шел в кафе, чтобы встретиться со своим другом Альберто. Альберто Николаи, художник, вызывал восхищенную любовь Поля именно тем, что был разительно не похож на него самого. В существовании Хорди его духовная жизнь и то, чем он занимался с утра до вечера, представляло классически параллельные линии, словно специально выверяемые друг по другу, чтобы они никогда не пересекались. Жизнь Поля шла строго размеренным образом. Он ни разу не обманул надежд матери: аккуратно носил костюмчики, а потом костюмы, в положенное время кончил учебное заведение и поступил служить. В их доме своевременно появлялись венцы, необходимые для комфорта. Хорди никогда не задерживали квартирной платы или очередного взноса за венец, купленную в кредит. Даже в кафе, чтобы повидать Альберто, ходил Поль в часы, раз и навсегда отведенные для «неделовых» дел, то есть для чтения, размышлений и встреч.

Это однобразное существование, казалось, не тяготило Хорди. Разгадка, быть может, заключалась в том, что был он человеком, редкостного равнодушия к своей особе. Глядя в зеркало, он каждый раз удивлялся, что это и есть он, Поль Хорди, и смутно жалел существа, с покорной усмешкой глядевшее на него из зеркала.

Своих сотрудников удивил и насмешил Хорди только однажды, выступив с неожиданной речью после того, как ему

была выдана поощрительная премия за добросовестность в работе. Он сказал, что да, ему приятно поощрение, он рад, что выполняет успешно ту работу, которую через каких-нибудь два-три десятка лет возьмут на себя машины, и он надеется, что ни одна машина, как бы придиричива она ни была, не найдет ошибки в его расчетах, и, если он еще будет жив к тому времени, ему не придется краснеть перед своими механическими преемниками. Один из управлеченческих остроумцев окрестил его после этой речи «машинным предком», прозвище прилепилось и в течение нескольких дней неизменно развлекало сослуживцев.

Нынче Хорди отправился в кафе в настроении беспокойно-радостном. Газеты в этот день были очень тревожны. В мире все шло как нельзя хуже, и это наполняло Хорди счастливым предчувствием близких перемен. Кроме того, в последний месяц много говорили о транссюдативном аппарате времени, построенным неким Огюстом д'Авери. Большинство газет считало это изобретение, якобы осуществляющее перенесение в будущее, просто жульничеством. Да и то сказать, Огюст д'Авери не гарантировал желающим заглянуть вперед обратную дорогу. Изобретение называлось аппаратом ограниченного действия, так как гарантировало перемещение только в одном направлении и всегда на один и тот же отрезок времени — на век вперед. Это тоже внушило подозрения. Были, однако, состоятельные семьи, воспользовавшиеся аппаратом.

В печати появлялись сенсационные сообщения о локальном похолодании вблизи темподрома и скандальные подробности о лицах, «отбывших в будущее». Как раз в этот день во всех газетах было помещено письмо видного океанолога Дойса, решившего воспользоваться машиной времени.

«Профессор не желает делить с двадцатым веком ответственность за бесчисленные преступления перед будущим», — пестрели броские заголовки. «Профессор имеет крупное изобретение, которое может передать только образумившимся потомкам, людям двадцать первого века»; «Профессор верит в будущее»; «Дойс — агент коммунистической России»; «Не отправляется ли профессор Дойс в ничто?»; «Где сейчас профессор Дойс — в Москве или в двадцать первом веке?»; «Существуют ли в будущем столетии человечество и земля?»

Обо всем этом Поль Хорди и жаждал поговорить с Альберто.

## Смех в кафе «Голубая корова»

Альберто Николаи любил это кафе. В подвальчике, прохладном лстом и теплом зимой, прямо на стене была нарисована туманно-белая корова: нечеткий круп, темные глаза, полные грусти и непочатой нежности.

Глядя на эту фреску, Альберто, склонный к неожиданным ассоциациям, говоривал, бывало:

— Несчастное животное... Всем нам ведома эта тоска... Все мы несданные коровы, тоскующие по неведомому теленку... Мы изолированы от будущего, в этом все дело...

Поля Хорди сегодня он заметил еще у входа, но не поднялся, не окликнул его.

Поль видел, что Альберто настроен неприветливо, и все-таки не мог удержаться от радостной улыбки, показывая художнику дневные газеты с новыми сенсационными сообщениями о транссюдативном аппарате.

— Не верите?

— Я верю в атомную бомбу, — сказал угрюмо художник. — Десяток атомных бомб вполне надежно вернет нас к началу времен.

В другой раз, возможно, Хорди поддержал бы разговор о бомбе, но сегодня ему хотелось порассуждать о машине времени.

— Не станете же вы отрицать, — сказал он возбужденно, — что вблизи темподрома действительно образуются пасты льда? В конце концов, этим аппаратом воспользовалась уже не одна сотня людей.

— Жульничество! — гаркнул мужчина с соседнего столика. — Ни один из них еще не вернулся назад!

— И не вернется, — вставил юнец, сидевший с другой стороны от Поля, так что раскрасневшийся Хорди оборачивался теперь то в одну, то в другую сторону. — Все они отсиживаются в теплых местечках, пока забудутся их махинации.

— А профессор Дойс?

— Большевистская агитка!

— Но позвольте, — удивился Поль, — говорить так — значит не верить в могущество разума!

— Э-э, разум, — пробормотал художник, а хозяин кафе ядовито заметил:

— Бедные люди, кто знает, куда они отправились на этом самом аппарате! Мы-то еще как-никак живем, а в том веке, быть может, уже ничего и нет: ни земли, ни воздуха!

— Вы заблуждаетесь, — горячо откликнулся Хорди. — Впереди не худшее, а лучшее. Прогресс не пустые слова, я вас уверяю!

— Он нас уверяет, скажите пожалуйста! — окрысился вдруг старик, до этого молча буравивший Поля острыми глазами. — Он нас уверяет! А Джерсианская катастрофа, что вы нам на это скажете? Полтора миллиона человечков за несколько секунд — пфф — и нет! И притом же по ошибке! А красавчики из «Лиги жестоких»? И десять миллионов голодных младенцев в Азарии? Не правда ли, миленький прогресс?!

— Вы совершенно правы! — воскликнул радостно Поль. — Вы правы, это ужасно! Но вместе с тем это-то и прекрасно! Прекрасно, что дальше так жить нельзя! Не может человек чувствовать себя счастливым, пока на одной с ним земле голодают дети!

Старик только зло сплюнул, зато мужчина за соседним столиком отпариравал:

— Уж так-таки не может? Э, бросьте! Какое нам дело до этих детей!

И пока Поль сдавленными восклицаниями выражал свое возмущение, художник бормотал:

— Да, это так, нас делают несчастными вовсе не голод и страдания этих людей, а смутная догадка, что нам нет дела ни до чего в мире и ничему в мире нет дела до нас, — в сущности, мы не зависим друг от друга.

— Но это неверно! — возмутился Хорди.

Сочувственно, как показалось Полью, смотрела на него только спутница юнца.

— Это неверно! — повторил он, обращаясь к ней. — Все мы зависим друг от друга.

— О да! — охотно откликнулась девица. — А вы бы хотели прогуляться в будущее?

— Но...

— У вас есть жена? Дети?

— Нет, но...

— Племянники?

— Нет... То есть да. У меня есть сестра, не очень благородная, так сказать...

— О-о, — догадалась девица, — у вашей сестры внебрачный ребенок?

Только сейчас Хорди почувствовал в реплике девицы подвох, он пожал плечами вместо ответа и решительно высвободил руку, которой было завладела девица. Это, однако, не обескуражило ее.

— О Жан, — сокрушенно сказала она юнцу, — этот молодой человек собрался навестить будущее, не имея детей!

— Но тогда ничего не выйдет! — вскричал юнец с таким видом, словно его очень волновала проблема путешествия Поля в будущее. — Он может вылететь в трубу, о-ля-ля!

— Но у него еще не все потеряно, — сказала, подмигивая, девица, — у этого молодого человека есть... м-м-м... неблагородная сестра, у которой... э-э... не вполне законный ребенок.

Вокруг уже широко улыбались.

— Что же ты сразу не сказала, — пришел в буйный восторг юнец. — Зайцем туда не прокочишь, не правда ли, милочка? Путь в будущее лежит через наших детей!

— Вы говорите глупости, — заметил холодно Поль, едва смолк хохот вокруг. — Вы просто не понимаете. Время — это так же, как пространство. Человеку неграмотному кажется, что существует только то, что он видит. Пока он сам не увидит Африку, ему кажется, что ее и нет. Прошлое и будущее существуют одновременно, только мы не можем сразу быть там и здесь. А если бы могли, мы говорили бы с нашими дедами и внуками одновременно.

— Это что же выходит, — вмешался, зловеще багровея, хозяин, — я здесь стою, а мои внуки уже где-то рождаются и помирают? А немножко поближе я рождаюсь и буду рождаться во веки веков, а где-то подальше во веки веков помирать...

— Ха-ха-ха-ха!

— И если я здесь с вами стою, то это так павсегда и останется?

— О-х-о-х-о!

— По неграмотности вам кажется, что этого быть не может, — твердо сказал Поль.

— Хорошо, мне это понятно. Понятно, что где-то я во веки веков рождаюсь и где-то меня пеленают, а где-то я помираю.

Но неужели, тысяча дьяволов, во веки веков на этом самом месте должен я буду слушать твои глупые речи и доказывать тебе, что ты идиот??!

Хозяин разошелся не на шутку и готов был под громовые раскаты смеха выставить бедного Хорди за дверь, если бы за него не вступил художник.

\* \* \*

Следующие дни Хорди был каким-то странным. На работе часто задумывался и даже его расчеты приносили ему несколько раз для исправлений, чего раньше никогда не случалось. В кафе-автомате, куда зашел он с одним из сослуживцев закусить, Поль неожиданно спросил, согласился бы тот, будь у него деньги, воспользоваться машиной времени.

— Но зачем? — не понял его спутник, поглядывая с опаской на осунувшееся лицо Поля, на его горящие глаза.

В ответ Хорди начал сбивчиво объяснять, что человеку трудно жить, будучи неуверенным в прогрессе, что, когда человек начинает сомневаться в будущем — не своем, а человечества, — его личное благополучие теряет для него смысл.

Вскоре иронея слух, что Хорди получил большое наследство от троюродной бабки. Сам Поль о наследстве не говорил, был угрюм, на вопросы отвечал рассеянно и невразумительно. Поговаривали, что у него с матерью крупные споры, как использовать наследство, считали, что теперь Хорди может уйти с работы и жить как ему нравится. И когда он, наконец, действительно перестал появляться по утрам в конторе, никто не удивился.

\* \* \*

Поль шел по одной из улиц окраины города. Уже желтели листья, а в палисадниках, тщательно ухоженных хозяйствами, цвели георгины. Все окружающее вызывало у Хорди умиленную грусть, впрочем, тоже тревожную и торопливую, как и все чувства, владевшие им в последнее время.

Собственно, Хорди шел проститься. С тех пор как он получил наследство и решил воспользоваться машиной времени, дни проходили сначала в поисках, а затем уговорах изобретателя, у которого начались в это время неприятные объяснения с властями. Дома у Поля тоже было неладно. Он скрыл от ма-

тери свое истинное намерение, сказав, что думает поездить по миру, но само его сообщение о решении попутешествовать вызвало бурный протест: мать желала использовать наследство другим, более разумным способом. Первый раз в жизни они скандалили, и Поль чувствовал себя совершенно измученным.

Наконец назначен день отбытия в будущее. В следавшей его тревоге Поль жаждал благожелательного напутствия, элегического прощания, чего-нибудь, что сделало бы риск красивым. По условию контракта с изобретателем он должен был сохранять полную тайну предстоящего отлета, но Поль справедливо полагал, что можно попрощаться, и не сообщая, куда именно собираешься, только так, слегка намекнув.

Была в жизни Хорди девушка, которая, казалось, понимает его лучше других. Не то чтобы она высказывала когда-нибудь мысли, близкие мыслям Поля, — Мадлен вообще не высказывала ничего такого, что принято называть мыслями. Но когда, гуляя с ней по вечерам, Поль развивал какую-нибудь идею, она слушала его так благоговейно, так послушно восклицала «О-о!» каждый раз, когда Хорди на нее взглядывал, что идея его обрастила новыми и новыми доказательствами, становясь все гармоничнее. Однажды, правда, слушая его, Мадлен заснула возле Поля на скамейке, и, проснувшись, так забавно воскликнула «О-о!», что Хорди на нее даже не рассердился.

Жениться на Мадлен Хорди не собирался. Этого никогда не позволила бы его мать. Да и сам он мечтал о другой — прекрасной и изнурительной — любви. Но проститься он хотел именно с Мадлен. Сентиментальный, как большинство мужчин, склонных больше, чем это принято считать, к декоративным чувствам, Поль находил, что ему должно быть устроено судьбою романтическое расставание. Он готов был даже помочь судьбе: наиболее подходящим объектом для этого была робкая любящая его девушка, и вот он шел к ней.

Сначала все происходило так, как он и представлял. Увидев его в дверях, Мадлен вспыхнула, торопливо поправила волосы и передник, а потом убежала переодеться. Впервые родителей Мадлен не оказалось дома, и это тоже было кстати. Мадлен выглядела беспокойнее обычного. Она то поправляла какие-то вещи на столе, то садилась напротив Поля и начинала с привычной внимательностью кивать головой. Но Мадлен никак не могла дослушать — все оказывалось, что ей что-то нуж-

но сделать, и она, извинившись, уходила на кухню, а возвращаясь, проходила близко от Хорди и усаживалась, вздыхая, напротив и снова внимательно слушала и быстро кивала, но вдруг поднималась и поправляла что-то рядом с ним, и пальцы ее дрожали, а взгляд избегал его. Волнение Мадлен передалось, наконец, Хорди, и, когда она, в который уже раз, стала поправлять рядом с ним скатерть, он обнял девушку, и она послушно припала к нему, и он поцеловал ее, как целовал и раньше, на минуту забывая, кто он и кто она и почему им нельзя быть вместе. Размечая нынешний вечер, он так и думал, что поделает Мадлен, но собирался это сделать после того, как намекнет на вечную разлуку. С трудом отодвигаясь от нее, Поль почти крикнул:

— А я уезжаю!

— Куда? — спросила Мадлен одними побелевшими губами.

— Навсегда. В будущее, — выпалил он.

Хорди мог быть удовлетворен тем, что ни на минуту она не усомнилась в его возможностях отправиться в будущее. Ни один человек в мире, даже сам Огюст д'Авери, наверное, не мог бы так безусловно поверить в то, что Поль специально, чтобы обмануть ее ожидания, способен в любую минуту удрать в будущее.

— Не пущу, — сказала она, раскинув руки у двери, словно будущее начиналось сразу за дверью.

Поль приужденно рассмеялся.

— Разве мы связаны какими-нибудь обещаниями или договорами? — вежливо спросил он, и на минуту его вежливость подействовала на Мадлен отрезвляющее, она опустила руки и голову, но едва он сделал шаг, снова раскинула руки.

— Не пущу, — повторила она хрипло.

Он молчал, растерянный, и тогда снова заговорила Мадлен, с трудом подбирая слова:

— Разве я когда-нибудь добивалась, чтобы вы на мне женились?

Поль пожал плечами.

— Нет, это вы знаете. Я когда-нибудь обижалась на вас? И не обиделась бы... никогда. Пусть вы не можете на мне жениться. Я и не прошу... Но вы меня можете просто так любить... Разве вам не нужна женщина?

— Я не вправе... — начал было Поль.

Но она его перебила:

— Если у вас завелись деньги, бог с вами, уезжайте в свое будущее, но ведь это можно сделать и через год. Нам так было бы хорошо в этот год!

— Это невозможно, — сказал Поль, и опять она сразу поверила.

— Невозможно, — повторила она. И вдруг закричала: — Так убирайся отсюда, трус! Ты хуже убийцы — ты курица! Дохлая курица! Убирайся, не хочу тебя знать! Курица! Курица! Вот кто ты! Паршивая курица! Трус!

И все время, пока он спускался по лестнице, вслед ему вслосясь:

— Паршивая курица! Трус! Будь ты проклят! Хуже убийцы! Ненавижу! Трус!

\* \* \*

На рассвете на большой пустыре, где установлен был аппарат времени, каким-то образом прорвалась растрепанная Мадлен.

— Постойте! — кричала она, задыхаясь. — Вы не имеете права! Он мой! Он мой!

Тот же взрыв, что растворил в неведомом Хорди, откинул на землю эту девушку с перекошенным бледным лицом.

## Странное будущее. Магда

Еще в полусознании Поль долгое время видел одно и то же лицо. Много ли длилось состояние между сном и явью, он не знал, но всегда потом ему казалось, что юное женское лицо стояло перед ним все то мгновенное и бесконечно долгое время, в которое минули, не коснувшись его, сто лет. Он еще не помнил, кто он и что с ним случилось, еще не выделял это лицо из окружающего, но, необозначенное, неназванное, оно волнивало его.

Придя в себя, Хорди долго не мог избавиться от ощущения, что наблюдает девушку, не воспринимаемый ею, бессильный протянуть руку, помочь в неведомом горе. Над Хорди, отделяя его от девушки, простиравшись что-то вроде стеклянного колпака. Стоило ему, однако, заговорить, как девушка не толь-

ко услышала его, но и вскочила, побледнев. Поль снова впал в забытье.

Проходили часы, а может быть, дни. Поль чувствовал себя все лучше. Но каждый раз, когда он пытался хотя бы улыбнуться своей юной сиделке, на лице ее появлялась испуганная замкнутость. Это было и больно и досадно: если он действительно находился в будущем, а это, по-видимому, было так, он ожидал к себе уж если не радушия, то хотя бы любопытства — только не этой отчужденности. Он готов был оскорбиться, но стоило девушке уйти, и он чувствовал себя совсем одиноким — пугался, что она исчезла насовсем.

На экране напротив все время вспыхивали и гасли цифры, по всей вероятности, показатели состояния Хорди. Однажды, изучив табло, девушка погасила его. Некоторое время она стояла как бы в нерешительности, тяжело о чем-то задумавшись, потом тронула на щитке, вделанном в стену, несколько клавиш. Тотчас Поль почувствовал, как что-то сжимает ему голову и грудь. Он метнулся в своих проводах, закричал и тут встретил взгляд обернувшейся к нему девушки. Поль не мог ошибиться — в ее глазах был страх убийцы. Он видел еще, как, ужаснувшись, зажмурилась девушка, прислоняясь обессиленно к стене.

...Когда Хорди снова очнулся, стеклянного навеса над ним не было. Мягкий беззаботный голос сказал откуда-то сверху:

— Сегодня двадцатое октября две тысячи семьдесят пятого года...

Голос вздохнул и хотел еще что-то прибавить, но девушка, которую только сейчас заметил Поль, по-видимому, выключила радио. Теперь заговорила она сама.

— Меня зовут Магда, — сказала девушка. Голос у нее был низкий, чуть хриплый, и это было странно, как если бы ребенку была дана душа взрослой женщины. — В ближайшие несколько дней вы будете общаться только со мной. Выходить из комнаты нельзя — в палате создан специальный биологический режим.

Общения, однако, не получалось. Поль поинтересовался, почему он внушает ей отвращение, и ответа не получил, словно Магда и не слышала его. Он еще о чем-то спросил, и опять она сделала вид, что не слышит. Тогда, порядком обиженный, он попросил принести какую-нибудь книгу, изданную в этом году.

Девушка принесла ему увесистый том. Но с книгой происходили странные вещи. Поль мог бы поклясться, что в ней есть места, которых он не может прочесть, хотя видит шрифт и глаза привычно складывают буквы в слова. Сколько ни перечитывал Хорди эти страницы, он не мог воспроизвести потом ни одной фразы. Однажды книга просто растаяла в его руках, и уже через минуту Хорди не был уверен, держал ли он ее в руках. Он стоял посреди комнаты, боясь сдвинуться с места, словно и пол мог исчезнуть под ним, как исчезла из рук его эта вещь... эта... эта... как исчезло что-то из самой памяти его...

Магда, которой по возможности небрежно сказал он о предшествующем его ощущении потери чего-то, что он уже не может и вспомнить, не только не рассмеялась (он подумывал, не подшучивают ли над ним), но как будто даже встревожилась. Глядя на нее, Поль уже забыл о разговоре, у него было чувство, что девушка, стоящая перед ним, необычна. Каждая черта в ней его волновала. Это было так не похоже на все, испытанное им до этого в жизни, что сама эта девушка казалась ему нереальной. Он не мог совладеть с собой и коснулся пальцами ее лица. Лицо было нежно, чуть влажно. Да и сама Магда густо покраснела, как покраснела бы на ее месте любая девушка в любом веке.

— Простите... — пролепетал Поль.

И долго еще после того, как девушка ушла, рассматривал, растерянно улыбаясь, пальцы своей руки.

Несколько раз приходили трое мужчин и две женщины. На вопросы и они не отвечали, зато много расспрашивали сами: известен ли ему принцип действия аппарата времени, кто он такой, Поль Хорди, чем занимался в прошлой жизни, имел ли не увидевшие свет научные идеи или изобретения, каковы были его политические убеждения и социальная активность, были ли у него дети, безразлично — брачные или внебрачные, и думал ли он их иметь, любил ли какую-нибудь женщину и любила ли какая-нибудь женщина его. Хорди сердили эти по несколько раз задаваемые вопросы. Он никак не ожидал, что его будут так настойчиво расспрашивать о нем самом. Он многое мог бы порассказать о быте и нравах прошлого века, мог напомнить забытые песенки и стихи, поведать о том, во что верили и чему были преданы его современники, но все это, по-видимому, людей двадцать первого века почти не интересо-

вало. Вместо того они снова допытывались, что он сделал и что еще думал сделать в той прежней жизни, и любил ли он, и любили ли его.

Поль вспоминал последнее, что видел в той жизни: девушку с перекошенным бледным лицом, ее крик: «Он мой! Он мой!», и взрыв, опрокинувший ее. Он отгонял от себя воспоминания, стряхивал их с себя и, поднимая голову, видел профиль другой девушки — из этой, новой жизни, — тонкий профиль почти детского лица.

— Род занятий в прошлом — студент, — он просто не в состоянии был, пока в комнате находилась Магда, напряженно прислушивающаяся к опросу, признаться, что несколько лет занимался трудом, не требующим творческих усилий. — Нет, изобретений не имел. Нереализованные идеи? Ну, у кого их нет! Какие именно? Разве это существенно? Существенно? Странно, в самом деле... Да нет, собственно, так, не идеи, а мысли очень общего порядка... Нет, нет.. Можно даже сказать, не имел. Существенных идей не было... Что? Нет, принцип действия транссюдативного аппарата хранился изобретателем в тайне.

Вопросы о любви особенно раздражали своей назойливостью, своей бес tactностью, своей несерьезностью наконец. Порой Хорди казалось, что его мистифицируют, над ним потешаются. Но при всей исходности людей будущего — живых и сдержанных, внимательных и рассеянных — было в них нечто общее: казалось, их всех снедает глубокая тревога. И с ще он чувствовал к себе с их стороны холодность, насмешливое удивление, даже презрительность — все что угодно, только не дружелюбие.

Отправляясь в будущее, Хорди в глубине души надеялся попасть в Аркадию, страну безмятежных улыбок и вечного блаженства. Встреть его прекрасные, радостные люди, начни тут же расспрашивать про его время, интересоваться, не был ли он знаком с их предками, рассказывать о том новом, что успело сделать человечество за сто лет, — и все было бы так, как он и представлял. Но эта необъяснимая неприязнь, их тревога и сдержанность, наконец, эти бесконечные допросы, любил ли он, любили ли его, имел ли он печатные работы или хотя бы идеи, — от всего этого можно было взбеситься.

Наконец он не выдержал и на все тот же вопрос о любви и детях ответил язвительно, что, к сожалению (ироническая

улыбка), не испытал в былой жизни чувства, которое так интересует их. В прошлом веке, между прочим, прибавил он, некоторые женщины из породы любопытствующих проявляли не меньшее внимание к чужим романам. Так вот он, Поль Хорди, до сих пор не любил. Но надеется (он зло и твердо посмотрел на Магду), надеется полюбить в этой жизни. Нельзя, правда, сказать, что женщины двадцать первого века приветливы и жизнерадостны. А его современницы улыбались, да, да, улыбались! А ведь улыбка и сейчас украсит любую женщину гораздо вернее, чем изысканнейший туалет...

Самый старый из опрашивающих сидел, наклонив голову, обхватив лоб ладонями. Молодой человек смотрел на Хорди с любопытством. Одна из женщин, казалось, едва сдерживала гнев, другая казалась удивленной. Когда Поль кончил свою саркастическую речь, гневная женщина прощедила сквозь зубы:

— Надеюсь, мой прадед был умней.

Молодой человек сказал задумчиво:

— В сущности, они не притворяются.

А женщина, которая казалась удивленной, вдруг рассмеялась. Она смеялась, а остальные смотрели на нее кто сердито, кто рассеянно.

## В конце концов мне тоже около ста тридцати...

Однажды Магда объяснила, что акклиматизация закончена и вскоре вместе с другими эмигрантами из прошлого, или, как их здесь называли, переселенцами, он должен будет явиться в большой зал биолечебницы, где с ними будут говорить.

— Как, все еще существуют собрания? — шутливо вскричал Хорди, но девушка не поддержала шутки. Она собиралась уйти, и Поль испугался, что теперь, когда акклиматизация закончена, она может больше не появиться.

— Постойте! — окликнул он. — Я... я должен поблагодарить вас за внимание...

Магда, хотя и остановилась, никак не ответила ему, и, чтобы продлить разговор, он брякнул первое, что пришло ему в голову:

— Правда, мне показалось как-то, что вы хотите меня убить...

Он собирался весело рассмеяться, но девушка вдруг вскинула на него мгновенно наполнившиеся слезами глаза, и он уже не мог рассмеяться, не мог не думать, что она действительно хотела его убить.

— Но за что?! За что?! — прошептал он, потрясенный. — Почему вы так ненавидите меня? Неужели между мною и вами такая разница, что вы никогда не могли бы полюбить человека, подобного мне?

— А вы, — тоже шепотом спросила она, — вы могли бы полюбить убийцу?

Все смешалось у него в голове. Ему подумалось вдруг, что, может быть, он не первый, кого хотелось ей убить, может, она уже убивала, возможно, она на исправлении в лечебнице, может быть, именно так, на работе сиделки исправляют в этом безумном веке преступниц.

— Убийцу? — пролепетал он, смятенный.

— Человека, убившего своих детей, и внуков, и правнуиков?

— Неужели у вас уже были правнуки? — только и мог проговорить Поль.

Некоторое время Магда смотрела на Хорди в немом удивлении, потом что-то дрогнуло в ее лице, и она рассмеялась, впервые за все это время, рассмеялась безудержно, звонко, став совсем уж неправдоподобно юной. Поль смотрел на нее недоверчиво, потому что подозревал после всего сказанного, что она вовсе не так уж молода, как кажется, — это ведь было все-таки будущее, и неизвестно, как выглядели в нем столетние женщины. Ее неунимающийся смех слегка обижал Хорди. Он чувствовал себя, как человек с завязанными глазами, которого дергают то с одной, то с другой стороны, в то время как он беспомощно топчется на месте.

— Вы же сами сказали, — пожал он плечами, и снова Магда смеялась до слез, до детского восторга, пока ему и самому не стало весело и немного грустно, и было уже все равно, сколько ей лет.

— В конце концов мне тоже около ста тридцати, — сказал он покладисто, но странная девушка вдруг перестала смеяться, вся как-то сжалась, словно он онять пепароком коснулся больного места.

Ушла она, не простившись, оставив Хорди в полной растерянности.

## Переселенцы из прошлого

Когда Поль вошел в зал, его поразило количество собравшихся людей. Все это были «переселенцы во времени», до этого рассеянные в многочисленных палатах огромного здания биолечебницы.

Форма зала была необычна, и, может быть, потому современники Хорди казались здесь мельче, суетливее, карикатурнее как-то, чем выглядели среди привычных вещей прошлого столетия.

Последнее время Поль общался только с людьми двадцать первого века, и представлялись они ему совершенно такими же, как он сам, как те, среди которых жил он раньше. Но вот сейчас Поль смотрел на современников и удивлялся, как не замечал раньше топорности их лиц, плохой дикции, нелепой походки.

Всего здесь было человек триста-четыреста. Некоторые сидели молча, другие собирались в группы или, как Хорди, бродили по залу, прислушиваясь к разговорам.

В одной из групп толстяк с бабьим голосом, редактор прогоревшего в прошлом веке журнальчика, ратовал за создание собственной газеты переселенцев.

— Друзья! — воскликнул он, закатывая, как поющая птица, глаза. — Друзья! После русской революции эмигранты в Харбине создали восемь газет, хотя, казалось бы, о чем им говорить?!

— А нам, по-вашему, есть о чем разговаривать?

— Нам — есть! — перечеркнул сомнения повелительным жестом руки оратор. — Нам, друзья, есть о чем поговорить! Нам нужно осознать прошедшее! Нас триста семьдесят шесть человек, и нам есть о чем поведать миру!

Протиснувшись в другой кружок, Поль увидел профессора Дойса.

— Собственно, мне ничего не надо, — говорил профессор сухо, не глядя на собеседницу, которая, очевидно, раздражала его, но которой нельзя было не ответить. — У меня нет никаких желаний, кроме одного: я хочу работать.

— Вы думаете, ваши знания еще кому-нибудь нужны? — злорадно крикнул кто-то сзади.

Все головы повернулись в ту сторону, один только Дойс не взглянул на крикнувшего.

— Пойду в студенты, — сказал он и сделал движение, как бы приготовившись расчистить проход среди обступивших его людей.

— Во всяком случае, профессор, разгадку эффекта Зюммера вы, наверное, здесь узнаете! — заметил кто-то благожелательно, но лицо Дойса и тут не смягчилось.

— Я хочу работать, — повторил он, как человек, одержимый одной мыслью. — Почему мне не дают изучать научную литературу?

Немного поодаль беседовали двое. Первый говорил, что все, вероятно, хуже, чем можно было ожидать. Второй отчаянно возражал.

— Неужели вы не видите, — почти кричал он, то и дело оборачиваясь к слушателям в поисках сочувствия, — неужели вы не видите, что теперь мы можем жить спокойно, что мы, наконец, живем в цивилизованном мире?!

— Вы приглядывались к лицам этих потомков? — спрашивал, посмеиваясь, его собеседник. — Они что-то не очень веселы, не правда ли?

## Ужасная речь

Это было последнее, что слышал Поль до того, как в зале появился человек будущего Альзвенг. А сорок минут спустя Хорди, ошеломленный услышанным, шел в свою палату.

На минуту он остановился, увидев Магду за одной из приоткрытых дверей, но не окликнул ее, пошел, пошатываясь, дальше.

— Бедная девочка, — шептал он, бредя нескончаемым коридором, — она тоже хотела убить, бедная девочка...

Он вспоминал внятный голос Альзвенга и крики испуга, возмущения, которые время от времени раздавались в зале.

Хорди не мог восстановить последовательно в памяти речь Альзвенга.

Страшные вещи говорил этот человек. Он назвал их, эмигрантов из прошлого, дезертирами и убийцами, назвал не так, как называют в запальчивости и озлоблении, а как бы проду-

манно подбиравая точные определения. Тогда еще в зале молчали, ошарашенные услышанным. С тем же спокойствием человека, озабоченного лишь правильным изложением фактов, Альзвенг сказал, что среди аборигенов двадцать первого века еще с момента появления первых переселенцев раздавались решительные голоса, настаивающие на немедленном уничтожении новоявленных современников, но это требование отклонили, так как убийство в данной ситуации ничего бы не решило — все изменения и разрушения, связанные с переселением, уже налицо в тот момент, когда переселенец явился.

Теоретические рассуждения Альзвенга дали время переселенцам прийти в себя. Кто-то взвизгнул:

- Он назвал нас убийцами — это злобная инсинация!
- И сейчас же ряды взорвались криками.
- Безобразные выдумки! — надрывался мужской голос.
- Они нас убьют! — вопила женщина.
- Слушайте! Слушайте! — кричали другие.

Все это время человек будущего спокойно ждал тишины.

— Должен признаться, — как ни в чем не бывало продолжал он, когда крики смолкли, — нам не всегда удавалось предупредить акты мести, акты ненужной жестокости наших граждан. Обезумевшими людьми были уничтожены два переселенца в месте их материализации, прежде чем прибыл санитарный отряд для оказания биологической помощи. Не сохранили мы также одного переселенца уже здесь, в здании лечебницы. Он был уничтожен медицинской сестрой, хотя персонал в лечебницу отбирается тщательно и убийца сознавала всю бесполезность этого акта.

На этот раз в зале подавленно молчали, и тогда Альзвенг вернулся, как он выразился, к основному.

— Принцип действия транссюдативного аппарата для людей двадцать первого века остается загадкой, — сказал он. — И до тех пор, пока человечество не возьмет под контроль этот аппарат, оно ни в чем не может быть уверенным — почва веков колеблется под его ногами...

Но, — прибавил Альзвенг с неожиданным пафосом, — как ни тяжела сложившаяся обстановка, она ставит человечество двадцать первого века, как никогда, близко лицом к лицу с фундаментальнейшей проблемой — проблемой времени.

Впрочем, последнее Поль уже помнил смутно.

— Дезертир! — твердил он, бредя по коридору.

«А вы могли бы полюбить убийцу?» — слышал он голос Магды, но этот голос перекрывал другой, исступленно-хрипкий: «Паршивая курица! Трус! Будь ты проклят! Хуже убийцы!»

## Существуем ли мы?

Последующие дни, однако, смягчили впечатление от речи Альзенга.

Это были дни ознакомительных экскурсий, дни демонстрации изменений, которые произошли в двадцать первом веке с исчезновением переселенцев в прошлом. С некоторой гордостью люди будущего объяснили, что оказалось очень трудно установить, что именно и как изменилось в мире с перемещением во времени переселенцев, так как изменениям сопутствует почти полное забвение того, что было до них. Однако двум очень упорным ученым удалось опыт с восстановлением памяти уничтоженного прошлого, и это возвратило человечеству контроль над утраченным временем.

— Ну, что я вам говорил, — шептал пожилой переселенец. — Они сами ничего не помнят, ничего не знают, и кто поручится, что два «упорных ученых» не жулики просто-напросто?

Переселенцев доставили в лес. В обычновенный лес. Но до их перемещения, сказали им, на этом месте расстилалась степь.

Лес шумел, и под ногами лежал ссохшийся прошлогодний лист, и по тому, как пружинил этот лиственный настил, по тому, как темным холодком тянуло из низин, было понятно, что не один год и не одно десятилетие стоит здесь, осыпая осенью листья, лес.

— Не так уж плохо, — пробормотал рядом с Полем толстяк редактор. — Если действительно здесь была степь... Такой лес... Они бы должны в ножки нам кланяться.

Проходивший мимо лесник поздоровался. Он поглядывал на экскурсию со сдержанным любопытством. Разговорились, и лесник рассказал, что живут они в лесу уже давно и лес стоит здесь испокон веков.

— Уж не дурачат ли нас? — снова пробормотал рядом с Хорди толстяк.

Но Поль не мог избавиться от ощущения, что лесник при всей его естественности чем-то неуловимо отличается от тех людей будущего, которых видел Хорди до этого. Странное чувство реальности и в то же время призрачности окружающего не покидало его. Да и все вокруг, даже толстяк редактор, подозревавший розыгрыш, ступали осторожно, словно опасаясь, не расступится ли сию минуту под ними земля.

— Черт возьми! — сказал стоявший за спиной Поля. — Того и гляди, кому-нибудь из бывших моих современников захочется прогуляться в будущее, и этот лес, а заодно и мы, снова станут ничем!

Испуганный человек так сильно вздрогнул, что Поль невольно улыбнулся, хотя и ему не было весело.

...Их привезли на берег моря. Еще недавно море было живым, на дамбах высились громадные синтетические заводы. Сейчас перед эмигрантами расстился пустынnyй берег с какими-то металлическими конструкциями вдали. Раза два к ним приближался человек в скафандре, требуя, чтобы они ушли с критической территории. Сколько охватывал глаз, море было покрыто черной, дурно пахнущей пленкой.

В газете, которую позволили издавать переселенцам, появилась скандальная статья некоего Штефека: «Существуем ли мы, переселенцы во времени?»

«Если двадцать первый век существовал и до нас, — писал Штефек, — до нашего переселения, а это, по-видимому, так, если нам было куда переселиться, то, следовательно, есть уже и двадцать второй, и двадцать третий, и, во что еще труднее поверить, имеются уже и следующая минута и следующий час. А раз это так, мы только призрачно наделены свободой что-то делать так или иначе, потому что все, что будет, уже есть. Но этому выводу явно противоречат изменения и разрушения, вызванные нашим переселением. Эти разрушения с несомненностью свидетельствуют о том, что, изменив свою судьбу, изменив свою жизнь, мы изменили будущее. Но если мы ежесекундно творим и меняем будущее, то не может оно существовать одновременно с прошлым и даже раньше его. Тогда невозможно и наше переселение, и мы сами, переселенцы во времени. Итак, существуем ли мы или мы фикция?»

В полемике по статье Штефека принял участие сам редактор. В колком ответе «Много нелепостей из ничего» он развивал мысль, что никакого парадокса, усмотренного Штефеком,

не существует, время течет своим чередом, переселенцы же во времени были просто законсервированы все эти сто лет.

На это Штефек ядовито заметил, что консервы все-таки занимают некоторое место, особенно если законсервирована такая особа, как уважаемый оппонент. «Однако, — продолжал Штефек, — наши законсервированные тела не были нигде и никем обнаружены в течение ста лет, а появились внезапно, уничтожив в момент, предшествовавший воплощению, то, что существовало до нас или, вернее, быть может, сказать, после нас».

И в ответ на это появилась, наконец, статья никому не известного Чу Иня, который утверждал, что до сих пор действительно существовали одновременно прошлое и будущее, поскольку в мире господствовала фатальная предопределенность и однозначность, транссиодативный же аппарат — не что иное, как бунт вольнолюбивого дьявола против властного и ограниченного бога, раз и навсегда определившего мир, бунт, уничтожающий фатальность. Но уж эта статья была явно «вне добра и зла».

## Самоубийство

Разгоревшаяся полемика очень отвлекла внимание переселенцев от непосредственных тягостных впечатлений, выносимых из ежедневных поездок. Перенесенная в область идей, вся эта история с переселением теряла некоторую долю остроты. Кто-то даже сочинил забавную песенку «Если мы существуем...», и какое-то время современники Хорди, настроившись на игривый лад, всюду ее напевали, с удовольствием диктуя слова тем, кто еще не знал. Потомки тоже как будто исчерпали темы для экскурсий, и многим переселенцам казалось, что самое страшное уже позади. Даже Поль почувствовал прилив энергии и пытался как мог развлечь Магду.

Он показывал ей в лицах, как всего пугается переселенец озабоченный, как все находит забавным переселенец беззаботный, как беспокоится о повышении тиража редактор-толстяк и как требует научной литературы профессор Дойс. Поль даже изобразил Альзвенга, который, вооружившись лупой, рассматривает приколотого булавкой к листу бумаги худосочного переселенца. Под рисунком была подпись: «Фундаментальнейшая проблема».

Магда тихонько смеялась, прикрывая лицо узенькими ладонями. Меж пальцев на Хорди поблескивали благодарные глаза, и у Поля сжималось сердце от жалости и любви к этой растерянной девочке, благодарной ему даже за такую малость.

Чтобы ее насмешить, он готов был на что угодно. Как-то он даже изобразил, встав на четвереньки, лошадь, по ошибке перемещенную во времени. Поль вставал «на дыбы», падал на «передние ноги» и тут же визжал, то изображая панический ужас горожанки двадцать первого века, то ответный испуг нервной лошади.

Магда смеялась до слез, но вдруг обиделась:

— Вы меня считаете ребенком!

И отвернулась к окну, а когда он подошел к ней, готовый просить прощения, тихо спросила:

— Разве это весело — то, что вы рассказываете? Я смеюсь просто потому, что устала мучиться. Мне страшно, вы понимаете, Поль?

— Ничего, ничего, — бормотал, подавленный, Хорди. — Этот мир, может быть, не очень надежен, но зато в нем кое-что от нас зависит, теперь-то мы это знаем. Это неплохо — знать, что кое-что от нас зависит.

— Да, если мы есть...

— Но вы-то есть, Магда, я это точно знаю, клянусь вам, — горячо сказал Поль и заслужил еще одну благодарную улыбку Магды.

— Стоит ли волноваться? — сказал он тогда, осмелев. — Вы еще не слышали песенку «Если мы существуем...»?

...Вскоре, однако, случилось такое, что враз и жестко вернуло переселенцев к насущной трагедии.

Уже несколько раз профессор Дойс не участвовал в общих поездках, ссылаясь на необходимость произвести некоторые расчеты. Затем он попросил разрешения еще раз, уже одному, съездить к омертвевшему морю взять химические пробы.

Приехав с моря, профессор повесился в своей палате.

Переселенцы были скорее оглушены, чем огорчены этой смертью. Каждый из них с момента начала действия аппарата времени пережил огромные страдания, и почти все они считали, пусть не вполне отчетливо, что это как бы залог вечной или хотя бы очень продленной жизни. И вот перед ними был

человек, который, проделав этот мучительный путь, сам отказался от всего, ради чего пошел на риск.

«Что толкнуло профессора к самоубийству — зрелище плодов своих действий или своего бездействия?» — под таким заголовком была опубликована в тот же вечер заметка в «Листке переселенцев». Но все это было не так уж ново. Гораздо любопытнее, хотя и не вполне понятны, были несколько фраз, набросанных Дойсом в той же тетради, где были его последние расчеты и формулы.

«Посмертные письма — жалкая ложь, стремление прикрыть или обнажить часть правды» — эта строчка, выведенная внизу восьмого листка тетради, была дважды зачеркнута, но воспроизведена почти в тех же выражениях через три страницы и дополнена еще одной мыслью: «Мы оставляем после себя кое-что посущественнее, и пусть под этим почти никогда нет подписи автора — это посмертно наш ад или наш рай, пусть несознаваемый нами...»

«Я очень стар, — было написано почти в конце тетради, — и мое самоубийство не многим отличается от естественной смерти, смерти человека, у которого все равно уже нет сил что-нибудь изменить в сделанном раньше...»

И уже на обложке было наброшено еще несколько строк: «Химизм биосфера... Мы слишком надеемся на могущество биосфера. Мы слишком верим, что и отбросы сумеет она обратить в удобрение и яд — в стимул. Но есть границы могущества даже очень обширных явлений. И сама бесконечность не утешение. Ее мера — конечные вещи. Они делают бесконечность той или иной. Бесконечность не безлика — вот в чем великое счастье и горе тех, кому дано было понять...»

## В лечебнице для забывших

Долгое время Хорди считал себя одним из самых счастливых переселенцев. Всю эту историю с разрушениями и изменениями он понимал так: что, переселившись, эмигранты из прошлого тем самым перечеркнули свою последующую жизнь в том прежнем, двадцатом веке, которая уже существовала, раз существовал к моменту их переселения и двадцать первый век, а перечеркнув ту, прежнюю последующую жизнь,

вместе с нею уничтожили и все, что следовало из нее в будущем. Так понимал он всю эту историю. Но даже если он, Поль Хорди, и существовал в самом деле позже, чем переселился, едва ли он мог сделать что-нибудь такое, аннулирование чего привело бы к столь значительным переменам в будущем. В первый раз он был рад собственной ничтожности. Он даже подумывал рассказать о своих соображениях Магде, но опасался, и не без оснований, надо думать, что посредственность труднее полюбить, чем преступника.

По всей вероятности, не один Поль в эти дни доволен был своей незначительностью. Неугомонный Штефек писал:

«Людям двадцать первого века, а заодно и нам остается только радоваться тому обстоятельству, что среди переселенцев, к счастью, еще и очень малочисленных, нет, в сущности, если не считать профессора Дойса и еще двух-трех десятков человек, сколько-нибудь дельных людей. Все мы по большей части люди без определенных занятий, рантье, болтуны...»

Все эти успокоительные соображения возможны, однако, были лишь до посещения лечебницы для забывших.

Психические заболевания были одним из самых страшных последствий сдвига времени. Появлению очередного переселенца обычно предшествовало исчезновение нескольких людей, а то и целых семей. Те, что в свое время знали исчезнувших, естественно, перенесли сильнейшее первое потрясение. Это потрясение, впрочем, было связано не с самим даже исчезновением, так как исчезновение сопровождалось полным забвением, словно исчезнувшего никогда и не существовало. Но само забвение, провал в памяти не давались, видимо, даром. Соприкасавшиеся, как называли их доктора, тяготились чувством, что они забыли что-то важное, испытывали мучительную неуверенность в окружающем, страх, что они могут почему-то исчезнуть, что они, может быть, даже и не существуют. Медикаментозное и биологическое лечение, психотерапия, многократные беседы, разъясняющие причину заболевания, возвращали соприкасавшихся к нормальной жизни. Но среди них-то и раздавались чаще всего гневные голоса, требующие физического уничтожения переселенцев. И при этом, странная вещь, именно они обнаруживали гипнотическое влечение к переселенцам.

Внешне попутчики Хорди теперь уже почти ничем не отличались от людей двадцать первого века. Из мест, где долж-

ны были появиться переселенцы, обычно заранее удаляли соприкасавшихся. Но если почему-либо случалась оплошность и соприкасавшийся не был выявлен и удален, он сразу обнаруживал себя сомнамбулическим тяготением к переселенцам. Обычно соприкасавшийся обнаруживал беспокойство еще до появления экскурсии. Когда же экскурсия появлялась, он начинал как-то замедленно приближаться. Своим поведением соприкасавшиеся напоминали лунатиков. Некоторые из них, как слепые, ощупывали лица переселенцев. Иногда же такой «лунатик», взявши переселенца за руку, всюду ходил за ним следом, пока его осторожно не отрывали, чтоб увести. После этого обычно соприкасавшиеся впадали в крепкий сон, после которого ничего не помнили, но долго еще сохраняли смутное беспокойство.

Нечего и говорить, переселенцы панически боялись соприкасавшихся, хотя ни один из последних не вел себя в сомнамбулическом состоянии агрессивно.

Все это было, однако, пустяками в сравнении с тем, что пришлось пережить переселенцам в день посещения лечебницы для забывших. Забывшие — так не совсем точно назывались люди, которые не смогли примириться с исчезновением из жизни и из памяти дорогих им людей. Сдвиг в их психике оказался слишком велик, исихоз псевдеренности в себе и окружающем слишком остр.

В огромном санатории с райским изобилием зелени и цветов бродили люди, с недоверием и страхом взиравшие на это великолепие. Одни из них забивались в самые укромные уголки и часами сидели неподвижно, пытаясь вспомнить неуловимое. Другие плакали, не умев объяснить причину своей печали. Никто из них не обращал никакого внимания на посетителей. Тем неожиданнее была встреча забывшими переселенцев.

Еще до появления экскурсии в лечебнице наблюдалось все усиливающееся беспокойство. Обычно безучастные к людям, в это утро больные внимательно всматривались в лица встречных, даже возвращались, чтобы еще раз взглянуться в человека, только что прошедшего мимо. Ближе к приседу переселенцев почти все забывшие сгрудились у входа в санаторий, и увести их отсюда было невозможно. Срочно установили и укрепили переносные ограды, за которые оттеснили больных, оставив проход посредине.

Вообще-то медики предполагали, что забывшие будут вести себя так же пассивно, как соприкасавшиеся. Однако случилось непредвиденное.

Появление первой же группы переселенцев в воротах словно освободило мозг забывших от долгого гнета беспамятства. Рев сотен глоток встретил переселенцев. Со всех сторон сквозь прутья гнувшихся под напором оград тянулись к ним грозящие, указующие, молящие руки. Несколько женщин рыдали, упав на колени у самой ограды.

— Амебы! — несся из толпы забывших чей-то исступленный крик. — Взбесившиеся амебы!

— Дезертиры!

— Предатели!

— Убийцы!

И снова:

— Убийцы!

— Дезертиры!

Какой-то мужчина просил неистовствовавших вокруг него:

— Перестаньте! Тише! Дайте мне им сказать! — И, вцепившись в прутья, кричал, стараясь заглушить других: — Даже животные не пожирают своих детей! Вы хуже животных! Вы пожрали будущее, чтобы продлить свою ничтожную жизнь!

И опять над толпою забывших взмывал пронзительный крик:

— Амебы! Взбесившиеся амебы!

— Похоже, что они привели нас на гражданскую казнь, — сказал, поеживаясь, редактор.

Переселенцы сбились в узком пространстве между решетками.

— Дезертиры пожаловали на готовенько, — хихикал, тыча в них кривым пальцем, старик за оградой. — Вот оно, господа дезертиры, готовенько — как вам оно нравится?!

В это время сквозь гомон сотен голосов услышал Поль тихий хриплый голос, повторявший его имя.

— Поль Хорди, убийца! — твердил этот голос. — Ты слышишь меня? Обернись, трусливый убийца Поль Хорди! Ты слышишь, подлый трус?

И, обернувшись, он увидел глаза, знавшие его и знакомые ему, хотя никогда до того не встречал он этой женщины.

## Почему мы хорошо различаем лишь явное?

— ...Послушайте меня, — сказал он вошедшей Магде. — Я все понимаю теперь... понимаю тот ужас, который внушал вам с самого начала. Но разве кто-нибудь из нас мог знать? Мы чувствовали себя героями, решившись расстаться со своим временем.

Девушка молчала.

— Никто из нас не знал, что его ожидает. Но хотите знать, пусть вас это ужаснет еще больше... До сегодняшнего дня я считал, что могу успокоить вас... Я думал, что никого не задел, никого не убил, ничего не уничтожил, переместившись. Я думал, что достаточно быть ничтожеством, чтобы спать спокойно в любом веке. Но и ничтожества творят будущее. Пусть вас не тревожит, что я жесток к себе, я собираюсь быть еще беспощаднее... Я еще не все сказал... Сегодня я узнал, что я убийца... То самое, о чем вы говорили еще тогда, когда я ничего не понял. Помните, когда вы смеялись. Может, это будущие, или вернее, прошедшие, мои дети, которые теперь, когда все так перепуталось, оказались нерожденными... Может, я не спас кого-то. Не знаю. Но я убийца. Я видел сумасшедшую женщину, которая это знает и знает меня. С моим появлением здесь исчезли какие-то люди, исчезла сама память о них, но эта сумасшедшая женщина помнит. Она узнала меня. Она угадала даже имя мое. И она не чужая мне, я это тоже узнал, хотя никогда не видел ее до этого. Там все кричали, там кричали сотни людей, а она говорила шепотом, но ее шепот, наверное, слышен был и здесь. Рев сотен глоток — комариный писк рядом с этим...

Подняв глаза на Магду, он увидел, что у нее дрожат губы, дрожит лицо, но, казалось, это не произвело на него впечатления.

— И это еще тоже не все, — продолжал он. — Я мог бы сказать, что раскаиваюсь. Что я не знал, а теперь, узнав, раскаиваюсь. Это не было бы ложью, но это не вся правда. А нужно всю. Я раскаиваюсь, да. Но если бы теперь, уже зная все, мог выбирать... Я снова бы выбрал это. То, что сделал... Потому что должен был, все равно не мог бы... Я понимаю, это страшно. Невольный убийца — одно, а это уже другое.

Я все равно должен был видеть вас, Магда... Я бы снова выбрал то, что сделал, потому что иначе нельзя.

Но и это не все, — сказал он тяжело, словно делал непосильную работу. — Вы, люди двадцать первого века, кажетесь чище нас, переселенцев. Вы ненавидите нас. Но ведь это чистота неведенья, и только. Вы, как нервные барышни, которые презирают скотобойцев, но с удовольствием кушают котлеты только потому, что они уже достаточно не похожи ни на живую, ни на убитую корову... Поймите хотя бы одно. Мы ужасны, конечно. Но ведь это только потому, что скрытое стало явным. Каждый из вас так же лелеет одно будущее и убивает другое. Почему же мы все хорошо различаем лишь явное?

— Я говорил, что буду жесток до конца и был жесток до конца, — сказал он, чувствуя, впрочем, что уже обессилел, что уже не хочет ни правды, ни лжи, ничего.

Магда сидела, сгорбившись. Он хотел взять ее руку, безвольно опущенную на колени, она попросила:

— Не надо.

— Поймите, — сказал он устало, — мы кажемся вам такими ужасными лишь потому, что скрытое стало явным. Другие берут настоящее в кредит, предоставляя будущему сводить дебет с кредитом. Я заплатил наличными — это моя вина?

И опять она попросила:

— Не надо...

Поздно ночью она пришла к нему сама. Когда комната освещалась нежным светом почных ракет, он видел, как неподвижны ее широко раскрытые глаза. Он гладил ее щеки, мокрые от сбегавших слез. И знал, что так и должно быть.

## Колеблемый мир

В их любви не было шуток, не было легкости и веселья.

Они боялись спать, словно могли, проснувшись, не найти друг друга. Они то и дело касались один другого, словно не верили себе.

— Кто ты? — жадно и глубоко смотрели ее глаза. — Почему ты так мне дорог? Что это?

И он, дотрагиваясь до ее волос, до бровей, до губ, спрашивал пальцами:

— Откуда ты? Кто ты?

И ни один не мог ответить, потому что все, что знали они до этого друг о друге и о себе, было ненужно, было шелухой, опавшей с зерна, а зерну они не знали названия. Ничего не объясняло то, где они родились и где жили до этого. Ничего не объясняли их имена, они были ненужны, под любым именем каждый из них угадал бы другого. Каждый из них почувствовал бы другого, даже если бы был слеп и глух. Каждый из них, даже лишенный памяти, искал бы другого.

— Кто ты? — спрашивал взглядом один, касаясь дрожащими пальцами другого.

И другой спрашивал:

— Откуда ты? Кто ты?

И каждый из них знал, что необъясним тот, другой, которого он любит, и необъясним он сам, и каждый волос на их голове — чудо, и каждый взгляд, и каждое прикосновение — дар.

— Время спутало свой шаг, — твердили они, — для того, чтобы мы могли встретиться. Сто лет нас разделяли, но, если бы мы не встретились, у каждого из нас родились бы странные, несчастные дети.

— С самого первого дня, — шептала Магда, — как привезли тебя в лечебницу, я ни минуты не была спокойна. Я думала, что неизвестно тебе, а оказалось — вот как. Я хотела тебя убить и не смогла. Что бы ни случилось, я люблю тебя. У нас будет много детей. Все забудут, что ты пришелец. Мы искушим твою вину.

Между тем мир вокруг них день ото дня менялся. Все больше на улицах было странных людей, совсем непохожих на тех, которых знал Хорди в начале своей жизни в двадцать первом веке. Появившись здесь совсем недавно, они тем не менее помнили и свое детство, и своих отцов, и даже дедушек. Они считали, что издавна живут в этом мире, и никто уже не помнил, так это или нет.

Поглощенный своей любовью, Хорди не мог все же не чувствовать, что облик улиц и домов неуловимо меняется. Все было как будто так и не так, как в первые дни переселения.

Газеты, которые лишь изредка теперь просматривал Поль, были тревожны и невнятны. В одной из последних было помещено интервью, взятое Штефеком у Альзвенга:

«—Каковы ваши прогнозы на будущее? Каковы опасения?

— Этого вам никто не сможет сейчас сказать. В предвидении будущего человек опирается на прошлое. В первый раз человечество не знает своего прошлого, не знает настоящего. Как можно говорить о будущем?

— Не является ли ваша позиция волонтаризмом? Разве так уж много значит перемещение людей? Что значит отдельный человек на фоне объективных мировых законов, объективных законов общества? Разве можно повернуть человечество вспять? Разве не все, что существует, развивается?

— Когда мы утверждаем: «все, что существует, развивается», мы говорим, в сущности, об ограниченном опыте Земли. Но предположим даже, познание вселенной подтвердит этот опыт, мы узнаем, что действительно есть общее для всех мировых процессов направление развития от низшего к высшему. И тогда остается маленькое условие, упомянутое вами как-то вскользь: развивается все, что существует. Человечество будет идти вперед, пока оно существует. Но оно может перестать существовать.

— Пусть так. Пускай случится самое страшное — человечество уничтожит себя. Но все равно где-то в других мирах жизнь будет продолжаться. Где-то во вселенной найдутся другие миры с большей волей к жизни.

— Это будут другие миры.

— Вы думаете, это будут худшие миры?

— Нет, просто другие.

— Вы считаете, существуют невозместимые потери?

— Не знаю. Возможно».

Тем временем число биолечебниц для переселенцев росло. В прошлом столетии обстановка накалялась. Стойкая радиация в воздухе, атомная провокация в Нью-Челло, военная истерия, неуверенность в завтрашнем дне толкали все большее число людей на крайний риск, даже на воровство и преступления, чтобы оплатить услуги машины времени... В двадцать первом веке по мере того, как воплощались все новые и новые переселенцы, переполнялись санатории для забывших. Теперь в них содержались не только потерявшие воспоминания о дорогих людях, но и ученые, утратившие идеи, составляющие смысл их жизни, писатели, забывшие, о чем они хотели поведать людям, педагоги, бессильные восстановить важнейшие разделы своего курса.

Пришло время зимы. Но холода не наступали. Напротив,

с каждым днем становилось все жарче. Земля в полях потрескалась. В городах было душно.

Люди боялись ходить по улицам, сидеть дома, читать книги. А в двадцать первом веке небольшая кучка энтузиастов работала день и ночь, стремясь овладеть секретом машины времени и уничтожить ее.

## Два солнца в небе. Вобранное назад будущее

В ту ночь Магда и Поль почти не спали. Сквозь раздвинутую стену-окно протекал воздух, который не приносил прохлады. Наоборот, от него в комнате становилось еще жарче. Задвинули стену-окно, попробовали климатизатор — он не работал. Около трех часов ночи включился аварийный видеотелефон. «Всем, всем, всем», — мигали сигнальные лампочки.

«По последним сведениям, полученным от только что воплощенных переселенцев, — всыхивали огненные слова, — 19 января 1976 года восставшие в Фортесабле овладели машиной времени. Изобретатель убит. Овладевшие машиной потеряли управление. Действие аппарата ширится. Десять городов засосаны машиной времени. В Европе паника. Пробный заградительный пояс, смотрированный энтузиастами двадцать первого века, смят. Число переселенцев растет. Жертвы огромны. В провинции Фуинли люди двадцать первого века, оставшиеся в живых, убивают переселенцев. Правительство призывает к порядку и самообладанию».

Экран выключился. Телефон и видеотелефон не работали.

До рассвета Магда и Поль сидели обнявшись.

С рассветом поднялся сильный ветер. Дома раскачивались, как деревья. Свет становился все ярче. Поль опустил штору, стоял, прижав к себе Магду.

...Когда Хорди очнулся, он был один. Страшная тоска давила ему сердце. Страшная боль сдавливалась голову. Он хорошо знал, что забыл что-то, без чего нельзя жить. Несколько раз ему казалось, что за спиной кто-то стоит. Вид пустой комнаты, когда он оглядывался, не успокаивал его. В обыденности обстановки угадывалась зловещая ложь. Вещи притворялись заурядными, издеваясь над ним.

Шатаясь, он вышел на улицу. Свет все прибывал, давя на

воспаленные веки. Улицы были пустынны, обожжены нестерпимым светом. Нигде не было видно ни одного человека, и все же он слышал чьи-то шаги, чье-то дыхание. Кто-то заплакал за углом. Поль вздрогнул.

Прислонясь к горячей стене дома, Хорди поднял голову. Над ним, приближаясь друг к другу, сияли два солнца. Они неумолимо сближались.

Хорди поднял руки, хотел закричать, но страшный удешевленный свет вспыхнул вокруг него, и он потерял сознание.

\* \* \*

... — Парень пьян, — сказал мужчина, пытаясь приподнять голову Хорди.

— Это обожгло мне глаза, — пробормотал Поль.

— Он пьян, — сказала женщина, поставившая корзину с овощами, чтобы передохнуть.

— Они вобрали назад будущее! — закричал, вскакивая, Поль.

— Бегите за полицейским, — ахнула, шарахаясь, женщина. — Он не в себе!

— ...Что, что тут такое? — спрашивал, проталкиваясь сквозь волниющуюся толпу, полицейский.

— Идите, идите сюда! Здесь помешанный!

## Сумасшедший Поль Хорди

В частной лечебнице содержится сумасшедший Поль Хорди.

Мадам Хорди утверждает, что сын ее сошел с ума после неожиданного получения наследства, к которому не был подготовлен прежней размеренной жизнью. Того же мнения и старый художник Альберто. Он один не боится свихнувшегося и часто приходит к нему.

Иногда, впрочем, навещает больного и скромная женщина, которую Поль Хорди называет то Мадлен, то Магдой. Ее приход всегда так тяжело волнует больного, что врач в последний раз попросил ее больше не приходить. Посещения же Альберто, по-видимому, больному приятны.

— Меня заперли в этот дом, — говорит он художнику, — потому что мы, оставшиеся в живых переселенцы, так же тяжелы себе и окружающим, как были тяжелы в свое время забывшие. Мы знаем то, о чем люди не желают думать... Что поделаешь, людям хочется жить спокойно.

Я видел то, что не дай бог увидеть вам: как действительное едва становится возможным, а потом превращается в ничто. Я видел времена, повернувшее вспять. Не дай вам бог увидеть это! Не дай бог!

Поль плачет, уронив голову в руки, но вдруг оживляется.

— Одно хорошо, — говорит он, вглядываясь радостно еще мокрыми от слез глазами в лицо Николаи. — Одно хорошо, мой друг, одно замечательно: они сожрали не только будущее, они сожрали и эту ужасную машину! Но наш долг предупредить людей, вы понимаете? Они слишком легкомысленны, эти люди, слишком хотят покоя. А его нету, мой друг, даже и после смерти. Уж я-то это знаю! И знал Дойс. Потому-то он и покончил с собой.

Хорди очень беспокоится, не случилось бы какой-то катастрофы, которую он называет Нью-Челлской, и художник не противоречит ему, хотя знает, что Нью-Челлские острова далеко в стороне от предполагаемого места испытания гиперtronного оружия.

Иногда, уходя от Хорди, Альберто встречает в саду другого умалишеннего — с изысканными манерами.

— Не поговорить ли нам немножко? — учтиво предлагает этот больной.

Художник кивает.

— В конце концов я единственный нормальный во всем этом сумасшедшем доме, — говорит помешанный, любезно подвигая Альберто кресло. Сам он усаживается напротив, с аристократической небрежностью обмахиваясь больничным полотенцем. — Единственный нормальный! Вы мне, конечно, не верите? Но ведь это очень легко доказать! Чем отличается нормальный человек от сумасшедшего? Чувством юмора, не так ли? Разве вы не замечали, что сумасшедшие при всем различии проявлений патологии начисто лишены этого чувства? Все они и пальцем не шевелят просто так, ведь они уверены, что каждый их шаг имеет глубокий смысл, что стоит им не так шагнуть — и мир погибнет, провалится в тартарары. Ах, если бы вы знали, какие комичные это люди! За-

чем мне менять место жительства? Нигде уже не будет так смешно! Каждый из них, как муха, оцепеневшая от страха, что, если она поползет не в ту сторону, мир может погибнуть! Все они здесь спасители мира! Ничего не может быть забавнее этих оцепеневших или суевяющихся букашек! Ха-ха-ха-ха!

Художник терпеливо слушает, стараясь не смотреть на больного. Альберто уже знает, в какое бешенство приходит этот с изысканными манерами умалишенный, если заметит сострадание в глазах собеседника. За этим помешанным особенно тщательно следят санитары — раза три-четыре в день балагур пытается покончить с собой.

\* \* \*

— При нашем образе жизни, — говорит вечером старый Альберто в кафе, — только в лечебницах для душевнобольных можно еще встретить крупицы мудрости...

И если находится желающий его слушать, художник развивает мысль, почему восемьдесят процентов душевнобольных считают себя великими людьми. По его словам, это гипертрофированное чувство ответственности, возникшее как болезненная реакция на то, что в так называемой «нормальной» жизни человек ощущает себя ничтожеством.

Возвращается домой он поздно, один по пустынным улицам. Изредка ему встречаются влюбленные. Они скользят по Николаи рассеянным взглядом, останавливаются, чтобы поцеловаться. И слыша извечное: «Откуда ты взялась такая? Кто ты?», и видя, как касаются, словно не веря глазам, пальцы влюбленного лица возлюбленной, художник теребит дрожащей рукой карандаш, но бросает рисунок после двух-трех штрихов.

Ибо Альберто — из тех странных художников, что знают гораздо больше, чем дано им поведать.

## «МЫ ИГРАЛИ ПОД ТВОИМ ОКНОМ...»



И шел быстро, и его глаза сами собой прикрывались от солнца и встречного ветра, листья и цветы одуванчиков сливались в радужные пятна, а облака нависали над домами, как клубы белого дыма. Он остановился только один раз, да и то на минуту, чтобы выпить бутылку лимонада, которая перекатывалась в чемоданчике. После этого там остался один прибор для бритья, завернутый в мягкое полотенце. Через час он должен подойти к своему дому, но ему казалось, что это неправда, сои, что уже приходилось и раньше много раз видеть эту бесконечную ленту дороги, шагать домой по асфальту, по травянистым дорожкам. Он стал перебирать подробности возвращения, но они терялись в памяти, словно все окутывалось туманом — и голоса и лица.

Полчаса, не меньше, приходил он в себя в зале для прибывающих, и единственное лицо, которое ему запомнилось, было лицо девушки, сидевшей за столиком напротив. Очевидно, она кого-то встречала.

Сейчас ему пришло в голову, что у нее как будто знакомое лицо, он даже попытался вспомнить, где мог видеть его, да вдруг рассмеялся. Когда он улетел, ее, может быть, и на свете не было. «Типичное лицо, — подумал он, — хорошее лицо, можно позавидовать тому, кого она ждет». Самое интересное, что и девушка смотрела на него и удивленно и вопросительно, словно вспомнив что-то. Но он не обманывался относительно своей внешности — если кто-то и знал его раньше, то вряд ли

узнает теперь. От прежнего Сергея в нем осталось очень мало. Скоро ему шестьдесят. Через три месяца. Теперь его вполне могут не допустить к полетам. Сошлются на какой-нибудь пункт положения... Он будет просить, он может даже ходить на голове, в ответ лишь разведут руками: «Рады бы, да не имеем права, вот прочтите сами».

Ему казалось, что стоит отдохнуть, выспаться, побриться не спеша, и он станет прежним, сорокалетним, с виду молодым, но достаточно опытным. Увы, только казалось. Но захочется ли ему самому лететь снова? Он хорошо знает, что это такое: дни и ночи, целые годы, а потом — отнюдь не встреча с чудесами, не райские кущи, не земля обетованная... Лишь увидишь, как вырастет далекая звезда, станет похожей на солнце, услышишь, как защелкают затворы фотокамер, включатся приборы, датчики, замигают огоньки на панелях дальномеров — будь внимателен, не зевай, скоро назад. Так было дважды. В этот раз его притянуло к звезде, и он едва выбрался. Официально это называется исследованием околозвездного пространства.

Сергей чуть было не угодил в воду: прыгнул, но едва дотянул до края лужицы, она была довольно широкой, с дном, исчерченным велосипедными шинами. Ночью прошел дождь, и теперь в воздухе пахло сырой травой, клевером, асфальт еще не нагрелся по-настоящему. Из желтых одуванчиков вылетали шмели и гудели над пешеходной дорожкой. Дома зеркалами-окнами ловили и асфальт, и траву, и цветы, и облака. И поэтому окна становились то голубыми, то белыми, то синими, то зелеными. Длинным рядом цветных шахматных клеток шагали они вперед вместе с Сергеем, а возле домов прыгали, бегали, кричали дети.

Ему пришлось успокаивать пятилетнего мальчугана, гнавшегося за девчонкой, которая отняла у него жука. Сергей остановил его, но это было каплей, переполнившей чашу: мальчуган залился слезами. «Мертвый жук... мой жук», — повторял он всхлипывая. Майского жука он сам нашел на земле. Девчонка была старше его. Сергей дал ему большую белую ракушку. Мальчик, не переставая, всхлипывал. Сергей подождал немного и сказал ему, что ракушка с Марса.

Он уже отошел метров на сто, когда его догнал мальчишка с собакой. В руках ивовый прут; собака, остановившись подальше, виляет хвостом. Он что-то сказал, но тихо, и опустил

голову, ковыряя землю прутом. Он тоже просил ракушку с Марса.

— Очень жаль, — сказал Сергей, — у меня была только одна... Что? В следующий раз? Нет, я больше не полечу. Никогда. «Стриж» — моя последняя ракета.

Собака подбежала ближе и завиляла хвостом еще быстрее, мальчик водил по земле прутом.

— Видишь ли, — сказал Сергей, — раньше я всегда привозил много камней и ракушек ребятам из нашего дома, а сейчас так уж получилось... Я давно не был дома, а дети стали взрослыми. Да, брат... Ну, мне пора.

Эта ракушка, собственно, предназначалась его сыну. Она долго пролежала в чемоданчике, во всяком случае, в прошлый раз он возвращался уже с ней — нашел возле базы на Марсе. Сыну тогда было лет семь. Но дома его ждала коротенькая записка. Жена забрала мальчишку и ушла от него. И мебель и полы в комнатах были такими чистыми, как будто их мыли и протирали только вчера — ни пылинки, ни соринки. С тех пор жена не давала о себе знать, прошла, как канула в воду. А он через некоторое время улетел. Собирался лет на восемь, а вышло па двадцать. Он любил жену и поэтому заставил себя забыть о ней. Сына он забыть не смог.

Он остался тогда один, все надеялся разыскать их, увидеть сына, да так и не собрался. Передумал. В ожидании отлета (у него бывали свободными целые дни) подружился с соседскими ребятишками. Мастерил для них игрушки — прыгающих зайцев и лягушек, ракеты, которые летали выше дома, бабочек впрягал в маленькие повозки из бумаги и ниток.

Шум да гам поднимался по вечерам во дворе, когда дети собирались вместе. Кто же захочет терпеть такое? Им не разрешали громко кричать, ломать ветки деревьев, кидать камнями в кошек, бегать с сачками по газонам, прыгать, взявшись за руки, на автомобильной стоянке. Мало этого. Им совсем запретили играть под окнами — только на детской площадке. Все, кроме Сергея. Он не ругался, не жаловался их строгим молодым мамам. Ему нравилось, когда под его окнами они затевали шумные игры. По крайней мере скучно не было. Но родители пытались испортить и это маленькое их удовольствие. Они требовали, чтобы дети каждый раз вежливо спрашивали у Сергея разрешения бегать и прыгать под его окнами.

И когда он возвращался домой, ребятишки, оставив на минутку игру, как по команде, кричали: «Сергей пришел!» (Нашли ведь товарища!) И длинноногая Элька, самая старшая из них, подбегала к нему и спрашивала:

— Мы играли под твоим окном. Можно?

Зашуршали шины, легковая машина, поравнявшись с Сергеем, замедлила ход. За рулем сидел мужчина, рядом — та самая женщина, которую он видел в порту.

— Вас подвезти? — мужчина за рулем почему-то улыбался.

— Нет, спасибо, мне недалеко, — отговорился Сергей.

— Он подвез бы вас до самого дома, — сказала женщина.

— Мне уже предлагали машину в порту, я отказался. Падоела техника, да и спешить некуда. Вы издалека?

— Марс, Юпитер-два, — ответил мужчина и опять улыбнулся.

Женщина внимательно смотрела на Сергея. Его начинало это раздражать.

— Я был подальше, — сказал он.

— Мы знаем, — сказала женщина. — Соскучились по дому?

— Нисколько. Забыл, где он и находится.

— А ты? — спросила она спутника. — Не забыл?

— Нет, — ответил тот, — мне не нужно было это и помнить, ты же обещала меня встретить.

Они уехали. Он пытался вспомнить, где видел ее раньше. Видел ли?

...Он шел по своей улице и издалека узнал предпоследний дом у перекрестка. Зашел во двор, нашел свои окна. Дом был тот же, да не совсем, словно тоже постарел. Деревья, которые сажали еще при нем, здорово выросли, и поэтому дом казался чуть ниже.

И там, во дворе на скамейке, словно поджидая его, сидела женщина, с которой он разговаривал по дороге. Она заметила его, наклонилась, что-то сказала... и тогда он увидел детей, бежавших к нему. Сергей остановился. Он узнал. Два лица, наконец, слились в его памяти. Элька, прыгавшая через веревочку под его окном... Элька с коротенькими пушистыми косичками и длинными ногами?.. Неужели она помнит его? Он в нерешительности переводил взгляд с нее на ее мужа,

на детей, подбежавших к нему. Нужно было что-то сказать, хотя бы просто поздороваться. Он видел, что им хорошо, что им весело.

— Здравствуй, здравствуй, Сергей! — закричали дети. — Мы играли под твоим окном!

\* \* \*

Его разбудил звонок. Он не сразу понял, чего от него хотят. Деревья, кусты, люди, машины на дальнем шоссе — все, что он успел увидеть за окном, едва приоткрыв глаза, казалось продолжением сна, начало которого затерялось в далеком мальчишеском детстве. И тогда, как сейчас, были люди, лица, небо, затянутое облаками. Мягкий свет в комнате. Шаги за дверью, на кухне. Голос не то бабки, не то матери. Утро. Звонок. Пора в школу. Его торопят. Скорей, скорей, опоздаешь!.. Ах, как не хочется вставать, еще минутку бы! Но ласковая бабка безжалостно срывает одеяло.

Пока он одевался, кто-то нетерпеливо нажимал кнопку звонка. С улицы доносились голоса, тихий рокот моторов, далекие гудки.

Сергей открыл дверь, пригласил войти. Человек помедлил, словно в нерешительности, потом быстро прошел в комнату и после обычных извинений сразу приступил к делу.

— Видите ли, — начал он, — нам не ясны некоторые детали, касающиеся вашего возвращения. Может быть, это покажется странным, но я должен кое-что узнать у вас. Моя фамилия Волин, я с космодрома.

- Спрашивайте, — сказал Сергей.
- Не помните ли вы точное время приземления?
- Десять часов двадцать минут.
- Вы приземлились на ракете «Стриж»?
- Да, на «Стриже».
- Номер посадочной площадки?
- Площадка номер девять. Что-нибудь случилось?

Волин молчал, словно собираясь с мыслями. Сергея раздражал его тон, хотя он и понимал, что Волина привела к нему важная причина. Прийти, не связавшись предварительно по фону? Ему вдруг показалось, что тот хотел появиться неожиданно, сразу, не предупреждая.

- В чем же дело? — снова спросил Сергей.

- Дело в том, — медленно проговорил Волин, — что площадка номер девять пуста.
- Где же ракета?
- Нигде. Ее нет. Она пропала.
- Вы шутите... поищите ее в моем чемодане.
- Это бесполезно. Ракеты вообще не было.
- То есть как не было?
- «Стриж» не приземлялся.
- Выходит, я пришел пешком?
- Вам это лучше знать.

Странное чувство испытывал Сергей. В голове крутились обрывки воспоминаний, впечатлений, мыслей. Он внимательно смотрел на Волина, его лицо словно удалилось, голос тоже звучал откуда-то издалека. После вчерашнего голова еще кружилась, если бы его не разбудили, он бы, вероятно, спал еще долго. Усилием воли Сергей поборол остатки сна. Лицо Волина приблизилось. Собранный и подтянутый, с нарочито неторопливыми жестами, Волин как будто изучал Сергея. Внимательные глаза его были полуоткрыты. Именно такие вот, до поры до времени находясь как бы в засаде, могут молниеносно повернуть события, в единий порыв вложить всю силу и ум.

— ...представьте, — медленно говорил Волин. — Прилетает космонавт. По крайней мере утром случайно становится известным, что он дома. Ракета исчезает. Ищут следы приземления — их нет. Физико-химический анализ поверхности площадки говорит за то, что никакой ракеты не было вообще. Никто не зарегистрировал приземления. Никто не видел ракеты. Ни один человек. Ни один локатор. Какие-нибудь догадки, пояснения? Их нет. — Волин смолк, повернувшись спиной к собеседнику.

Сергей будто вслушивался в его многозначительное молчание. Совершенно неожиданно ему вдруг стало смешно. Потерять ракету? Что они, ошалели, что ли? Сдерживая улыбку, он повернулся к Волину.

— Так, значит, «Стриж» не приземлялся? Едем на ракетодром.

Сергей прошел к взлетной площадке. Волин остановился у низеньких перил. Был обычный рабочий день. Поодаль, метрах в ста, люди в комбинезонах готовили к старту чью-то ра-

кету. Оттуда доносились мерное электрическое жужжанье и резкие металлические звуки.

Между каменными плитами ракетодрома пробивалась пыльная трава. От труб энергопитания поднимался теплый воздух. Дальний лес серой дрожащей лентой исчезал за горизонтом. Площадка номер девять была пуста. Ветерок перекатывал по бетону тяжелую соломину.

Сергей понимал, что обстоятельства вовлекли его в центр необъяснимых пока событий. Но где их начало? Его считали погибшим. Неожиданное отклонение от расчетной траектории — и ракету бросило к звезде. Он видел красные фонтаны протуберанцев совсем близко, почти как этот лес на горизонте. И раскаленный звездный ветер гнал за корму светящиеся облака, горячие извивающиеся вихри, словно в дышащей жаром печи жгли золотистых змей. Можно ли само его возвращение считать первым звеном в цепи этих событий? Очевидно, нет. Он ведь отлично помнил, чего ему это стоило. Он остался жив, потому что перенес перегрузку.

Но дальше... эта пропавшая ракета. Сергею вспомнилось, как они только что разыскали с Волиным того самого мальчишку, который просил ракушку. Собственно, найти его было нетрудно. Дом Сергей примерно помнил, его жизнерадостную белую собачонку знали здесь многие. Мальчик сразу узнал Сергея. Когда Сергей полушутя попробовал напомнить ему их разговор о ракете (им все еще владело веселое настроение, и дорогой он подтрунивал над Волиным), мальчуган вытаращил глаза. «Вполне естественная реакция», — сказал Сергей как будто про себя. Волин промолчал.

И все-таки версию о недоразумении приходилось отбрасывать. Ракеты не было ни на одном из космодромов. Сергей медленно шел сейчас к тому самому месту, где вчера он сошел с трапа на землю. Волин что-то крикнул и показал руками.

— Что, что? — переспросил Сергей.

— Возвращайтесь, — услышал он, — не ходите по площадке!

\* \* \*

Темного дерева стол, два-три стула, шкаф с книгами во всю стену, окно настежь — это и был кабинет профессора. Сергей остановился у двери, профессор Конний предложил

стул, извинился за беспорядок, украдкой смахнул на лист белой бумаги окурки, расположившиеся из пепельницы. Лист скомкал, зажег свет («Как быстро стемнело, я и не заметил»), из-под очков — рассеянный взгляд на Сергея, голос тихий, спокойный:

— Знаете, просчитали мы по вашим данным траекторию. Оставалось всего двадцать тысяч километров до фотосферы, «Стриж» неминуемо должен был встретиться со звездой, понимаете? Сгореть, исчезнуть. Как это вам удалось, расскажите — как?

Сергей ответил что-то. Что он мог рассказать ему? Можно ли рассказать о годах надежд и тревог, о любви, о смерти, о жизни? О минутах ожидания. Об отвоеванных секундах и метрах, подаривших ему жизнь. И о том, как нервы звенят, словно натянутые струны, и руки сжимаются, да так, что костяшки пальцев становятся белыми? Ведь слова будут сухими, непохожими на правду.

Копний предлагал для объяснения происшедшего весьма сложную гипотезу. Он ссылался при этом на недавние астрофизические исследования структуры звездных спектров.

— Представьте каплю и океан, — говорил он Сергею. — Каплю мы изучили, взвесили, измерили и поражаемся всемогущей природе, создавшей такой шедевр. Об океане же знаем очень мало и потому считаем его просто большой лужей, в лучшем случае механическим собранием множества капель. Капля — это Земля. Океан — звезда. Некоторые думают, что звезда — это чуть ли не извечное скопление осколков атомов, что-то вроде гигантского костра, котла, в котором не найдешь ни одной целой молекулы. Отчасти это верно, но лишь отчасти.

Нельзя сбрасывать со счета эволюцию. Почему это в одной-единственной капле — горы и равнины, люди, ракеты, любовь, плотины, революции, искусственный синтез ядер, математика? В океане — нуль. Разве это так уж бесспорно?

Сергей рассеянно слушал. Ему захотелось подойти к открытому окну и помолчать. Сейчас, когда над столом мягко горел свет, а на улице стихал городской гул и от кустов, травы, деревьев пахло молодыми листьями, он по-настоящему наслаждался. Это был его второй вечер. По шоссе плыли огни. Красные, желтые, зеленые. Над теплой землей дрожали звезды.

Он пока не вполне понимал профессора. С большим удовольствием он поговорил бы с ним о цветах и яблонях, о старом доме, в котором жил мальчишкой, о кино, книгах, рыбной ловле, но каждый раз Копнин деликатно переводил разговор на интересовавшую его тему. По его словам, нуклоны и электроны, эти кирпичики, из которых построено вещество, могут располагаться так, что их комбинация будет устойчивой, способной противостоять огненному урагану звезды. И, раз возникнув, она не исчезает, не растворяется в огне, потому что сама похожа на вихрь, на горячий смерч. Такой вихрь появляется чисто случайно, вероятность его рождения ничтожна. Но ведь звезды существуют миллиарды лет, их масса... стоит ли это напоминать Сергею? Цифры говорят о том, что такие устойчивые вихри не фикция. У потока радиации берут они энергию, новые силы.

Странную гипотезу развивал профессор Копнин. Из известного факта о материальной основе мысли он делал далеко идущие выводы. Движущиеся ионы, электрические потенциалы, биотоки — вот с чем связана мысль. Но и рой элементарных частиц с его неизмеримо более высокой энергетикой, со структурой, четко оформленной гигантскими силами, с молниеносными нейтрино, по мнению Копнина, был не менее подходящей питательной средой для мысли.

Копнин подал Сергею конверт. Тот вопросительно посмотрел на него.

— Там снимки, ознакомьтесь.

Сергей достал два фото — большое и поменьше. На большом фотоснимке ночное небо, в правом верхнем углу — слабое светящееся пятнышко. На втором фото — пятнышко покрупнее.

— Случайные снимки, — сказал Копнин, — сделаны примерно за пять часов до вашего возвращения.

— Вихрь, о котором вы говорите? Уж не думаете ли вы, что дело обошлось без ракеты?

— Для меня это почти очевидно.

— Но кислород... все остальное?

— Э, пустяки! Из одного литра нуклонов и электронов можно сделать столько кислорода, что хватит на все человечество.

— Ну да, нужно лишь расположить их в определенном порядке.

— По-видимому, у них это получается.

— Живые вихри? На звездах? Переносящие космонавта на Землю? Но ведь для этого им по крайней мере нужно уметь угадывать мысли, а это не так-то просто — анализировать биотоки мозга. Неужели вы верите?

— Я верю фактам, — сухо сказал Копнин.

— Но если даже было что-то похожее, почему я не помню ровно ничего.

— Это уже дело техники. Внушение, гипноз — как угодно. Так нужно, понимаете?.. Почему? Ну хотя бы для того, чтобы не травмировать психику. Вы летели в ракете. Но это лишь иллюзия. Ракеты не было. Это точно установлено... Что? И вас и ракету? Это гораздо сложней — перенести ракету. Если хотите, из чисто экономических соображений.

Сергей лихорадочно искал возражения. Все в нем сопротивлялось желанию поверить в услышанное. Выходит, он своим спасением обязан кому-то? А кому — толком и неизвестно.

— Хорошо, — сказал он, — пусть они настолько проницательны. Допустив это, мы сразу придем к противоречию. Я же хотел не просто вернуться. Я хотел увидеть сына. Что им стоило? Если все так и есть, как вы говорите, для них это сущий пустяк, а я... попробуй-ка теперь найди его. Я видел его, когда ему два года исполнилось, понимаете? Жена наверняка не рассказывала ему об отце... А как вы так быстро узнали о моем возвращении? Ракета не приземлялась. Меня считали погибшим, так ведь?.. Меня и помнит-то здесь одна Элька. Девчонкой была, когда улетал, а узнала.

— О вас мы узнали от ее мужа. Он слышал от нее про вас и хотел помочь — избавить вас от обычных формальностей. Вернулся он в тот же день, утром приехал в порт — оформить свои дела, заодно и ваши, чтобы лишний раз не беспокоить вас... М-да, сын, я и не знал, что у вас есть сын. Но его вы разыщите сами, возможно, что это уже выше их сил. А этот, как его... Добров, Владимир Добров, ее муж, сам-то возвратился не вполне благополучно — отказал реактор. И без всяких видимых причин. Два необычных приземления одновременно — случай в нашей практике весьма редкий... Вы хотите спросить?

— Да. Этот Добров — он давно летает?

— Нет. Вернулся из первого полета. Хороший парень. Мать скончалась лет десять назад, отца и не помнит...

Сергей повернулся спиной к изумленному профессору и расстегнул ворот рубашки, как будто он душил его.

— Так вы говорите, его зовут Владимир Добров?

Снова и снова всплывали в его памяти женщина с ребенком на руках, смех, плач, улыбки, слезы старых дней. Вот она, Анна Доброва, его жена — стоит только дать волю воспоминаниям, и она опять как живая. Вот ее руки, совсем близко, сейчас она поднимет глаза...

Слишком поздно он вернулся.

Он думал, что забыл ее, и, чтобы крепче забыть, улетел. Только подсознанием он чувствовал иногда легкую, почти незаметную боль — слева, в груди. Она прокрадывалась в его сны все эти годы. И тогда он как будто снова бродил по пояс в траве. И где-то рядом был знакомый голос. Желтые края вечерних облаков. Тени от кустов на влажной земле.

Закрыв ладонями лицо, Сергей снова перебирал подробности, боясь поверить, боясь ошибиться. Возвращение. Мальчишки на улице. Элька, Волин. Разговор с профессором. Владимир Добров. У него фамилия матери. Странное стеченье обстоятельств? Случайность? Нет, исключено. Они ведь возвратились одновременно. Копнин прав.

Сжав голову руками, Сергей попытался справиться с захлестнувшим его потоком. И не смог. Он думал о сыне. Ему бы и в голову не пришло... хотя он и похож на свою мать.

Их дети — его внуки, возможно ли? Ему захотелось увидеть их, но на улице была уже ночь. Он стал припоминать лица. Черты их были знакомыми, близкими и все-таки ускользали от него, терялись, таяли, а взгляд встречал в темноте за окном лишь светляки фонарей, от которых шли влажные лучи.

## НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА



иша пришел домой веселый и уже на пороге широко раздвинул руки для объятья.

— Ура! — крикнул он жене. — Сегодня составляли график отпусков, и мне достался август.

— Ой! — взвизгнула Таня, бросаясь ему на шею. — И у меня то же самое.

Поужинав, супруги кинули посуду в бункер автоматической мойки и сушки и, предвкушая приятное путешествие, уселись за стол.

— В Антарктиду поедем, — сказал Миша мечтательно. — Позагораем, в море покупаемся.

— Что ты! — махнула Таня рукой. — С тех пор как зажгли это искусственное солнце и прибрежная полоса круглый год очищена ото льдов, туда все стали ездить. Устроиться, говорят, совершенно невозможно. До чего дошло: дрессированные пингвины стали жилища свои сдавать. Сами-то они на сезон к полюсу уходят: там вроде похолодней. А что в Северном порту делается! Каждый день пять лишних теплоходов с двигателями на антивеществе подают — все равно не хватает. Нет, в Антарктиду не поедем. Вот на Марс если...

— Что на Марс? — поморщился Миша. — Прошлый год ездил туда Протон Галактиков из отдела межвидовых превращений. Они там сейчас путем переработки генетической информации преобразуют вредных насекомых в полезных сельскохозяйственных животных. Протон как раз скоро кандидатскую защищает по теме «Превращение мухи в слона».

«Ну как, Протоша, — говорю, — весело было?» — «Да что ты, — отвечает, — скучища страшная. Главное, пыль красная все время в глаза летит. Я ведь зачем, — говорит, — ехал — по каналам хотел на лодочке покататься. Так у них каналы на лето пересыхают, они их крышками закрывают, превращают в шоссейные дороги. То-то ученые спорили, бывало, есть ли там каналы, нет ли. Приходят, правда, на танцы марсианки из ближнего поселка, но уж больно застенчивы. Пригласишь, а они от смущения из голубых — это у них естественный цвет кожи — фиолетовыми делаются. Угасающая цивилизация!» Не советовал он ни в какую. Давай на Венеру махнем, а?

— Ни в коем случае! — закричала Таня. — У нас Плазма Горелкина из бюро эксплуатации земного Ядра ездила туда. Глушь, говорит, страшная. Ну день смотришь на гигантские напоротники, ну два, но ведь и фруктов поесть хочется. А где их взять — ни яблок, ни груш, ни вишен. С питанием там вообще плохо. Венера ведь перешла на самообеспечение — вот и кормили их целый месяц котлетами из птеродактиля.

— Куда же ехать-то? — сказал Миша.

Супруги задумались.

— Да вот, — Миша хлошил себя по лбу, — у нас там две путевки какие-то странные обнаружились: на Клязьму. Кого ни спрашивал, никто не знает где.

— Это что-то новос, — Тани наморщила лоб. — А сколько световых лет от Земли?

— Вот я и говорю — никто не знает. Давай поедем. По крайней мере хоть собственными впечатлениями будем делиться.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

**Н**инженер Контргайкин давно просил своего друга архитектора Шилястрова показать ему новый жилой дом, о котором столько писали в газетах. Шилястров, наконец, согласился. Друзья влезли в АМТ (аппарат ментальной транспортировки) восемьдесят четвертого маршрута и через мгновение были уже за четыреста километров от центра города, в новом жилом квартале. Пятнадцати-

этажный дом стоял на опушке леса. От углов его тянулись к земле громадные стальные канаты.

— Экспериментальный, — объяснил Пилястров. — Под дом подложена антигравитационная плита. Ни фундамента тебе не нужно, ни, стало быть, землеройных работ. Больше того: захотел перенести дом в другое место — пожалуйста. Подцепил атомным дирижаблем — и волоки куда хочешь. Любой архитектурный ансамбль можно создавать. А канаты держат лишь, чтоб не прыгал сам. Машина какая-нибудь старинная проедет мимо, почва дрожит — дом и ускакать может...

— А как бы внутрь? Отделочку посмотреть...

— Заходи, — Пилястров сделал приглашающий жест, но сам почему-то не пошел.

Контргайкин открыл входную дверь, шагнул на ступеньку и, взлетев вверх, больно ударился головой о потолочное перекрытие.

«Ах да, я же ничего здесь не вешу», — сообразил он. Цепляясь за прутья перил, Контргайкин вернулся к исходному пункту.

— А как вверх подняться? — крикнул он.

— На лифте, — послышался голос с улицы.

Крепко держась за перила, Контргайкин добрался до двери лифта. Но странно: кнопок возле нее не было, не слышно было и скрипа, и не свисали, покачиваясь, тросы.

— Эй, — разозлился Контргайкин, — где же кабина?

— Нету, — отозвался Пилястров. — Заходи прямо в шахту, отталкивайся посильней — и взлетишь на любой этаж.

Любопытство пересилило в Контргайкине страх. Он стремительно полетел вверх, как вдруг, оцарапав ему нос, вниз пронеслись ботинки, а за ними и вся фигура человека. «Как же это он избавляется от антигравитации?» — подумал Контргайкин, но решить этот вопрос не успел: голова его стукнулась об ограничитель. К ограничителю, правда, была приделана подушка, но все равно в ушах зазвенело. Контргайкин открыл дверь лифта и вылез на площадку. Он вспомнил правила поведения человека, очутившегося на тонком льду, улегся на живот и стал медленно глядеть то направо, то налево. Лестницы не было. «Ну да, — сообразил Контргайкин, — она и не нужна тому, у кого есть в ботинках прибор для уничтожения антигравитации. Но мне-то как быть?»

Кое-как он прополз через десять комнат и очутился на бал-

коне. Земля была далеко внизу, зато рядом Контргайкин увидел конец троса, удерживающего дом. «Другого пути нет», — решил он, вцепился в трос и пополз вниз. Пока трос находился в зоне действия антигравитационной плиты, все было неплохо, но вскоре он оказался над свободным пространством, и Контргайкин стремглав полетел вниз.

Очнулся он оттого, что кто-то энергично его тормошил. В голове гудело, все тело разламывалось, и руки, оцарапанные о трос, горели. Возле себя он увидел Пилястрова.

— Великолепно, не правда ли! — кричал архитектор. — Оригинально, современно, уютно. Вставай, я тебе еще один экспериментальный дом покажу — из новых строительных материалов. Стены из ваты пополам с бумагой, обожженные в сталеплавильной печи, а крыша — из бронированных плит, для защиты от метеоритов.

## ПРИЗРАКИ

Фантастический памфлет



1

Полицейская машина патрулировала район Вудхольма. Машина двигалась настолько медленно, что колеса, как бы не вращаясь, мягко и вкрадчиво переступали резиновыми лапами. На крыше машины еще ленивее ползали по кругу раструб инфракрасного искателя длиной почти в пять футов. Патрулировали двое. Капрал с квадратным и плоским лицом, бледный от бессонницы, сидел за рулем. Второй полицейский, младший и такой высокий, что колени его, когда он сидел, упирались в подбородок, с маленьким носом, похожим на ягоду ежевики, разместился сзади перед тусклым экраном инфракраскаталя.

Оба молчали. Молчала улица, темная и безлюдная. Неожиданно совсем рядом что-то звякнуло, в боковое окошко просунулась рука в лиловой перчатке и нажала на кнопку сирены. Истошный вой пронесся над улицей. Капрал ударил по руке и заорал:

— Убирайся! Назад! Брысь! Попла вон!

Рука в лиловой перчатке соскользнула с кнопки, дернула мимоходом младшего полицейского за нос-ежевику и скрылась.

— Там... — пропшептал младший. — Там... за рукой... ничего не было. Только рука и... все.

— Еще не такое увидишь, — пробурчал капрал. — А рука... Она всегда на этом месте... забавляется. Вроде дежурит тут. Правая рука епископа... как его... забыл. Он ее сам отрубил. За недозволенный блуд, понимаешь. Раскаялся, значит,

и умер праведником. Одна только рука бродяжничает... А, черт!

Капрал притормозил машину. Перед ней, почти касаясь радиатора, переходили улицу шесть девочек в белых платьях.

— Бедные крошки! Внебрачные дети фермера Кроусби. Фермер пролез в председатели церковного совета, а малютки как бельмо на глазу. Убил, чтобы скрыть грехи молодости. Запер в амбар с маисом и сжег. Гляди, платьица на малютках обгорелые. Скотина!..

В заднее стекло постучали. Оба обернулись. Желтый скелет прильнул пустыми глазницами к стеклу, разглядывая полицейских. Потом щелкнул костяшками пальцев по тому месту, где у него когда-то была шея, и приглашающе мотнул черепом.

— Пират Морган зовет выпить... Нет, нет, старина, нам некогда!

— Разве они слышат?

— Кто их знает, не разберешь. Иногда кажется, что слышат, иногда вроде глухие. Это все равно как разговаривать с кошкой или женой. Тоже иногда думаешь, что она тебя понимает. Га-га-га...

Капрал расхохотался.

— Все из нашего отряда, когда патрулируют здесь, разговаривают с этими чертяками. Иначе совсем свихнешься... Смотри... это Джим Вязальщик...

На прилавке цокосившегося газетного киоска сидел карлик в матросском костюме. Непропорционально большие и мощные руки его вязали узлы на толстой просмоленной веревке.

— Малыш воображает, что он все еще в Костенбрикской тюрьме. Вяжет веревочную лестницу, чтобы сбежать. Тут многие куда-то бегут, а остаются на старом месте.

— Да вы их всех знаете, капрал!

— А что толку? Первые дни ходил здесь один тип, па всю улицу бряцал цепями. Две охапки ржавых цепей таскал, видно, в каком-то подземелье его приковывали. Так, капрал Бобл... знаешь, такой, с перебитым носом... выменил у него цепи на пару наручников. Тому все равно какое железо таскать, а Бобл хотел пустить цепи на сувениры и заработать кучу монет. Принес их домой, смотрит, а в руках ничего нет. Призраки, парень, всюду призраки. И цепи тоже призраки. Самые новей-

шие электронные призраки. Нет, тут на сувенирах бизнеса не сделаешь, это уж точно. В зоопарке дежурить и то выгоднее...

— У вас, капрал, какой коэффициент умственного развития?

— Сто семьдесят шесть.

— У меня только девяносто. Вам бы, капрал, здесь гидом работать. С таким коэффициентом вполне можно. Приятная работа, капрал. Туристов возить, а? Только и повторяй — посмотрите, сэр, налево, посмотрите, сэр, направо...

— Ты лучше на инфраискатель поглядывай. Сюда туристам вход закрыт. Здесь знаешь чьи владения? Старика Дунна.

— Кроткий Дунн. Специальность — моральный шантаж и политические убийства. Шифр по Картотеке Наблюдений СА-888. Но он же умер, капрал?

— Сразу видно, что у тебя коэффициент девяносто. В Будхольме только двое живых — мы с тобой. И другим сюда не сунуться. Это район старика Дунна. У него здесь свой бизнес. Ведь призраки... как бы тебе сказать... вроде как бы болеют... распадаются, что ли... Так вот, старик Дунн достает для них лекарство и торгует им.

— Лекарство для призраков?

— Разумеется. У каждого свой бизнес. Даже после смерти. А туристов старику Дунну не любит, у него с живыми свои счеты. Ну, а кое-кто из городских властей его поддерживает: закрыли ход туристам и вообще всем живым.

— Капрал, как вы думаете, какой коэффициент у того ученого парня, что возится с нашими инфраискателями?

— Наверное, семьсот. Конечно, он здорово придумал. Как отличить призраков от живых? Никто не знал. Я сам расстреливал патроны дюжинами. Палил в любое подозрительное привидение. Но парень додумался: всякий живой — тепленький. Инфраискатель улавливает тепловые лучи. И точка! Живой мигом очутится на экране. А призраки холодненькие. Ледяные красавцы — вот они что такое... Э-э-э! Берегись!

С афиши заколоченного кинотеатра соскочил на малеванный фиолетовой краской вампир. В два прыжка он достиг патрульной машины и дрожащими от нетерпения губами зачмокал по ветровому стеклу, стараясь добраться до полицейских.

Здания Вудхольма призрачно оживлялись. С треском распахивались окна. Два негра в кандалах протащили через улицу ржавый папиросный автомат. Светящаяся собака хватала их за пятки. По проводам, перекинутым между домами, полз кошачий скелет и злобно мяукал. Когда патруль подъехал ближе, он упал с проводов, и кошачьи кости с дробным стуком рассыпались по крыше автомобиля. Младший полицейский инстинктивно пригнулся голову и больно ударился о колено, прикусив губу. Из губы потекла кровь. Капрал обернулся к нему, и в тот же момент огромный грузовик наехал на машину. Оба упали на пол машины, ожидая самого страшного, но грузовик-призрак проехал сквозь них, не причинив вреда.

Когда младший полицейский приподнялся, он увидел оживший экран. Зеленая жирная черта в центре экрана могла означать только одно: навстречу им двигался теплый и, следовательно, живой человек. Живым вход в район Вудхольма был запрещен.

— На экране одиночная цель. Расстояние — сорок ярдов, — прошептал младший.

Дальше они действовали автоматически, выполняя пункты и подпункты добросовестно и кропотливо разработанной инструкции.

Младший усилил яркость изображения, поставил искатель на автоматическое сопровождение цели, включил магнитофон с внутренним и наружным микрофонами, включил звуковые часы, которые отметили на ленте магнитофона время начала операции, пустил в ход кинокамеру, оборудованную для съемок объектов, излучающих тепловые лучи, проверил радиосвязь со штабом патрулирования, выдвинул из спинки сиденья ящик с медикаментами индивидуальной самопомощи, надел каску с прозрачным пулепропробиваемым забралом и приготовился выполнять указания капрала.

Капрал установил наружный снайперпушет на автоматическое сопровождение тепловой цели, включил прожекторы ослепляющей яркости, выдвинул ящик с медикаментами, надел каску, включил мегафон.

Мегафон громоподобно рявкнул голосом лучшего трагедийного актера, записанным на пленку после многочисленных репетиций:

— Стой! Остановись, несчастный! Ты погиб!

Только тогда уже не на экране, а в луче прожектора ослепляющей яркости они увидели нарушителя. Это был молодой мужчина выше среднего роста. Он стоял спиной к машине, держа в руках две большие коробки.

Мегафон истошно орал:

— Ни с места! Ты окружён! Сдавайся! Тебе никто не поможет!

Мужчина обернулся навстречу прожектору и неловким жестом поднял правую руку. Вместе с рукой угрожающе вздернулась вверх черная коробка.

— Бомба! — воскликнул младший полицейский и дернул капрала за плечо. — Сейчас бросит! Скорей!

Капрал нажал массивную кнопку снайперпулемета. Машину мелко затрясло, пулемет сработал. Нарушитель дернулся влево, автоматы сопровождения цели внесли корректизы в судорожную работу пулемета. Еще секунду человек стоял неподвижно, потом рухнул. Через наружный микрофон высокой чувствительности магнитофон записал последний крик нарушителя. Звуковые часы отметили на магнитофонной ленте время окончания операции. Капрал, не снимая каски с пулепротивоударным забралом, выбрался из машины и подошел к убитому. Перед ним лежал тот самый ученый парень, который устанавливал на патрульные машины инфракраскатели. Черных коробок капрал не нашел.

## 2

Ежемесячные интеллектуальные обследования при помощи Универсального Детектора каждый раз подтверждали, что коэффициент умственного развития Кен Прайса пока что не опускается ниже четырехсот пятидесяти. Поэтому фирма «Медикал-Секьюрити» охотно предоставила ему место старшего коммивояжера.

Сейчас Прайс собирался нанести важный и прибыльный визит потенциальному клиенту фирмы.

— Ты не забыл надеть железные носки? — заботливо спросила Сали.

— Ну что ты, женушка, когда я вспоминаю свою раздробленную лодыжку, я готов надеть хоть две пары железных носков.

Прайс знал только по рассказам деда про те давно прошедшие времена, когда от грабителей и коммивояжеров, навязывающих всякий хлам, защищались удивительно примитивно. Подумать только, держали злых псов, которых любой воришка мог подкупить куском двадцатипятицентовой собачьей колбасы. Или ставили жалкий фотоэлемент с дребезжащим звонком и чувствовали себя в безопасности. Патриархальная идиллия с фотоэлементами и собаками кончилась! Теперь электронные опознаватели, стоящие на страже квартир и гаражей, отличали своих хозяев от случайных визитеров по тембру голоса, весу, росту, форме уха, узорам на кончиках пальцев, а также молниеносно стряпали опознавательные анализы химического состава волос и ногтей. Переминаясь с ноги на ногу, чтобы размять носки, сплетенные из стальных колец, Прайс вспоминал, как он схватил воспаление легких, провалившись всю ночь на каменных ступеньках особняка Джона Сквайгарта. Имел неосторожность прикоснуться к дверной ручке! Электронный замок немедленно выпалил в него струю наркотизирующего газа. Прайс тут же повалился на ступеньки и захрапел, а Сквайгарт приехал только утром и очень веселился, когда полусонный Прайс пытался отыскать пижамные брюки.

А раздробленная лодыжка! Стальные клыки дверного калкана впились в ногу почище любой собаки. Ему же еще прислали счет от слесаря за перепиливание калкана. Прайс до сих пор содрогается, вспоминая ошеломляющую боль и нестерпимый визг пилы — калкан был сделан из специальной визжащей стали.

Ничего! Как говорил мистер Овидий, люди терпеливы, потому что боги в свое время сумели сделать их из камней. Прайс знал кучу подобных утешительных и волнующих изречений, так как в молодости любил принимать участие в телевизионных блицвикторинах, и благодаря одной из викторин познакомился с Сали. Она уверяла, что это был его самый крупный выигрыш.

Размысливая таким образом, Прайс подъехал к дому Оливера Хэмста, остановил машину и выпул из багажника складной шест — его собственное изобретение, которым он очень гордился. Вытянув шест до трехметровой длины, Прайс ткнул его концом в кнопку звонка. Ближе подойти к двери он не решился. Струя воинчей жидкости, оставляющей на костюме непрошшеного гостя смердящие несмываемые пятна, — это са-

мое малое, на что вы можете рассчитывать, стараясь проникнуть в дом такого известного изобретателя, как Оливер Хэмст. Ничего не поделаешь, частная собственность — ужасная недотрога!

— Подойдите ближе! — загремел скрытый динамик.

Кен Прайс сделал два шага к двери.

— Цель визита? — ошеломительно громко поинтересовался динамик.

— Наши деловые взаимоотношения с фирмой «Психоскоп».

— Громче! — брякнул динамик.

— Пси! Хо! Скоп!

— Тише! — зашипел невидимка.

«То тише, то громче, — обиженно подумал Прайс. — Командует, как сержант новобранцами». Но вслух он ничего не сказал — Оливер Хэмст мог оказаться очень выгодным клиентом.

Дверь открылась. Волоча за собой объемистый чемодан, который он извлек из багажника, Прайс вошел в дом. Зеленое световое пятно появилось у его ног. На фоне пятна белели буквы. «Следуйте за мной», — прочел Прайс. Пятно стронулось с места и скользнуло по ступенькам. Верх элегантности — не держать живых слуг! И конечно, не пользоваться услугами грубых роботов, воняющих жженой изоляцией и готовых при малейшей неисправности проломить тебе голову пылесосом. Набор бегающих световых пятен, сопровождающих гостя даже в интимные помещения, наэлектризованные потолки, собирающие всю пыль, столы-конвейеры, биоточные усыпляющие кресла, платяные шкафы с регулируемым воздушным дутьем, благодаря которому нижкам, рубашки и брюки взлетают с вешалок и приземляются, как маленькие парашюты, на ваши плечи, система коктейльпроводов, соединенных с коньачными резервуарами в подвале, — все эти изящные мелочи делают жизнь людей, подобных сэру Хэмсту, удобной и приятной. Что касается Прайса, то он мечтал лишь о таком недорогом клочке комфорта, как Гигиеническая Усыпляющая Подушка. Последнее время его мучила бессонница, и обычные пилюли «Гипно» не помогали.

Зеленое пятно остановилось у приземистой двери. Пронзительно яркая вспышка света на миг ослепила Прайса. Одновременно раздался сухой металлический щелчок. Коммивоя-

жер понял, что его сфотографировали по меньшей мере с трех сторон.

Оливер Хэмст стоял в глубине комнаты. Кроме него, никого в комнате не было. И ничего не было. Пустое кубическое пространство. Черные лакированные стены. Когда Прайс увидел, что в комнате нет ни одного кресла, у него сразу заныла лодыжка и мучительно захотелось присесть хоть на пол. Но, поборов слабость, он заговорил бодро и напористо:

— Сэр Хэмст! В моем лице фирма «Медикал-Электро-Секьюрити» приветствует величайшего изобретателя развлечений. К сожалению, как нам удалось установить через наших контрагентов, ваш текущий счет в Тотальном Финансовом Центре заметно похудел за последние две недели.

— Это ложь! Финансовый Центр не мог снабдить вас такой информацией. Она секретна.

— Увы, сэр Хэмст, даже электронные машины имеют свои маленькие слабости, которыми можно воспользоваться. Наша информация абсолютно достоверна. Чтобы вас убедить, я перечислю те небольшие финансовые осложнения, которые постигли вас. Я бы сказал, это была цепь каких-то фатальных неудач: неудача с приставками к телевизорам для ароматического сопровождения передач, проигранный процесс с «Рамо-Фильмом», наконец, отвратительная погода на западном побережье и как следствие — пустующие психоатеатры, в которые вы вложили более...

— Тсс! Не надо цифр. Я вижу и так — вы по уши сидите в моем болоте.

— И все же я хотел бы назвать некоторые цифры, чтобы убедить вас в исключительной серьезности наших предложений...

— Тсс!..

Хэмст пошарил в кармане брюк.

— Полюбуйтесь, что я извлек из своей сахарницы за утренним кофе.

На ладони Хэмста лежал кусок сахара.

— Сахар?

— Шептун. Стопроцентный шептун. Микропередатчик с микрофоном, замаскированные под кусок сахара. Каждое мое слово подслушивается. Меня буквально обсыпали шептунами. Вчера я обнаружил хорошенъкий шептун... где бы вы думали?

Прайс изобразил живейшее любопытство.

— В своем искусственном зубе. Подлец дантист. Меня мучают приступы аппендицита, а я боюсь ложиться на операцию. Отрежут аппендикс и заодно вставят шпунт в герметической капсуле. Все врачи проходимцы!

Теперь Прайс понял, почему комната, в которой они находились, представляла из себя пустой куб. Сэр Хэмст осторожно потрогал правую часть живота и задумчиво спросил:

— Может быть, нанять частного детектива, чтобы он присутствовал при операции и следил за врачами? Как вы думаете? Вы болели аппендицитом?

— Мое здоровье, сэр Хэмст, принадлежит фирме «Медикал-Секьюрити», которая предлагает вам средство, гарантирующее полное сохранение тайны ваших замечательных изобретений. Собственно говоря, я и пришел сюда, чтобы предупредить: фирма «Психоскоп» и «Рамосентрфильм» не успокаются, пока не раздобудут секрет вашего Великого Театра Призраков. Но мы уверены, что можем оградить вас от их шпионов.

— Ладно, я согласен выслушать ваше предложение. Но предупреждаю: не пытайтесь всучить мне какую-нибудь дрянь вроде мусорной корзины, автоматически сжигающей выброшенные чертежи.

— Сэр Хэмст, наше предложение исключительно солидно и оригинально.

— Ладно! Раздевайтесь!

— Что-о-о?

— Раздевайтесь, говорю. Проходите в ванную и раздевайтесь. Не можем же мы болтать о важных делах, когда в каждой пуговице или запонке вашего костюма могут быть спрятаны минифоны. Вы что хотите, чтобы завтра о нашем разговоре узнали лазутчики «Психоскопа»?

— Хорошо, хорошо, сэр Хэмст, я иду в ванную.

Когда на Прайсе остались одни трусы, свет в ванной комната погас. Прайс остался стоять возле электрического полотенца, стараясь сообразить, в какую сторону надо шагнуть, чтобы нащупать дверь. Но в затылок ему уперся твердый металлический предмет. «Дуло револьвера! — с ужасом понял Прайс. — Западня! Все изобретатели — сумасшедшие. Хэмст убьет меня, а труп растворит в кислоте. Недаром он заманил меня в ванную!»

Прайс закричал и рванулся в сторону, больно ударившись

о массивные раструбы электрического полотенца. Дверь открылась, и Хэмст недовольным голосом спросил:

— Что вы нервничаете? Я должен был сделать несколько рентгеноснимков. Где гарантия, что шпионы «Рамо фильма» не засунули внутрь вас пару шептунов?

Из полотнища двери, где, видимо, скрывался экран рентгена, высывался рычаг-ограничитель, не подпускающий обследуемого слишком близко к экрану. Этот рычаг Прайс принял за дуло револьвера.

Хэмст дал ему теплый халат без единой металлической или пластмассовой пуговицы и буркнул:

— Теперь нам предстоит потрудиться, чтобы соорудить конуру.

Прайс не знал, зачем именно сейчас Оливеру Хэмсту понадобилось сооружать конуру для его собаки, но он привык к чудацествам своих клиентов и безропотно последовал за изобретателем Театра Призраков. Тот привел его в подвал, слабо освещенный синими запыленными лентами люминофала. Здесь лежала груда неряшливо выструганных досок, частью сколоченных в щиты, каждый высотой и длиной примерно семь футов.

— Сколько сможете унести за один раз? — угрюмо спросил Хэмст.

Прайс приподнял щит, он оказался довольно легким.

— Пожалуй, птуки три подниму. А далеко нести?

— В сад.

Согнувшись вдвое, путаясь в полах слишком длинного халата и придерживая двумя руками щиты, которые неприятно ерзали по спине, коммивояжер шел за Хэмстом. Тот, ежеминутно спотыкаясь и тихо поругиваясь, также тащил три щита и тяжелый молоток. Они остановились посреди лужайки, обрамленной старыми вязами, и сбросили щиты на землю. Судя по их внушительным размерам, Хэмст собирался сколотить из них отнюдь не собачью будку. «Нет, он все же сумасшедший, — думал Прайс. — Впрочем, какое мое дело. Главное, чтобы он выложил монеты за аппараты «Медикал-Электро-Секьюрити». Тогда в конце месяца я получу премию... Опять лодыжка разнылась. Здесь сырьо, а я босиком...»

Хэмст суетился вокруг досок, как обезьяна, получившая сразу слишком много бананов. Он покрикивал на Прайса, поддерживал щиты плечом, вгонял молотком шипы одного щита

в пазы другого, вынимал занозу из руки, трогал свой живот, ругался — все одновременно.

Они сколотили неуклюжее и шаткое сооружение, похожее на те хижины, которыми Фонд Благотворительности снабжает неимущих горожан.

— Полезайте внутрь! — придя почему-то в хорошее настроение, Хэмст игриво хлопнул Прайса пониже спины.

Изобретатель вытащил из кармана огарок парафиновой свечи, зажег его и приляпал в центре помещения. Они уселись на полу возле свечи.

— Это и есть моя конура, — с гордостью заявил сэр Хэмст, поглаживая занозистые доски пола. — Гениальная выдумка! Абсолютная изоляция! Я придумал конуру после того, как «Рамофильтм» подослал ко мне глухонемого агента. Этот тип устроился на дереве в соседнем саду и, вооружившись телескопом, читал по губам все, о чем я болтал с друзьями. Иметь в доме прозрачные окна — это все равно, что орать о своих секретах на площади Сентр-ринга. В настоящем доме в каждой половице можно запрятать шептун. А для конуры доски строгал я сам и держу их под замком. Каждый раз сколачиваю конуру на новом месте. Гениально?

Коммивояжер подумал, что нелепо хвастать изобретением деревянного ящика, но с готовностью подтвердил:

— Удивительно, сэр Хэмст, мне бы никогда не пришло в голову ничего подобного. Теперь я могу изложить свое...

— Ни слова!

Хэмст вынул из кармана, где, вероятно, находился склад самых удивительных вещей, прямоугольную коробку и деловито осведомился:

— Какая у вас основная частота колебания голосовых связок?

— Н-н-не знаю.

— Вы беспечны, как ребенок, который решил поиграть в мячик на карнизе небоскреба. Не знаете основную частоту своего голоса? Но как же вы настраиваете глушитель?

— У меня нет глушителя.

— Значит, в вашей фирме сидят старые крохоборы и консерваторы.

Он щелкнул тумблером на крышке коробки, и коробка противно и громко зажужжала. Жужжала она, словно заскальс, с неравномерными перерывами.

— Вездесущий глушитель Оливера Хэмста. Настраивается в унисон с основной тональностью любого голоса — от визга неврастеника до хрипа пропойцы. Профилактика против шептунов, заглушает восемьдесят семь и три десятых процента звуков. Каждый деловой человек должен иметь глушитель моей конструкции.

Теряя терпение, Прайс через силу улыбнулся.

— Полно, сэр Хэмст! Можно подумать, что не я, а вы пытастесь продать новейшее антиподслушивающее устройство. Должен вам сказать, что, торгуя вашими глушителями, зарабатываешь только мигрень. Эта зудящая коробка по сравнению с тем, что я хочу предложить, не больше чем кофейная мельница по сравнению с атомным котлом.

После пяти минут сидения на деревянном полу у Прайса одеревенели ноги, заныла поясница, глушитель назойливо жужжал, так что он почти не слышал собственного голоса, давно накрапывающий дождь собрался с силами и превратился в ливень, наспех сколоченная конура протекала сверху и снизу, свеча чадила немилосердно и копоть щекотала в носу, но коммивояжер говорил вдохновенно, убедительно, страстно, как проповедник-параноик, предлагающий исцеление от всех болезней при помощи большого электромагнита.

— Увы, сэр Хэмст, главная опасность заключена в нас самих. Нет, нет, не глухонемые шпионы и шептуны подстерегают нас где-то там, за углом. Опасность ближе, гораздо ближе! Она у нас в голове, под костяными сводами черепа. И чем глубже мы ее прячем, тем она охотнее выскакивает. Сам сатана дергает нас за язык! Я могу привести сотни примеров. Что я говорю — сотни! Тысячи! Каждый факт достоверен, как восход солнца. Химик Блэзман, задумавшись, нацарапал формулу медикамента на бумажной салфетке в ресторане. Официант — это был ресторан в старинном стиле и там были настоящие официанты — продал этот клочок бумажки за десять тысяч. Блэзман разорился и сейчас работает зазывалой в ночном кабаке. Директор Графст, будучи навеселе, брякнул своей супруге, что они начинают продажу бездымных сигарет для мужей, жены которых не выносят табачного дыма. Миссис Графст продала эту тайну любовнику, и Графст наложил на себя руки. А известный вам доктор Мом, который разговаривал во сне? Ему не помог даже специальный ошейник, который он надевал, ложась спать. Кибер-шифровальщик

расшифровал его храп. Да вы сами, сэр Хэмст, вы прячетесь в конуру, чтобы никто не подслушал, а ваша тайна всегда с вами, всегда в голове.

— Черт возьми, что же вы предлагаете? Оторвать мне голову?

— Мы предлагаем вам новинку — мозговой коктейль. Идея мозгового коктейля осенила нашего главного электроника, когда он перечитывал сборник мудрых афоризмов покойного президента фирмы.

— К черту афоризмы!

— Не говорите так, сэр Хэмст. Афоризм нашего старика стоит миллиона. Он сказал: «Мой идеал — запирать своих людей на ночь в сейф или хотя бы выключать у них часть мозговых извилин, которая знает мои секреты».

— Ваши электронщики состряпали выключатель для мозгов?

— Вы ловите суть дела под самые жабры. Наш аппарат при помощи модулированных колебаний прерывает связи между клетками мозга нашего клиента и путает эти связи, словно сумасшедшая телефонистка. Клиент уже не способен разобраться в собственных делишках. Но вот он надел рабочий халат, склонился над чертежом — щелчок! Наш выключатель срабатывает в обратную сторону, и все становится на свое место. Обеденный перерыв — щелк! И внутри головы — коктейль из мыслей. Можно отправляться обедать под ручку с самым хитрым агентом вашего конкурента. Проговориться невозможно, даже если захочет. Специально для вас, сэр Хэмст! Вы устали и издергены до предела. Ваши тайны мучают вас, и вы можете проговориться в любой момент. О! Это как навязчивый психоз-мания, что вот-вот проговоришься. Тогда — конец! Никто не даст за вас и старой покрышки. Купив наш аппарат, вы обретете избавление от мук!

— Вам не кажется, что я сейчас вышвырну вас на улицу в одних трусах?

Они крепко поспорили. Но Хэмст был надломлен неудачами, которые последний год сыпались на него, как из дырявого кулька. Прайс всегда чуял, если человек надломлен. Сказать откровенно — только такие надломленные и были его клиентами. А Хэмст, конечно, чертовски надломлен. То, что он чрезмерно суетился, налаживая конуру, пытался бодро острить, — вся подобная шелуха не могла скрыть главного.

Хэмст надломлен, и все тут. Такой схватится за любое предложение, которое, как ему кажется, приободряет и расчищает дорогу к успеху.

Все же они сцепились. Хэмст поносил шарлатанов из «Медикал-Секьюрити». Прайс, якобы оскорблённый, вставал и с обидой в голосе начинал прощаться. Тогда Хэмст снижал скорость своей говорильной машины на тысячу оборотов, но тут же заводился вновь. Он не прогонял Прайса, так как был надломлен, а тот выволок самое убедительное — цифры. В отделе общей информации и конъюнктуры «Медикал-Секьюрити» его вдосталь снабдили убедительными цифрами. Теперь он выложил все сурово и многозначительно. Великий Театр Призраков должен был стать самым сложным в техническом отношении зреющим. Компьютеры Хэмста заказали оборудование на семидесяти шести заводах. И это только специальное оборудование — электронные сгустители теней, тотальные стереоэкраны, автономные энергопитатели призраков и тому подобная чертовщина. Кроме того, список готовых изделий включал семьдесят тысяч наименований — от дверной ручки до геликоптера. Поэтому хранить в тайне принцип работы Великого Театра Призраков было так же трудно, как много лет назад попытаться сохранить в секрете принцип кинематографа или синерами. Скрывали главное — не список деталей, а ключ и замок тайны — то, как собрать воедино этот чудовищный набор, как упорядочить этот электронно-механический хаос. Схему сборки, принцип монтажа хранил Хэмст в голове, не доверяя бумаге и сейфам. Он один мог из хаоса вещей создать мир электронных призраков. Ноша тайны давила Хэмста, как свинцовая плита, собственная тень казалась ему соглядатаем конкурентов. Все компании, занимающиеся зреющими, жаждали пакинуться на Театр Призраков и растащить его по косточкам в свои конструкторские бюро.

Прайс не лгал и не преувеличивал, он только называл суммы контрактов, сроки поставок, цены, разъяснил изобретателю всю шаткость его положения. Если бы затея с Театром Призраков провалилась, Хэмст в деловом отношении мог бы числить себя покойником. В отделе общей информации, конъюнктуры и сбыта «Медикал-Секьюрити» знали, к кому посыпать коммивояжеров. Они старались быть наверняка, хотя от расторопной и убедительной настойчивости Прайса зависело

главное. Так или иначе, Хэмст обмяк, как проколотая шина. Он сдался. Только тихо застонал, когда услыхал, сколько стоит выключатель мозгов. Но Прайс тут же заметил, что аппарат не только гарантирует сохранение тайны, застрявшей в мозговых извилинах, но и, давая полный отдых утомленной голове, поможет Хэмсту набраться свежих сил и, несомненно, поспособствует его творческой и деловой активности. Хэмст сдался вторично, когда пожелал взглянуть на мозговой выключатель.

Аппарат выглядел чрезвычайно внушительно. «Медикал-Секьюрити» знала толк в подобных вещах. Прайс извлек из большого чемодана нечто похожее на огромную разливательную ложку. Блестящее полушарие и массивную ручку покрывал сложным узором набор тумблеров, клавиш, пупырчатых световых индикаторов, люминесцирующих схем и надписей. Полушарие крепилось на голове нейлоновым подбородочным ремнем, имелось выносное, на хромированном кронштейне, зеркало для наблюдения за положением мозгового выключателя на собственной макушке. Кроме того, от полушария отходил короткий и толстый красный кабель, кончающийся грушевидным пультом добавочного управления и контроля. «Добропорядочная старомодность первых электронных устройств соединяется здесь с неописуемой элегантностью новых форм», — так говорил рекламный проспект. Аппарат стоил своих денег.

Прайса знобило — пребывание в конуре, где гуляли пронзительные сквозняки, не пройдет для него даром, но чек, подписанный Хэмстом, составлял большую половины той ежемесячной выручки, которую ждала от него «Медикал-Секьюрити». Значит, все в порядке, значит, впереди премия за этот месяц, возможность сделать приятный сюрприз Сали, приобрести что-нибудь недорогое и практическое детям.

Размышляя таким приятным образом, он подхватил чемодан с выключателем мозгов и направился к машине. Вдруг что-то жесткое и острое впилось в ладонь. Он отчаянно встрихнул рукой, чтобы избавиться от боли. Не помогло! Боль усилилась. Ручка чемодана выпустила из себя стальные зубья и мертвой хваткой бульдога схватила ладонь. Каждый агент «Медикал-Секьюрити» имел такой добротный супернеприкасаемый чемодан, начиненный сюрпризами для всякого, кто попытается его похитить. Забывшись, Прайс нажал кнопку

тревоги, и чемодан перешел в состояние самообороны. «Меня украл!» — дребезжащим жестяным голосом кричал чемодан. Он выпускал из себя струи кашляющего газа, вышевывал здоровенные капли фиолетовой смердящей и несмыываемой жидкости, из дна его выпадала нескончаемой спиралью тончайшая проволока-путанка. Газ подействовал тотчас — Прайс задохнулся в припадке сухого лающего кашля. Зловонная жидкость попала в глаза, и он почти ослеп, ноги запутались в проволочной паутине, единственное, что он еще мог, — опуститься на край тротуара и прижать руку к груди, которую словно терзали дикие кошки.

— Попали в собственную ловушку? — участливо спросил кто-то.

Сквозь дрожащую завесу слез Прайс различил фигуру молодого парня. Видимо, тот сумел разжать пружину капкана, скрытого внутри чемоданной ручки, хватка стальных зубьев, впившихся в ладонь, ослабла, и боль почти исчезла.

— Не огорчайтесь, мистер, — продолжал участливый голос. — Теперь каждый может попасть в такую западню. Жених моей сестрички по дороге на свадьбу зашел к приятелю. Черт его дернул это сделать! Приятель только что обзавелся новым сторожевым устройством. Не успел мой будущий родственничек дотронуться до дверной ручки, как на него обрушился водопад быстротвердеющей пены. Женишок мгновенно превратился в каменную статую, вроде тех рыцарей, что стоят на Синем мосту. Прирос к ступеням и окаменел. Представляете, что было! Гости собрались, ждут жениха, его нет, невеста в слезы. А жених не может даже рта раскрыть, чтобы прокричать в телефонную трубку свои извинения. Весь покрыт каменной пеной! Весь! До кончиков ушей! Целую неделю от него зубилом отколупывали кусочки камня. Свадьба расстроилась, сестричка заявила, что она не такая дуреха, чтобы связать свою жизнь с недотепой, который ухитрился сам себя превратить в каменного истукана...

Болтая таким образом, парень оттащил в сторону чемодан, достал из багажника автомобиля тряпку и обтер сю коммивояжера. Конечно, это мало помогло, фиолетовые пятна еще больше размазались по костюму, но в первый раз за сегодняшний безумный день Прайс почувствовал теплое человеческое участие, и это принесло ему облегчение и даже радость.

Через несколько минут он уже сидел за рулем автомобиля,

хотя все еще содрогался от приступов кашля. Когда машина тронулась, парень дружески помахал ему вслед, но Прайсу внезапно показалось, что глаза парня смотрели холодно и недоброжелательно. По спине коммивояжера пробежал холодок. Не сразу удалось ему отогнать от себя тяжелое чувство тревоги.

### 3

— Боже мой! — воскликнула Сали. — Что случилось с твоей спиной? Можно подумать, что тебя пытали у этого мистера Хэмста!

Прайс кое-как отмылся от вонючей жидкости, выброшенной на него чемоданом, и теперь искал в шкафу бумажную ночную пижаму. В зеркале он увидел у себя на спине два огромных желто-сизых синяка, каждый величиной с блюдце.

— Ты права, Хэмст действительно пытал меня. Кроме того, я ударился о растрябы электрического полотенца. В ванной было так темно...

Он попытался вздохнуть полной грудью. Спина тяжко заныла.

— Меня беспокоит наш мальчик, — сказала Сали. — У него что-то не ладится с Моди, и это его очень огорчает. Слишком огорчает. Правда, она дурнушка, и меня удивляет, как он мог влюбиться. Но она получает крупное наследство. Поговори с мальчиком.

— Хорошо. Завтра, за обедом.

Смутное беспокойство не покидало Прайса. Неодолимое желание что-то проверить, в чем-то убедиться и успокоить себя гнало сон. Как был, в бумажной пижаме и веревочных мокасинах, Кен вышел в крохотный палисадник, который при покупке домика именовался «парком», и заплел к гаражу. Он сунул палец в дырку электронно-оптического узнавателя. Чувство тревоги усилилось. Прайс с трудом дождался, пока узнаватель сравнил узор на его пальце с образцом и впустит в гараж.

Он вынул из багажника чемодан с рекламным образцом выключателя мозгов, открыл его и осталенел. Выключатель мозгов исчез! Вместо него в чемодане валялся кусок металла, подложенный «для тяжести»... Тот парень, который помог ему вырваться из капкана, скрытого в чемоданной ручке, украл

выключатель... Украл... Исчез аппарат, секрет которого стоил миллион... Пропал рекламный образец стоимостью по меньшей мере в сотню недельных заработков Прайса. Что скажет Директор? Он вышвырнет его на улицу. Нет, убьет. Сотрет в порошок, уничтожит... Надо звонить в полицию. Бесполезно, это не обычное мелкое ограбление, тут скрываются дела поважнее, от этого происшествия за три мили пахнет промышленным шпионажем. Полиция в таких делах бессильна. Обратиться за советом к адвокату? Все равно что просить у врача совета, как воскресить покойника, сожженного в крематории сто лет назад. Ты еще шутишь, Кен? Мрачные шутки. Приготовься к самому худшему. Прайс подумал о самоубийстве, и, странное дело, ему стало легче. В конце концов у человека всегда есть выход из тупика. Последний выход. Стоит только надеть шланг на выхлопную трубу автомобиля, просунуть шланг внутрь, покрепче захлопнуть дверцу машины и запустить двигатель... Он поиском глазами подходящий шланг и... отложил задуманное на послезавтра. Он проведет последнее воскресенье с семьей, потом безропотно и тихо уйдет навсегда. Неудачник! Уйдет навсегда, если только счастливый случай не спасет его. Конечно, он неудачник, но все же ему иногда везло в жизни... Надежды — сны бодрствующих...

Он принял две нилюли «Гипно» и заснул тревожным сном приговоренного к смертной казни.

...Воскресный обед собрал всю семью. Первым пришел отец Сали. Когда Кен Прайс вошел в столовую, теща успел устроиться на любимом месте Прайса, подложив под себя свернутое грязноватое мексиканское одеяло, с которым никогда не расставался. На столе в луже алой крови лежал отрубленный человечий палец. Прайс вздохнул.

«Начинается, — подумал он. — Обычные шуточки дурого тестя».

Конечно, лужа крови — всего лишь красный лакированный картон, а палец — из поликариламида. Произведение фирмы «Ежедневные ужасы». Но все же... рядом с обеденным прибором обрубок, пусть даже искусственный... Бр-р... Но успокойся, Кен, ты решил провести последнее воскресенье в тихом семейном кругу.

Коммивояжер побаивался тестя. Тот прослыл на весь квартал отчаянным шутником. Всю жизнь он работал билетером в кинотеатре «Вампик». Сорок лет, полусогнувшись, в темно-

те, подсвечивая слеповатым фонариком, он усаживал посетителей в удобные кресла и снова шаркал по проходу, согнувшись громоздкой запятой, свистяющим шепотом приглашая очередную парочку. Когда пришла старость и крохотная пенсия, старик впервые разогнулся и заговорил в полный голос. На беду для всех он решил развлечься самым игривым образом и щедро выплескивал на окружающих весь запас мрачного юмора, накопленного в темном зале «Вампик». Любимым занятием его стало изучение каталогов «Ежедневных ужасов». Последнее, что он приобрел, истратив половину пенсии, были магнитозаписи предсмертных стоек, леденящего душу скрежета зубов и бреда параноика. Громкоговорящее устройство, толщиной не более вязальной спицы, снабженное буравчиком, позволяло, проткнув стену, устроить соседям ночной концерт душераздирающих воплей. Фирма гарантировала, что найти источник звука невозможно. Обожал старик и другое, более дешевое приобретение — фосфоресцирующие составы, превращающие любую кошку в исчадие ада. Альбом специальных узоров, которые следовало наносить этими красками на кошек, фирма приложила бесплатно.

Прайс отодвинул стул. Клочья омерзительной паутины свисали с сиденья и тащились за стулом, при克莱ившись к ножке стола. Тещь довольно захихикал — синтетическая паутина выглядела натурально и достаточно противно. Предстоял трудный разговор с сыном, еще большие трудности — впереди, не стоило тратить силы на бесполезное пререкание со стариком, и Прайс вымученно улыбнулся.

Сын Генри, бледный, с покрасневшими глазами — следы сверхурочной ночной работы, — тыкал вилкой в кусочки поджаренного хлеба. То же самое сделал и Прайс, а тещь с заблестевшими от удовольствия глазами наблюдал за ними. Когда старик уходил утром в пивную, Прайс обшарил его комнату, но ничего не нашел, кроме дюжины заводных клоунов, которых тещь намеревалася подложить кому-нибудь под одеяло. Между тем коммивояжер точно знал, что старик не так давно обновил свой запас сюрприз-бутербродов, намертво приклеивающихся к зубам, и зудящих конфет, издающих при раскусывании нестерпимое жужжание, напоминающее бормашину. Теперь каждый кусок хлеба, ветчины или кекса приходилось протыкать вилкой раньше, чем отправить его в рот.

Обед начался молча. Сали поймала взгляд Прайса и покашала глазами на Генри: «Начинай! Чего ты ждешь?» Прайс мотнул головой: «Сейчас!..» Почему он перестал понимать сына? Вот он рядом — протяни руку, сможешь дотронуться до его плеча — и вместе с тем так далеко. Словно и нет его здесь. О чём он думает, машинально поглощая суп? О своей работе? Она ему мало приятна. О Моди? Кто она сыну — невеста, возлюбленная или просто знакомая? Даже это он, отец, не знает. Прайс задумчиво поболтал ложкой в супе... Кошмар!.. Ужас!.. Какая гадость!.. В тарелке, извиваясь среди янтарных капель жира, плавали толстые белые черви. Прайс прижал к губам салфетку. Тесть вскочил со стула и захлопал в ладоши.

— Удалось! Удалось! Славная шуточка!

Он ухитрился подсыпать в тарелку горсть извивающихся полимерных макарон. В такие минуты Прайс ненавидел тестя, жену, самого себя. Долго сдерживаемое раздражение готово было прорваться наружу. Но тесть захочотал совсем оглушительно, и вдруг у него из рта выскочили искусственные челюсти. Они упали на стол и, громко клацая зубами, запрыгали между стаканами. Тесть оторопел.

— Два — ноль в мою пользу, — спокойно сказал Генри. — Сегодня утром я подложил в твой стаканчик челюсть-самоходку. Изделия фирмы «Ежедневные ужасы» доступны любому. Не так ли, дед?

— Мы все любим шутки, — примирительно сказала Сали. — Шутить очень модно. Говорят, что пять минут смеха заменяют по витаминности литр томатного сока.

— Злобные шуточки, — пробурчал Кен.

— Мама права, — сказал Генри. — Надо шутить. Знаешь, папа, как надо шутить? Напористо и страшно. Мы живем в страшном мире. Надо быть жестоким и страшным или хотя бы казаться таким.

Глаза жены умоляли: «Поговори с мальчиком! Теперь самое время!»

Прайс откашлялся.

— Мы давно не видели Моди, — начал он. — Она здорова? Ты встречаешься с ней?

— Она здорова. У нее умер дядя.

— Так... так... Она горюет, ей не до нас. Это похвально.

— Моди действительно горюет. И я вместе с ней. Но

боюсь, папа, что причина нашего горя совсем не та, что ты думаешь.

Вмешалась Сали. Как всегда, ее вопросы оказались более практически.

— Говорят, что дядя был крупным акционером фирмы «Галеты «Пупс»?

— Он держал почти половину акций. А Моди была его единственной наследницей.

— Была?

— Да. Несостоявшаяся наследница.

Генри прорвало. Он заговорил быстро и сбивчиво:

— Вы знаете, я работаю много. Каждый день я проверяю километры кабелей. Подводка к телекамерам негласного надзора. Прячусь от любопытных глаз, делаю вид, что ремонтирую папиросные автоматы или интересуюсь уличным освещением. Я обслуживаю район 301-Б. Телекамер тотального надзора все прибавляется. Теперь полицейское управление ставит их возле каждой магазинной двери. На перекрестках — по четыре, по восемь камер. Даже на крышах. Камер все больше, а платят по-прежнему. Я сбиваюсь с ног. Наследство Моди было моим главным шансом. Единственным шансом. Я хотел учиться. Ты знаешь, папа...

— Неужели старик не оставил ей ничего?

— Ничего. Даже фаянсовой плевательницы. Перед смертью он становился все подозрительнее и подозрительнее. Часто повторял: любовь наследников — мираж. Потом приобрел кресло-индикатор.

— Это еще что такое?

— В сиденье кресла вмонтированы специальные клапаны. По степени расслабления или напряжения ягодичных мышц кресло определяет искренность слов того, кто в нем сидит. Шарлатанство, разумеется. Но старый богач верил в кресло-индикатор больше, чем в людей. Он пригласил Моди, угостил чаем с вишневым вареньем. Завел разговор о своих болезнях. Моди уверяла, что желает его видеть живым и здоровым еще много лет. А кресло просигналило: «Врет!» Ягодичные мышцы подвели нас.

— Но старик бездетный вдовец. Кому же он оставил наследство?

— Кому? Роботу!

— Роботу?

— Старому домашнему роботу-камердинеру. В награду за долголетнюю безропотную службу.

— Не может быть! Неслыханно!

— Оставляют же наследство любимому попугаю или кошке. Так роботу и подавно. Юридически все правильно. Роботу назначили официального опекуна. Теперь эта электронная кукла обеспечена смазкой и атомными батареями до дня страшного суда. Аминь!

Тесть злобно захихикал. История с креслом-индикатором ему понравилась. Хотя лично он мог оставить наследникам только подержанный гуттаперчевый череп с присосками, который дед уже несколько раз ухитрялся прикреплять к заднему стеклу автомобиля соседа.

Генри стукнул кулаком по столу.

— Я готов на все, чтобы поправить свои дела. Теперь у меня с Моди все как-то изменилось. Она чувствует себя виноватой передо мной, а я иногда ее жалею, иногда хочу быть очень жестоким к ней.

Сали всхлипнула.

Разочарования, потери, обиды — большие и маленькие — сопровождали Прайса всю жизнь. Он сочувствовал Генри и вместе с тем был недоволен им. Многое не понравилось ему сегодня в мальчике, но главное случилось — стена непонимания треснула, и в трещину он мог, наконец, просунуть руку, чтобы дотронуться до плеча сына.

— Я поговорю с Директором, мальчик. Ты знаешь, мы с ним почти приятели. Боюсь, что в полицейском управлении твоя карьера застопорится, а «Медикал-Секьюрити» нужны электромеханики. Полицейское управление потеряет опытного монтера, тем хуже для них. Выше голову, малыш!

Что он болтает? Жалкие слова утешения. Легко ободрять другого, даже если это твой сын. После процажи выключателя мозгов нельзя и помыслить о том, чтобы устроить сына в «Медикал-Секьюрити». Он солгал сыну в первый и последний раз. В последний раз... Как страшно... Что думают люди перед этим: в последний свой день. День, который ему отравил тесть своими живыми макаронами и синтетической паутиной... Надо пойти в гараж и отыскать кусок шланга...

Чемодан валялся почти у порога гаража. Прайс открыл его, чтобы еще раз убедиться — смертный приговор подпи-

сан... О!.. Выключатель мозгов мирно лежал в чемодане. Померещилось? Нет, вот он, его можно взять в руки... Тяжелый... Значит, кто-то свободно вошел в гараж и вышел, и оптический узнаватель пропустил его. Кен ударил кулаком по оптическому узнавателю. Идиотский ящик! Какой олух тебя конструировал? Но не это главное. Выключатель мозгов похитили и возвратили. Зачем? Абсолютно ясно. Похитителем интересовал секрет устройства выключателя, подробности схемы. За те сутки, пока аппарат был в их руках, специалисты могли докопаться до самой сути... Немедленно позвонить Директору. Прайс рванулся к выходу. Стоп! Ты хочешь погубить себя? Тебе хочется прожить остаток своих дней на пособие по безработице? Или висеть тяжелым грузом на шее у сына, которому и так несладко? Стой! Ни слова, ни словечка, ни гугу! Ничего не знаешь, ничего не видел. В самом деле, зачем тебе понадобилось вчера вечером лезть в гараж и открывать чемодан? Пришел бы вот только сейчас, увидел, что выключатель мозгов на своем месте — и ничего бы не знал. Никто ничего не сможет доказать. У тебя есть оправдание. Оправдание? Как оправдаться перед самим собой? Совесть замучает тебя. В начале следующего месяца «Медикал-Секьюрити» начнет производить эти аппараты крупными партиями. Выключатель мозгов не игрушечная ракета, не бормашинка. Если злоумышленники узнали его секрет, последствием будет разорение изобретателей, сумасшествиеученых, гибель талантов. Он все же идет звонить Директору!.. Стой!.. Вспомни, что представляет из себя твой Директор.

## 4

Жене и сыну Прайс выставлял свои отношения с Директором так, будто они добрые приятели: «Он сказал мне «Молодчина!» и предложил сигару. Мы очень мило поболтали». «Вчера опять забежал к Директору, оторвал от срочного дела, мне стало неловко, хотел уйти, но он задержал меня. Обещал перевести в начальники отдела. Сам затеял этот разговор. Осведомлялся о тебе, Сали...».

Прайс лгал. Директор не мог мило болтать, предлагать сигару или похлопывать по плечу. Директор представлял собой одиннадцать железных ящиков, усеянных красными

бородавками индикаторов. Пупырчатый ящик № 7 — вот с кем, или, вернее, с чем, имел дело Кен Прайс.

Кто-то, невидимый и всезнающий, каждую неделю вкладывал в ящик данные по изменению Коэффициента Умственного Развития, сведения о платежах прайсовских клиентов, результаты обследования его семейного положения и прочие цифры и анализы, вплоть до содержания холестерина в крови и количества крепких напитков, истребленных за неделю. Ящик № 7 мгновенно, с быстротой хорошо смазанной молнии, выводил Индекс Профессиональной Пригодности, сумму недельного вознаграждения, иногда назначал премию. Вся жизнь коммивояжера зависела от Индекса Пригодности. Он не должен был опускаться ниже ста сорока. Сто тридцать девять — немедленное увольнение. Но и ни в коем случае не подниматься выше трехсот пятидесяти. Слишком способные сотрудники — потенциальные зазнайки и завистники или опасные интриганы. Благополучие, надежда и страх плыли по бурной реке жизни между двумя берегами, обозначенными роковыми цифрами — 140 и 350.

Когда из черной дыры электронного Директора начинала выползать лента с цифрами Индекса, Прайс напрягался и застывал, как преступник, ожидающий, когда судья нахлобучит парик и промямлит первые слова приговора. Но в глазах судьи преступник все же видит преарене, жалость или на худой конец равнодушие. Здесь — ничего! Директор не имел глаз, и все человеческое было ему чуждо. Его кажущееся беспристрастие оборачивалось жестокостью. Приходя к Директору, Прайс каждый раз страдал, не понимая до конца причину своих страданий. Как один из рядовых сотрудников фирмы он имел право обращаться с просьбами и заявлениями только к ящику № 7. Разумеется, предварительно превратив эти просьбы и заявления в колонки цифр, единственно доступных пониманию Директора.

Вот и сейчас он должен срывающимся от волнения голосом продиктовать в телефон серию чисел. Ящик № 7 разжует информацию и превратит драму жизни в потрепанную магнитоленту. Он выдаст решение с тунным высокомерием ограниченного электронного идиота. И Прайс должен будет покориться этому решению. Нет, к черту! Пусть аппараты «Медикал-Секьюрити» сворачивают набекрень мозги своих клиентов. Какое до этого дело старшему коммивояжеру!

Все же, снедаемый угрызением совести, он доложил Директору о том, как похитили выключатель мозгов и что секрет аппарата, вероятно, уже известен злоумышленникам. Ящик № 7 сработал быстро и четко, как клапан новенского упитаза. Приказ, записанный на магнитоленте, в переводе с электронного на человеческий язык звучал примерно так: «Меньше эмоций, мистер Прайс. Или ваш Индекс Пригодности полезет к нулю. Фирма получила 38741 заказ на выключатель мозгов. Даже содержатели педикюрных кабинетов имеют профессиональные тайны и жаждут выключать мозги, чтобы безбоязненно болтать с женами. Мы выполним их заказы во что бы то ни стало. Заключим деловую сделку, мистер Прайс, — вы молчите о том, что секрет выключателя похищен, мы оставляем вас на работе в прежней должности. Свою вину вы искупите делом. Приступайте к делу! «Медикал-Секьюрити» начинает крупную рекламную кампанию в пользу вибрационных методов лечения».

Прайс облегченно вздохнул. Ящик № 7 поступил с ним неслыханно милосердно. Хотя, конечно, финансового возмездия в виде штрафа не миновать.

Уходя от Директора, Прайс уже бормотал про себя обращения к будущим клиентам, обязанным вкусить прелесть новейшего вибрационного лечения:

— Мистер Паралитик, наша дрожащая кровать, совершая тысячу двести колебаний в секунду, размягчает застывшие суставы. Ручаюсь, через полгода вы сумеете победить в беге на сто ярдов Черную Стрелу — Боба Клива...

— Дорогая миссис, мое сердце разрывается от горя, видя вашего малютку в столь плачевном состоянии. Увы, недостаточное умственное развитие не поддается лечению, кроме... Кроме Гигиенического Вибрационного Ошейника нашей фирмы. Он разбалтывает мозги со скоростью семнадцати килоциклов в секунду...

— Кровяные шарики, мистер Дряхлый Симпатяга, вот в чем секрет успеха у женщин. Вибрация кровяных шариков передается на расстоянии, действуя возбуждающе...

Грандиозная кампания под лозунгом «Дрожите все! Дро-

жите день и ночь!» поглотила дни и мысли Кена Прайса. Он забыл о Хэмсте, изобретателе Великого Театра Призраков. Забыл, пока тот не напомнил о себе самым удивительным способом.

## 6

Ночью в окно счалки постучали. Только безумец или потерявший последние крохи рассудка пьяница мог решиться стучать в окно. Стекла первых этажей уже давно делали электроопроводными и на ночь пускали по ним ток высокого напряжения. Но стук повторился.

Прайс оторвал голову от пневматических присосков Самоусыпляющей Подушки, нащупал на столике шестиствольный револьвер, стреляющий струями слезоточивого газа, и осторожно, прижимаясь к стене, действуя по заветам лучших гангстерских фильмов, прокрался к окну. Все стекло заполнила прозрачно-белесая, словно медуза, чудовищная маска. Черные впадины глаз и рта прикрывали длинные мутно-белые волосы. Крючковатый и плоский клюв, величиной с лопату гробовщика, стучал по стеклу. Прайс закричал, не слыша собственного крика, как во сне. Но Сали все же проснулась и включила свет. Тяжелые веки чудища заморгали, из впадин глаз выглянули и задрожали черные усы, похожие на антенну портативного телевизора. Чудище, словно притянутое светом лампы, прильнуло к окну и в следующее мгновение прошло сквозь стекло. Оно все состояло из одной огромной студенистой головы, и теперь голова эта лежала, колыхаясь, в кресле, подмигивая сквозь заросли белых волос.

— Пришелец! — взвизгнула Сали. — Марсианин!

— Вздор! — прошептал Прайс, сжимая револьвер. — Опять шуточки твоего папаши...

С грохотом и звоном упало и разбилось зеркало, висевшее возле кровати. На стене, в том месте, которое только что занимало зеркало, явственно проступил силуэт обезьяны. Силуэт набух и потемнел, приобрел выпуклость барельефа и... сквозь стену прошла в комнату рыжая обезьяна. За ней, кривляясь и скаля зубы, протиснулись еще шесть обезьян постепенно уменьшающихся размеров. Прайс схватил Сали за руку и потащил к двери, без его помощи она не смогла бы сделать эти несколько спасительных шагов.

В коридоре они наткнулись на тестя. С вытаращенными от ужаса глазами, подняв руки вверх, он медленно пятился, отступая перед вставшей на дыбы помесью гориллы с утконосом. Уродливый зверь, не обращая внимания на тестя, свернулся в сторону, прошел сквозь стену в кухню, и там он или кто-то другой громко и жалобно заверещал.

Дом наполнялся грохотом, плеском, звоном, стенаниями, скрипом, плачем, воем, гулом.

Теперь уже втроем они выбежали на улицу. Генри с ними не было, он, как всегда, дежурил в ночной — «выгодной» — смене. Улица оказалась запруженной людьми. Полураздетые, не замечая друг друга, сталкиваясь и отскакивая, как бездушные мячи, они бежали к реке, а навстречу им, пронзительно завывая, неслись пожарные машины, полицейские броневики и санитарные автомобили. Ошалевшие от страха люди не замечали машин и, только когда свет фар ослеплял их, останавливались как вкопанные, бросались влево-вправо и вновь бежали к реке.

Прайсы жили в западной части района Вудхольм, там, где стадион и река образовывали почти острый угол, упирающийся в мост генерала Мэя. Толпа бежала именно туда, и Кен отчетливо представил себе, что творится на мосту.

Костлявый мужчина, закутанный в одеяло, схватил Прайса за руку.

— Я стрелял в них! — возбужденно прошептал костлявый. — Я стрелял в них! Пули прошли насквозь, а они даже не поперхнулись...

Мужчину тряслось, тяжелый револьвер, из дула которого еще вился сизый дымок, ходил ходуном в дрожащей руке. Он помчался дальше, показывая всем, на кого натыкался, свой револьвер, и повторял:

— Я стрелял в них! Я стрелял в них! Они даже не поперхнулись!

По ночам Вудхольм освещали плохо. Все равно его обитатели с наступлением темноты прятались за бетонной скорлупой домов и домиков, спуская предохранители с электронных замков и сюрприз-капканов. Сейчас полицейские геликоптеры, повиснув над улицами, освещали беженцев прожекторами. Пяты света бегали по толпе, выхватывая из полутьмы фигуры людей, бегущих к мосту. Катилась, как шар, толстуха, вздымая вверх короткие руки. За ней, не отставая, катилась

такая же круглая и толстая собака. Женщина несла на руках ребенка, ребенок сжимал в руках куклу, кукла держала в растопыренных пальцах совсем крохотную куколку. Двое очень похожих мужчин — близнецы? — толкали кресло-коляску, в которой сидела высокая прозрачно-восковая старуха. Ближе к мосту толпа становилась гуще. Навстречу ползли полицейские броневики, стараясь разрезать людской поток на части и тем самым спасти людей от паники и губительной давки. Прайсы растеряли друг друга. Первой отстала Сали. Кен вынужден был отпустить ее руку, когда броневик надвинулся на них вплотную. Броневики шли гуськом, сплошной железной цепью. Сали осталась где-то там, в другом потоке людей. Прайса сдавили и понесли вперед. Напор обезумевших беженцев был так силен, что его выдавило из людского месива вверх и он болтался над толпой, как тряпичная кукла, не в силах опуститься на землю.

Когда Прайс увидел бетонные устои моста генерала Мэя, он понял, что погибнет. Анкерные тумбы, удерживающие цепи моста, и каменные перила оставляли слишком узкий проход. Сейчас людская река ударит его, как щепку, о тумбы — бетонные скалы высотой в двадцать футов, и они станут грандиозным памятником на его могиле. Нет, к черту! Он вырвал одну ногу из тисков толпы и шагнул прямо по головам. Он шел поверх людей, проваливаясь и выдергивая ноги из живой массы. Некоторые последовали его примеру. Два этажа людей — это было самое страшное, что он видел в жизни.

Пробравшись таким образом в сторону ринг-стадиона, туда, где толпа редела и рассыпалась на части, он, наконец, опустился на землю. Спасен!

Позже Кен узнал, что Сали и тестя находились в тот момент почти рядом с ним. Полицейские броневики оттеснили их также в сторону стадиона, загнали под мост, и там они переждали первый, самый обильный и страшный поток беженцев. В ту ночь десятки тысяч покинули район Вудхольма, спасаясь от нашествия призраков. Бестелесные электронно-оптические привидения и чудища стали полновластными хозяевами Вудхольма, и только какое-то чудо удерживало их от проникновения в другие районы города.

Прайс почти осознанно представил себе начало и причину катастрофы.

Подробности, которыми были нашпигованы газеты, убедили его, что все случилось именно так, как он думал...

...Утром в день катастрофы Хэмст пришел в Театр Призраков, где заканчивались последние монтажные работы, сам бледный, как привидение. Он смотрел в землю, горбился и ежился, страдая от озноба нервной лихорадки. А ведь последнюю неделю он чувствовал себя превосходно, и главное, каждую ночь сон его был глубок и безмятежен. Никакие Самоусыпляющие Подушки не приносили ему такого полноценного отдыха, как выключатель мозгов. Он смог по достоинству оценить творение «Медикал-Секьюрити». Хэмст — опытный инженер и изобретатель — быстро освоился с набором тумблеров, оснащающих аппарат. Выключатель скрывал в себе такую гамму возможностей, о которых, быть может, не подозревали даже те, кто его конструировал. Хэмст забавлялся, играя с собственной головой, как котенок с клубком ниток. Включил тумблеры 1—2—16—27, и сладкая волна полной отрешенности заливает мозг. Проваливашься в небытие, житейские дрязги исчезают стремительно, как дым сигареты под раструбом тысячесильного вентилятора. Щелкнул тумблерами 8—17—26—41, и приступ азартной деловитости хватает и теребит взбудораженный мозг. За десять минут готов пропустить сквозь себя тонну идей, монбланы проектов. Но главное... Главное! Проклятый груз тайны, секрет производства Великого Театра Призраков, секрет стоимостью в десять миллионов, который приходится таскать в голове, никогда не расставаясь... Теперь можно выключить крохотный кусочек мозга — хранилище тайны — и тогда — о радость! о счастье! — можно болтать с друзьями, напиться пьяным, шутить с незнакомыми девушками. Делай все, что взбредет в голову, не боясь проболтаться и выдать Великий Секрет. Блаженство свободы! Будто устроил себе побег из тюрьмы, в которой томился долгие годы.

Так почему же сегодня его бьет нервная лихорадка?

Он трет лоб и силится понять «почему?». Еще час назад он знал причину тревоги, а вот сейчас забыл. Он забыл еще что-то очень важное, что понадобится именно сегодня, когда он выгонит всех монтажников из помещения Генератора При-

зраков и в одиночестве приступит к монтажу Сгустителя Теней. Собственно, весь секрет Великого Театра заключался в Сгустителе. Именно в нем зыбкая и невесомая квазибиоплазма превращалась в подобие реальности — в зримое, объемное и самостоятельно существующее привидение любого образа.

Сейчас он поставит в положение «включено» тумблеры 4—40—44 выключателя мозга, и уголок его памяти, тот, что хранит секрет Сгустителя, озарится яркой вспышкой. Мысленным взором он вновь увидит перед собой схему монтажа. Он выключил этот уголок памяти, уничтожил в мозгу образ схемы вчера, после утомительных шестнадцати часов предварительного монтажа. Сейчас выключатель мозга восстановит схему. Вот они, тумблеры 4—40—44... Сейчас... Почему ему кажется, что он забыл что-то очень важное?.. Все же Театр Призраков — адски сложная штука... Сейчас он вспомнит схему монтажа Сгустителя...

...Основное здание Театра Призраков представляло собой модную комбинацию «спираль плюс шар». Двести сорок восемь колонн сизого вороненого металла поддерживали гигантскую спираль из черного бетона, вознося верхнюю площадку спирали на высоту двадцатиэтажного дома. Сооружение венчал шар, нависая еще более черной, аспидной выпуклостью далеко над витками спирали. В основании шара скрывались форсунки, непрерывно выбрасывающие облака серого пара. Шар как бы плыл в облаках, теряя всякую связь со спиральным постаментом. Как и любое зрелище, Театр Призраков нуждался в подобных театральных эффектах. Внутри шара находились Генераторы Призраков — одиннадцать залов, наполненных аппаратами, похожими на увеличенные во много раз аппараты планетария. Основной частью каждого Генератора был Сгуститель Теней — маленькие шкатулки, плотно набитые разноцветными кубиками синтетических кристаллов. Расположение кристаллов — одно необходимое из тысячи комбинаций — Хэмст хранил тоже в шкатулке... Шкатулке памяти... Сейчас он вспомнит схему расположения кристаллов... Адски сложная штука!..

Самое сложное в техническом отношении зрелище было призвано удовлетворить любые вкусы. Более того — каждый мог создать зрелище, руководствуясь собственной игрой воображения. К его услугам было сырье — всевозможные призра-

ки людей, животных и фантастических химер, из которых, словно ребенку из кубиков, не составляло труда состряпать любое зрелище. Представление без сценария и либретто, управляемые галлюцинации, божественное мифотворчество.

Проспект Великого Театра Призраков сулил:

«Иллюзион-сквер № 1 «Загон Вампиров». Десять акров пространства, населенного чудищами по Вашему выбору. Электронный каталог, составленный профессурой мистики и оккультизма, содержит: а) систематизированный бред наркоманов, б) видения ясновидцев, г) реконструкцию первобытной магии Южных Морей, д) космический зверинец и многое другое.

Электронные смесители, повинуясь Вашему мысленному приказу, тасуют картотеку, как колоду карт, приготовляя восхитительный коктейль из различных частей тела семнадцати тысяч разнообразных электронных призраков.

Безопасность гарантируется! Помощь дежурного психиатра — за умеренную плату.

Иллюзион-сквер № 2 «Великая Замочная Скважина».

Электронная картотека № 2 содержит все данные о жителях нашего города. Двенадцать частных сыскных агентств пополнили картотеку интимными подробностями. Сцены жизни любого семейства! Великая Замочная Скважина срывает покровы ночи. Самоучитель для новобрачных. Прозрачный город.

Разрешено Церковным советом и Службой безопасности.

Иллюзион-сквер № 3 «Долой кандалы».

Каждый может удовлетворить здоровый инстинкт зверя.

Вызывайте призрак самого себя! С помощью Вашего призрака удовлетворяйте жажду разрушения! Акты убийства, поджогов и людоедства разрушат Ваш комплекс неполноценности. Самоубийство доступно каждому и безопасно! Ваш призрак, в точности копируя Ваши привычки и жесты, кончает самоубийством на Ваших глазах! Наблюдайте самого себя! (Четырнадцать вариантов.) Камера «Покончи с врагом своим» предлагает свершить возмездие над призраками Ваших врагов (аутодафе над налоговым инспектором, отравление отваром из сердца гадюки нежелательного соседа — сто сорок пять вариантов)...

Проспект содержал еще девяносто семь «Иллюзион-сквев-

ров», от «Лабиринта Духов» до «Загробного Ясновидца» и «Палатки Араба». Кинокомпании, выпускающие фильмы ужасов, оказались бы разоренными дотла в день открытия Великого Театра Призраков. Хэмст был Колossalным Изобретателем!

...Хэмст вертел в руках шкатулку Сгустителя, и холодный пот струйками бежал по его спине. Он забыл! Начисто забыл схему Сгустителя Теней... Трясущимися руками Хэмст наугад переставлял кубики кристаллов. Забыл! Что-то произошло с его головой!.. Тумблеры 4—40—44 выключателя Мозга — они все поставлены в положение «включено». Почему же он не может вспомнить схему? Проклятый выключатель — он предал его. Ловушка! Еще раз тумблеры 4—40—44... Ничего! Провал в памяти не исчезает. Ему показалось, что он видит в собственном мозгу черную пустую дыру. Но сознание работало лихорадочно. Выключатель мозга испорчен! Потеряв надежду выведать у Хэмста тайну Театра, конкуренты украли секрет помельче и сохраняемый, видимо, не так прилежно — секрет выключателя. Их агент испортил выключатель, испортил его мозг. Конец! Крах! Завтра его счет в Тотальном Финансовом Центре превратится в ноль. Он сам уже ноль.

Хэмст скорчился, как от удара, и при этом действительно сильно ударился головой о край монтажного стола. Боль отрезвила. Все же он семь лет работал над Сгустителем Теней. Семь лет! Что-то должно сохраниться в закоулках его памяти.

Стараясь сбросить липкий груз оцепенения, он кое-как, почти наобум смонтировал Сгуститель и отдал его старшему монтажнику.

Вечером, когда окончательно растерянный, поседевший, обезумевший Хэмст включил блок энергопитания, произошла величайшая в истории Зрелищ катастрофа. Великий Театр Призраков, повинуясь наобум смонтированным Сгустителям Теней, изринул из себя толпу неуправляемых, взбесившихся привидений. По металлическим колоннам основного здания заскользили вниз гномы, упыри, ведьмы, химеры, жаболюди, вампиры, ракопауки, пираты, червочеловеки и прочая нечисть, закодированная в миллионах ячеек электронного каталога. Адская машина Хэмста не доделала свое дело до конца — у многих призраков не хватало рук или ног, другие тащили свои головы отдельно, в пластиковых мешочках, у некоторых призрачные скелеты лишь наполовину обросли прозрачной

плотью. На три ведьмы пришелся один глаз, и они, яростно ругаясь, выхватывали его из орбит друг у друга. Как показали материалы Федеральной Следственной Комиссии, около двадцати процентов привидений срослись спинами или представляли из себя путаницу четырех голов и шестнадцати рук, что делало их еще более омерзительными.

Призраки и полуфабрикаты призраков быстро заполнили район Вудхольма, изгнав из домов обезумевших от страха горожан. К счастью, мощное силовое поле Генераторов сдерживало привидения, не давая им разбежаться по всему городу. Хэмст исчез, официальная версия уверяла, что призраки-щекотуны защекотали изобретателя до смерти.

## 8

Оставшимся без крова беженцам Вудхольма пришла на помощь компания «Юг-Персик-Фрукт». Пятьдесят грузовых дирижаблей притащили с юга семь тысяч потрепанных автофургончиков. Проржавленные жестяные коробки обычно служили жильем для сезонников — сборщиков хмеля. Теперь за умеренную плату в них разместились те, кого прогнали на улицу призраки Хэмста. Автофургоны поставили правильными квадратами и пронумеровали. В коробочке под № 5241 поселились Прайсы.

Бегство из дома и оккупация Вудхольма соимищем призраков особенно сильно сказались на отце Сали. Старик чувствовал себя глубоко уязвленным. Слава его как завзятого и даже опасного шутника померкла. Разве его жалкие пластмассовые черви или светящиеся кошки могли конкурировать с Вудхольмом, набитым до краев первосортными чудищами, состряпанными по последнему слову супермистики и неоккультизма? Старик зачах, он больше не выписывал прейскуранты «Ежедневных ужасов» и целыми днями сидел неподвижно на ступеньке фургончика, бесцельно ковыряя землю перочинным ножом.

Зато Генри развил такую бурную деятельность, словно его подключили сразу к дюжине щекочущих нервную систему нейровибраторов. Книготорговец привез ему полтонны юридической литературы. Здесь было множество ценных пособий — от трехтомного «Юридического оракула» до самоучителя «Как

вести себя на допросах первой категории». Центральное место занимали сорок шесть фолиантов «Наследственного права от Тита Примула до сенатора Паперштока». Это значило — вместе со своей невестой он начинает судебный процесс, надеясь, что федеральный суд признает завещание в пользу робота недействительным и наследство старого дядюшки все же достанется Моди. С горящими от возбуждения глазами Генри доказывал Прайсу, что федеральный закон 1901 года с поправками 1978 года исключает всякую возможность завещания в пользу автоматического устройства, и снова бежал в бог знает какую по счету юридическую контору получить совет электронного консультанта. К сожалению, дешевые автоматы-юристы были запрограммированы разными юридическими корпорациями, и их противоречивые советы могли расколоть надвое самую крепкую голову.

— Знаешь, папа, я понял, что робот не имеет отношения к специальному разъяснению от пятого июля касательно психически неполноценных наследников, и поэтому над ним не может быть установлено опекунство. А сам он тем более не может наследовать, так как примечание к параграфу шестьдесят второму дополняет список возможных наследников только певчими птицами и ручными крокодилами.

Прайс неопределенно хмыкнул.

— Все же ты говорил, что суд утвердил опекунство над роботом?

— Пока только в первой инстанции. Опекуном назначили «Союз голубых братьев». Эти святоши имеют большой вес. Святой Христофор — покровитель кибернетики — снова в моде, и голубые братья пользуются его именем вовсю. Они утверждают, что обратили робота в свою веру еще при жизни дядюшки и что дядя с роботом были духовными братьями и друзьями. Поэтому, мол, механический камердинер вполне вправе наследовать дядюшкин пакет акций.

— Что же, мне кажется, что никому не возбраняется иметь другом робота. Ей-богу, они иногда лучше людей.

— Лучше людей? Что ты говоришь, отец! Вспомни своего Директора — ящик номер семь...

— Тсс!

Прайс смутился. Значит, Генри все знал. Знал, что Прайс безропотно подчиняется приказам грязного пупырчатого

ящика. Знал и делал вид, что внимательно слушает отца, когда тот распространяется о своей дружбе с Директором.

— Генри, прошу тебя, не говори о ящике маме. Мне уже все равно, я привык, но ей покажется обидным.

Такие минуты признания случались слишком редко, и оба почувствовали нежность друг к другу, потребность продолжить откровенный разговор.

— Мне дали странное поручение, — сказал Прайс. — «Медикал-Секьюрити» состряпала лекарство для призраков Вудхольма.

— Лекарство для призраков?

— Не совсем обычное лекарство. Призраки распадаются, им не хватает энергии. Через полгода Вудхольм может очиститься от этой дряни. Поэтому «Медикал-Секьюрити» придумала лекарство. Просто очень дорогие водородно-цеевые батареи. Призраков нужно подкормить энергией. Это продлит их существование.

— С ума сойти! Кому они нужны?

— Сложная борьба, мальчик. Туристские компании надеются добиться открытия Вудхольма для туристов, им нужны призраки. Домовладельцы в ярости. Еще бы! Они хотят как можно скорее вернуть свои дома. Когда Великий Театр Призраков разорился, домовладельцы не получили компенсации. Мне думается, туристские компании сильнее — приток валюты, оживление торговли...

— А пока что ты должен тайком тащить в Вудхольм лекарство для призраков?

— Сегодня ровно в полночь я передам старику Дунину образцы батарей.

— Это опасно, папа?

— Ничуть. С чего ты взял? Призраки не опасны. Читай газеты.

— Там патрулирует полиция. Вход живым в район Вудхольма запрещен. Там творятся темные дела.

— Я знаю законы. Никто не может запретить мне честно торговаться.

— Кроме того, так приказал тебе ящик номер семь?

— Да. Я должен идти.

Два дня тому назад Генри получил срочное задание. Он оборудовал полицейские машины инфракрасителями, которые на расстоянии пятидесяти ярдов отличали живого человека от

призрака. Появиться теперь в районе Вудхольма — значило почти наверняка подставить себя под дуло снайперпулемета. Конечно, если повезет, то... В сущности, полицейских патрулей не так уж много, а Вудхольм — самый крупный район города... Надо предупредить отца насчет инфраискателей... Бесполезно... Он пойдет все равно. Отец никогда не был трусом, но Директора он боится больше, чем снайперпулемета.

— Отец, я пойду вместо тебя. Разреши мне.

— Зачем? Ты боишься за меня? Напрасно. Со мной ничего не случится. Впрочем, если тебя не затруднит. У меня так болит лодыжка. Та, которую раздробило капканом. Пойди, мальчик, дело пустяковое. Уверяю — никакой опасности. Я могу заплатить тебе. Наверное, вам с Моди нужны деньги...

— Спасибо, отец. Потом, когда вернусь.

Он хотел сказать «если вернусь», но сдержался. Жаль отца. Рисковать должны молодые — это закаляет.

Они отправились в гараж, и Прайс передал Генри черные коробки с батареями — лекарство для призраков.

## 9

Черную коробку капрал принял за бомбу и нажал кнопку снайперпулемета. Когда капрал выбрался из машины и подошел к Генри, тот уже был мертв. Коробок с батареями капрал не нашел. Призрачные помощники старика Дунна оказались проворнее полицейских.

По опознавательному жетону, оставшемуся на шее Генри после очередной учебной атомной тревоги, удалось быстро разыскать его семью. Получив извещение о гибели сына, Прайс сгорбился так, будто на него навалили свинцовую плиту. Ему захотелось исчезнуть, сжаться в комок, скрыться в темной норе, окаменеть, не двигаться. Он погасил свет в крохотной кухне и сидел, не шевелясь, тупо уставившись в окно. Время от времени яркие вспышки синего огня озаряли пустырь, где стояли фургоны. Это выброшенные на улицу безработные, устаревшие роботы, пытались продлить свое бесполезное существование. Они пробовали нелегально подключать свои энергозапасники к воздушной высоковольтной линии, проходившей через пустырь, и погибали в конвульсиях короткого замыкания.

Прайс ждал рассвета. Сали не было дома, она уехала к младшей сестре. Завтра он должен сказать ей, что Генри погиб. Как сумеет он сделать такое? Он всегда хотел добра семье, хотел доставить им радость. Вместо этого принес зло и горе — послал на гибель сына. Он никому не желал зла, он любил делать добро, а погубил Хэмста, выпустил на волю стадо чудовищных призраков, которые прогнали с насиженных мест тысячи обитателей Вудхольма... А сам он разве не призрак? Им правит кто-то, кого он никогда не видел, правит призрак, заставляя делать призрачное дело. А разве там, в темной конуре Хэмста, при свете огарка они не были похожи на призраков? Разве кругом его мало призраков? Да они всюду — призраки Корыстолюбия, Тщеславия, Лицемерия, Продажности, Жестокости... Они расползлись по городу, и весь город как район Вудхольма...

Он ждал рассвета, когда приедет Сали. Предстоит тяжелый разговор, но по крайней мере их будет двое. Наступит утро, и кончится одиночество... Призраки тоже исчезнут. Когда наступает утро, они пугливо прячутся...

Утро наступает всегда.

## Послесловие

В странах капитала рядом с техникой, производящей действительно полезные вещи, процветает и развивается техника подглядывания и подслушивания, технология похищения чужих изобретений и новинок. Созданы специальные агентства и фирмы, занимающиеся промышленным шпионажем. Беззастенчиво рекламируется многообразная шпионская техника:

«...электронное устройство «Снупер» усиливает звук в 1 000 000 раз. Вы можете направить его на группу инженеров, обсуждающих важный проект, и слышать каждое слово с расстояния 200 метров...»

«...Парabolический микрофон Рубинстайна улавливает микроскопические вибрации оконного стекла и регистрирует разговор, происходящий за закрытым окном...»

«...«Снайперскоп» фотографирует чертежи в темноте...»

Ярость конкуренции не знает пределов. Промышленные шпионы, оседлав вертолеты и вооружившись телекамерами, совершают воздушные налеты, пытаясь сверху фотографиро-

вать новые цехи, химические реакторы и аппараты конкурентов.

Охота за новейшими изобретениями, химическими рецептами и прочими новинками часто кончается трагически. Например, изобретатель оригинальных способов производства нейлона Уэллес Каротерс, ограбленный фирмой «Дюпон», покончил с собой. Город Кенигсхофен (пригород Страсбурга) лишь по счастливой случайности не был сметен с лица земли — западногерманские агенты Лосс и Линдербаум, похитив чертежи новой электропечи, хотели напоследок... взорвать завод в центре этого города.

Так что трагикомическая история Театра Призраков, гибель изобретателя Хэмста и крушение надежд «маленького человека» Кен Прайса имеют под собой вполне реальную основу. В джунглях капиталистического «свободного предпринимательства» случается и не такое!

## Роботы улыбаются

*Фантастические микроюморески*

### Каждому свое

— Сначала работа, потом удовольствие, — сказал нейрокибер, кончив решать сингулярные уравнения и начав пересчитывать запятые в Большой Британской Энциклопедии.

### Объявление

«Детский сад «Нолик» со смешанными группами воспитания объявляет прием детей:

Ребят рождения 2431 года.

Робят производства 2440 года.

Киберят выпуска 2441 года».

## **Проницательный ребенок**

- Нам учитель рассказывал, будто человек произошел от обезьяны.
- Чепуха! Это все кибера от зависти придумали.
- Еще бы! Учитель ведь тоже кибер!

## **Примитивный**

- Зачем ты делаешь нейрокибера только с двумя мозговыми ячейками?
- А мне нужен партнер для игры в домино.

## **Единственная примета**

- Когда океанологическая экспедиция вернулась из плавания по Тихому океану, я сразу увидел, кто из них настоящие ученые, а кто киберроботы.
- Каким образом?
- Ученые загорели, а кибера нет.

## **Папа-скептик**

Ребята во дворе:

- А у нас робот перегорел...
- А у нас робот щетку съел!
- А у нас роботов нет. Мой папа в кибернетику не верит.

## **На публичной лекции**

**Ученый-лектор.** Представим себе некий решетчатый розервуар, собранный из прямолинейных элементов и водруженный на четыре моноциклических агрегата, перемещающихся по эквидистантным траекториям...

**Робот-переводчик.** Представим себе... э... телегу.

## Прямолинейность

— Вчера сказал своему психокиберу: для решения этой теоремы тебе придется еще поломать голову...

— Ну и что?

— Поломал, бедняга. Одни полупроводники остались.

## Лентяй

— Наша фирма «Мысль» получила массу новинок. Купите, например, этот новый нейрокибер. Он снимет с вас половину мыслительной работы.

— Только половину?.. Гм... В таком случае заверните пачочку.

## Бесконечный прогресс

— Эти роботы ужасно зазнались. Представляешь, вчера один такой механический недоучка заявляет: «Я не желаю монтировать бетонные плиты. Я тоже хочу решать сингулярные уравнения». Каков нахал! Ой!.. Да... да... да...

— Что с тобой!

— Ничего, уже прошло. Когда я волнуюсь, у меня заедает переключатель ферромагнитной памяти. Надо будет сделать хороший глоток силиконовой смазки. Так о чём мы говорили?

— О роботах для роботов.

## Сомнительная новинка

— Как вам понравился этот оригинальный вальс, сочиненный только что музыкальным кибером?

— Он мне всегда нравился.

## Роботы зазнались

— Ты знаешь, в последнее время меня все принимают за человека!

— Что же тут удивительного, если ты ведешь себя так нелогично.

## **Недоверчивый ребенок**

- Папа, а кто такой леший?
- Гм, как бы тебе объяснить...
- Это такой человек?
- Не совсем.
- Не совсем? Значит, это робот. Он живет в лесу?
- Да, в лесу.
- А где же он берет электричество?

## **Баранкин хочет быть роботом**

Из сочинения ученика 2-го класса «Э» К. Баранкина на тему «Кем ты хочешь быть?»: «Когда я вырасту, я буду роботом. Роботов все любят. Когда я упал с забора и набил шишку на лбу, меня ругали целый день и не пустили гулять. А когда два соседских робота отвинтили друг другу головы, им ничего не сказали. Роботом быть очень хорошо».

## **Изобретательные влюбленные**

«Объявление: Загс Ново-Лунного района доводит до сведения, что установленный срок в десять дней от подачи заявления до церемонии бракосочетания является обязательным. Влюбленным применять машину времени запрещается!»

## **Торжество логики**

- Блестящий оратор! Как он убедительно доказал, что машинам недоступна настоящая творческая работа.
- Еще бы! Это же сам старик Пихтоливанский! Все его философские труды пишут лучшие работы нашего века.

## **Заявление**

Правлению жилого массива Ультра-Черемушки. Просим удалить из первого этажа корпуса № 7412 мастерскую по гарантийному ремонту машин времени. Мастерская причиняет

жильцам много хлопот. У нас неоднократно бывают семь пятниц на одной неделе, ни один год на год не приходится — то длиннее, то короче. У жильцов второго этажа дети растут не по дням, а по часам. Кроме того, во всем корпусе ежемесячные журналы приходят каждый день. Просим принять меры.

Подписи жильцов.

Дата: 42 февраля, не знаем, какого года.

## Преимущество

Одип кибер другому, очень взволнованно:

- Говорят, что люди научились читать мысли!
- Плевать! Работы не краснеют.

## ФАНТАСТИКА, РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ



**С**реди многих удивительных явлений культуры XX века фантастика — одно из самых удивительных. Чем, например, объяснить поразительно быстрый рост ее популярности?

Социолог-исследователь ответит, что, по-видимому, тем, что фантастика тесно связана с наукой, а наука в наше время... и т. д.

Примем это объяснение. Тогда, казалось бы, нужно ожидать наибольшего развития фантастики в странах передовой научно-технической мысли. Это оправдывается по отношению к СССР, к США; но вот ни ФРГ, ни Франция не обладают сколько-нибудь заметной фантастической литературой, тогда как в Англии и Японии фантастика сильна и самобытна.

Это только один из многих вопросов, которые возникают при более близком знакомстве с географией и историей современной фантастики.

Ограничимся еще одним, на этот раз принципиально важным вопросом: почему в последние годы все большую популярность приобретает фантастика, как раз наименее тесно связанная с наукой? Чтобы не быть голословным, напомню о творчестве Брэдбери в США, Уиндэма в Англии, Стругацких в СССР. Широко разлившийся поток современной фантастической литературы вышел за берега «собственно научной фантастики». Теперь термин «научная фантастика», строго говоря, обозначает лишь определенный жанр, называя который мы обычно имеем в виду таких фантастов, как А. Азимов,

А. Кларк, И. Ефремов и т. п. В рамки «научной фантастики» не укладываются и многие из недавно пришедших в нашу литературу фантастов — О. Ларионова, В. Григорьев, И. Варшавский и другие.

Раньше фантастику называли жанром литературы; но теперь становится все очевиднее, что она не умещается в этом определении; наоборот, она подчиняет себе один за другим обычные литературные жанры.

Как у всякого большого потока, у фантастики есть свои притоки, повороты, отмели и плесы. Следуя за потоком, можно отчасти понять не только, как он стал собой «теперешним», но и почему стал.

Попытаемся заглянуть в недавнее прошлое нашей отечественной фантастики — в 20-е годы. Воздадим должное дерзости и наивности, увлеченности и ограниченности тех, кто своими книгами и рассказами, сегодня — зачастую несправедливо — забытыми, заложил основание растущего на наших глазах небоскраба.

Но существует ли эта «история фантастики»? Многие обзоры фантастики напоминают в этом отношении древнегреческий миф об Афине-Палладе; эта богиня, как известно, появилась из головы своего родителя, Зевса, сразу в полном боевом облачении и совершенолетней. В талантливой работе американского писателя Давенпорта говорится, например, что дата рождения современной фантастики — 1911 год, когда инженер Хьюго Гернсбек опубликовал свой роман «Ральф 124С41+». Ни слова о традициях, словно не было Эдгара По, Германа Мелвилла, Амбруаза Бирса, Джека Лондона, Марка Твена, не было американской утопической и антиутопической литературы. Не говоря уже о неамериканцах — Жюле Верне и Герберте Уэллсе. В честь Гернсбека установлена даже специальная премия имени Хьюго для лучшего американского фантастического произведения.

Что же представляет собой упомянутый «Ральф»? Действительно, нечто эпохальное, проложившее совершение новые пути? Недавно мы получили возможность ознакомиться с этим произведением на русском языке. Это очерк возможных будущих путей развития техники с приkleенной к нему мелодраматической, мещански пошлой интригой.

И в эту пору и много раньше и в англо-американской

и в русской литературе существовали значительно более глубокие и серьезные фантастические произведения — вспомним, например, «Железную пяту» Джека Лондона или произведения К. Э. Циолковского, А. А. Богданова, о которых мы еще будем говорить.

Действительной заслугой Гернсбека является то, что он основал первый специальный научно-фантастический журнал.

Роман Гернсбека, если и был «началом», то началом уклона американской фантастики в техницизм, социальное мелкотемье, космическое приключенчество на уровне представлений о будущем, присущих образованному мещанину. Вся история американской фантастики нашего века идет в борьбе традиций Эдгара По, Г. Мелвилла, Марка Твена, Джека Лондона с «традицией Гернсбека», и лучшее, что дала американская фантастика, выросло отнюдь не из гернсбековского лона, хотя и увенчано его именем.

Тем более нельзя начинать с «Ральфа» счет истории современной фантастики в целом. Строго говоря, о современной фантастике, как о чем-то связанном взаимными влияниями, вообще можно говорить только относительно к послевоенному периоду. В довоенные десятилетия русская, американская, французская, чешская фантастика развивалась почти независимо друг от друга; только отдельные книги преодолевали незримый барьер и оказывали мощное влияние на все литературы — такими были книги Г. Уэллса, А. Толстого, К. Чапека.

Эта сложная история «параллельных потоков», взаимодействовавших и с научно-социальной и с общелитературной действительностью своих стран, а позже — друг с другом, еще ждет своих исследователей. Мы ограничимся здесь только одним из потоков — нашей отечественной фантастикой. Это ведь не только исторически интересно — это еще и наш долг: вспомнить имена А. А. Богданова, Влад. Орловского, Вивиана Итина, В. Д. Никольского, Вс. Валюсинского и многих других, которые первыми в те далекие годы увидели многое из того, что теперь кажется нам самоочевидным, даже тривиальным «общим местом». Мы, например, с большой легкостью рассуждаем о влиянии науки на общество и наоборот; нужно некоторое усилие, чтобы вернуться на несколько десятилетий назад и представить себе интеллектуальную атмосферу той эпохи, когда подобные взаимовлияния были далеко не очевидны, замаскированы, скрыты от невнимательного взгляда, лишь тогда можно будет по-

достоинству оценить роль наших первых фантастов, которые чутко уловили эту подспудную проблему всей эпохи.

Не только формально, но и по существу советская фантастика рождена революцией.

В наследство от русской литературы она получила фактически только два жанра: социальную утопию и научно-техническую утопию.

Это классические жанры мировой литературы. Их появление — результат постепенного вызревания в глубинах средневековья гуманистической и научной свободной мысли. Знаменательно, что наиболее яркая социальная утопия нового времени — «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы — появилась почти одновременно (начало XVII века) с первой развернутой научно-технической утопией — «Новой Атлантидой» Фрэнсиса Бэкона.

Количество утопических произведений только в европейской литературе, по данным Влад. Святловского («Русский утопический роман»), превышает 4 тысячи! А ведь мы еще так мало знаем об утопиях Востока!

В России уже в середине XVIII века появляются оригинальные утопические произведения, в центре которых изображение идеальной, гармоничной страны, своеобразного «социального эталона» эпохи (П. Ю. Львов, В. А. Лёвшин и др.). Наиболее интересным утопистом XVIII века был князь М. М. Щербатов («Путешествие в царство Офирское»). «Идеальное общество» первых русских утопистов причудливым образом сочетало в себе черты прогрессивного экономического уклада и монархического деспотизма (впрочем, даже в коммунистическом обществе Кампанеллы сохраняются самые варварские обычай). Скованность социальной мысли ощущается и в интереснейшей утопии следующего, XIX века — незаконченном романе В. Л. Одоевского «4348 год». У Одоевского впервые в русской литературе мы встречаем — в пределах творчества одного и того же писателя — философскую и научно-социальную фантастику. В сумрачно-романтическом цикле «Русские ночи» Одоевский в серии фантастических новелл с большой страстью изобразил трагедию возвышенного человеческого душевного поиска, обретенного на поражение в чуждом ему современном «практическом» мире. Разлад с действительностью устремил мысль Одоевского к поиску гармонии не в существующем мире, а в мире будущего. По-видимому, его «4348 год» должен был

развернуться в роман о человеке и достойном его мире, но написана была только та часть, в которой изображалась научно-техническая действительность России 4348 года. По замыслу Одоевского, Россия будущего стала мировым центром наук, культуры и просвещения; ее ученые научились повелевать климатом, покорили воздух своими летательными аппаратами, создали синтетическую пищу, изобрели синтетические искусства и т. д. Но при всем этом Россия 4348 года все еще управляет монархом и родовитой аристократией, а сословные различия в ней нисколько не уменьшились.

Конечно, и Одоевский не создал русскую фантастику; его васлуга в ином: он ввел в нее глубокую философскую мысль и тем самым поднял на иной, высший уровень. Уже следующая наша утопия — знаменитый Четвертый сон Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать?» — является, по существу, страстным отрицанием социальной ограниченности «философско-романтической утопии» Одоевского. Между ними нет прямых связей; это идет идейный спор поколений, спор эпох и мировоззрений. Он идет и в главном русле нашей литературы и на ее периферии — в утопическом жанре. Так закладывается традиция; в будущем, когда от этого периферийского узелка отпочкуется поток советской фантастики, одним из ее ведущих мотивов станет социальный мотив, стремление показывать научное открытие в неразрывной связи с социальной действительностью.

Конец XIX — начало XX века ознаменовались бурным развитием капитализма в России; оно происходило на фоне быстрого роста научного потенциала — работы Менделеева, Умова, Лебедева, Столетова, Доливо-Добровольского, Попова, Циолковского выдвинули русскую науку на одно из первых мест в мире. Параллельно с этим в русской литературе возникает уже вполне оформленшийся жанр научно-технической утопии — на первых порах подражательной, а затем все более оригинальной. В 1895 году инженер и изобретатель В. Н. Чиколев опубликовал большой роман «Электрический рассказ» («Не был, но и не выдумка»), в котором развернул широкую картину внедрения электричества в быт, технику, науку будущего. Герой романа совершил экскурсию по «Институту экспериментального электричества», где узнавал об электрифицированных фермах, об электровозах и других достижениях будущего. Другой инженер, А. Родных, в романе «Самокатная дорога» (1902 год) вы-

двинул интересную идею железной дороги, где вместо обычной тяги используется тяготение Земли. В романе профессора Бахметьева «Завещание миллиардера» (1904 год) предвосхищена идея современных международных научных институтов; герой Бахметьева, сотрудники объединенного научного института, созданного на средства, завещанные богачом-меценатом, в ходе дискуссий и непосредственного общения значительно плодотворнее развивали науку, чем это достигалось прежним методом разобщенных усилий одиночек. Инженер Н. С. Комаров в повести «Холодный город» (1918 год) развернул оригинальную инженерную утопию на фоне очень широкого замысла: вследствие утепления Солнца, таяния льдов и увеличения прозрачности атмосферы температура на Земле повышается; в этих условиях путь к спасению указывает холодильная техника будущего, позволившая создать город-холодильник Колдтаун, рассчитанный на миллионы жителей. В повести Комарова мечты инженера сплавлены с элементами социальной утопии — приводится набросок истории Земли за два будущих века; основным рычагом истории является наука; народы, не развивающие науку, отстают в развитии, вытесняются на периферию событий. В повести намечены, хотя и робко, контуры классовой борьбы и технократические тенденции будущего («всемирный мозговой трест изобретателей»); показаны перспективы развития воздушного и электромагнитного транспорта, создание гигантских ГЭС.

Значительное место в русской фантастике того времени занимали произведения, созданные под влиянием цикла «необыкновенных путешествий» Ж. Верна — романы и повести о путешествиях к полюсу, о приключениях в воздухе и т. п., сочетающие романтику поиска и приключений с оригинальными инженерно-фантастическими идеями («В стране полуночи» М. Волохова-Первухина; «Цари воздуха» В. Семенова; «Неведомый мир» и «На Южный полюс» В. Уминского).

Литературные достоинства этих книг весьма сомнительны (даже в те времена фантасту нельзя было писать: «качая своей бесхитростной головой», как писал Н. С. Комаров о своем герое), и причины этого (по крайней мере одна из причин) понятны. Авторы были слишком воодушевлены научно-техническими перспективами, раскрывавшимися на их глазах и скрытыми от глаз непосвященных; они видели свою творческую задачу в приобщении широкого круга читателей к блистательным перспекти-

вам науки. Это была скорее просветительная, чем художественная литература; больше очерк, чем роман; художественный образ уступал место формулям и научно-популярным лекциям.

Русская фантастика прошлого отнюдь не была ни малочисленной (около 25 книг за 20 предреволюционных лет), ни эпигонской — научно-технические идеи, высказанные ее авторами, были передовыми идеями своего времени. Ее очевидные недостатки — схематизм, уклон в популяризаторство, очерковость — были общими недостатками фантастических утопий того времени.

Не менее оживленным был этот период и для социальной утопии — распространение социалистических идей вызвало новую волну литературы этого рода; появились книги У. Морриса, Э. Беллами, Э. Бульвер-Литтона, Е. Жулавского, Джека Лондона, в которых делались попытки развивать или опровергать идеи социалистического переустройства общества. В русской дореволюционной фантастике вплотную примыкают к этому направлению повести А. Богданова «Красная Звезда» (1908 год) и «Инженер Мэнни» (1913 год). В отношении этих книг можно говорить не только о продолжении традиции, но и о прямом их воздействии на раннюю советскую фантастику (в частности, на «Аэлиту» А. Толстого). Герой первой повести — русский революционер Леонид, который случайно знакомится на одном из подпольных собраний со странным человеком по имени Мэнни. Мэнни оказывается одним из марсиан, посланных с Марса на Землю с целью выяснить возможность колонизации Земли марсианами. По приглашению Мэнни Леонид отправляется на Марс в особом корабле — «этеронефе», движущемся реактивной силой продуктов радиоактивного распада, ускоряемых в электрическом поле (по существу, это предвосхищение идеи ионолета, ионного реактивного двигателя). История пребывания Леонида на Марсе — знакомство с марсианской цивилизацией, устроенной на началах разума и социализма, история несчастливой любви Леонида к марсианке Нэтти и его возвращение на Землю — составляет основу повести. Вернувшись на Землю, Леонид продолжает революционную борьбу, участвует в победоносном восстании пролетариата и, раненный, попадает в больницу, где его находит Нэтти и увозит с собой на Марс.

С первых же страниц повесть подкупает своей серьезностью — она сразу вводит читателя в круг напряженных раз-

мышлений, глубокой проблематики. Богданову удалось создать мыслящего героя, передать сложность и глубину размышления человека, приобщенного к современной ему науке и к алгебре классовой диалектики. Научные предвидения, рассеянные в книге, порою поразительны; так, уже в первом разговоре с Мэнни Леонид высказывает мысль о возможном существовании другого, «отрицательного» вида материи, который должен был входить в состав первичной туманности, породившей звезды. В другом разговоре Леонид выдвигает тезис об ограниченном числе возможных высших типов жизни — высший тип должен целостно выражать всю сумму условий своей планеты. В наше время эта мысль развернуто выражена в творчестве И. Ефремова. Богданов говорит об автоматике и особенно автоматизации умственного труда как главном направлении будущего прогресса (это в 1908 году!), о ядерной энергии как основе будущей энергетики.

Но главный интерес повести — в картинках социального устройства Марса, в которых Богданов воплотил свое представление о будущем Земли. Любопытно, что, рассказывая «историю Марса», Богданов пытается угадать возможную линию развития не земного, а иного человечества, поставить вопрос о закономерностях развития цивилизаций вообще.

Марсианским обществом руководит совет ученых, непосредственная организация труда осуществляется статистическими управлениями, труд предельно автоматизирован, много внимания уделено технической эстетике. Дети воспитываются всем обществом; отношения людей отмечены искренностью, простотой и гармоничностью. Главная и единственная человеческая свобода — свобода в выборе целей; смысл жизни личности — в вере в коллективную силу и великую общую жизнь. Противоречия марсианского общества растут из ограниченности личности по сравнению с целым, из ее бессилия вполне сливаться с целым и охватить его сознанием. Источник трагического — в борьбе со стихийностью природы. Колонизаторские планы марсиан Богданов связывает не с какой-либо иррациональной агрессивностью, а с необходимостью искать новые места поселений — почвы Марса истощаются, а сокращение рождаемости марсиане Богданова считают победой стихии над человечеством. Интересно, что в споре об объекте колонизации (Венера или Земля?) выдвигается, как решающий, следующий довод: земляне иные, и поэтому заместить их в мировой жизни невоз-

можно; каждая цивилизация в космосе уникальна, и ее нельзя оценивать только по уровню развития или количеству со-знательных социалистов.

Богданов сумел сделать (хоть и не всегда удачно) то, чего не хватало русской социальной и научной утопии, — показать влияние науки, технико-экономического развития на общественную жизнь, на быт и психологию людей. Он попытался раздвинуть рамки обычной утопической схемы, введя в нее живых людей, их отношения, живые человеческие чувства. Умная, сдержанно-поэтичная во многих местах книга Богданова и сейчас еще способна увлечь читателя своей широтой и глубиной многих догадок. Разумеется, и она не свободна от обычных недостатков утопий — описательности, обилия «лекций», монологов и объяснений, но не это в ней главное, а напряженная, ищащая мысль.

Отчетливо прослеживается преемственность между повестями. Богданова и «Аэлитой» Толстого. Богданов впервые в утопии попытался заменить героя-«экскурсанта» на героя-человека со всеми его особенностями, достоинствами, недостатками. Он поставил творческую проблему: не только показать иной мир, но и попытаться понять, как будет этот мир действовать на попавшего в него земного человека; в частности, будут ли по-разному вести себя русский интеллигент, вроде Леонида, и русский пролетарий в марсианском обществе. Эта творческая установка явно предвосхищает ситуацию Лось — Гусев в «Аэлите». Много общего есть и в истории любви Леонида и Лося.

Значительно слабее повесть «Инженер Мэнни». Сюжет ее — история великого марсианского инженера, строителя каналов, а внутреннее содержание, по существу, сводится к изложению взглядов Богданова на то, какими должны быть методы, тактика революционной борьбы пролетариата. Выйдя из сферы общесоциальной и научной, Богданов сразу же обнаруживает слабости своего мировоззрения. В основе его «теории» лежит идея эволюционного, а не революционного завоевания власти, мысль о просвещении пролетариата как главном пути к победе над капитализмом; по существу, он подменяет теорию революционного марксизма своей «всеобщей организационной наукой». За эту книгу Богданова критиковал Ленин.

В лице Богданова русская фантастика приобщилась к новым путям развития, близким к тем, которые в Англии были

намечены Гербертом Уэллсом в его утопиях, а в Америке блестяще представлены «Железной пятой» и «Алой чумой» Джека Лондона: к утопии сюжетной, населенной характерами, проблемами и конфликтами.

Особняком стоят в дореволюционной фантастике замечательные очерки К. Э. Циолковского («Грезы о Земле и Небе», 1895 год, «На Луне», 1893 год, «Без тяжести», 1914 год, «Вне Земли», 1918 год), в которых великий зачинатель космонавтики развивал в популярной форме свои мысли о грядущем завоевании космоса человечеством. Собранные воедино, эти очерки дают необычайно точную в научном отношении картину космического полета, стадий освоения космоса, условий жизни в нем. В них рассеяно множество оригинальнейших гипотез (вроде системы «эфирных островов», то есть населенных спутников Земли и Солнца, или «космических оранжерей» для поддержания кругооборота веществ в ракете и на спутнике), многие из которых стали сейчас проблемой дня. С точки зрения развития фантастики наиболее интересно то, что все творчество Циолковского, его серия научно-технических утопий была сплавлена в единое целое глубокой философской мыслью о космическом предназначении человечества. Вспомним хотя бы идею Циолковского об «объединении ближайших групп солнц» для достижения «высшего могущества и прекрасного общественного строя» — она прямо перекликается с идеей Великого Кольца, лежащей в основе «Туманности Андромеды». В творчестве Циолковского, оказавшем самое прямое влияние на раннюю советскую фантастику, как и в творчестве А. А. Богданова, можно увидеть зародыши нового, того, что впоследствии станет характерным для нашей фантастики, — стремление к серьезной, глубокой, «большой фантастике», несущей большие социальные, научные, философские идеи, объектами которой становятся не только отдельные изобретения или открытия, а человечество в целом, вселенная в грандиозных категориях пространства и времени. В сравнении с застывшими утопиями прошлого эти открытые в будущее картины целых эпох несопоставимы с прежней фантастикой уже хотя бы по своим масштабам; в этом качестве они еще более близки к творчеству Уэллса, хотя, конечно, значительно уступают ему по силе художественного воздействия.

Теперь мы фактически подошли к началу собственно советской фантастики. Экскурс в дореволюционную фантастику

дает нам многое для понимания особенностей советской фантастики 20-х годов.

Советская фантастика зародилась в труднейшее время. В образите себе страну, только что вышедшую из гражданской войны, страну разрушенных заводов, неподвижных паровозов и затопленных судов. Развороченный быт, в котором причудливо перемешалось новое со старым, будущее с прошлым. Голод, нищета, безграмотность. Казалось бы, как может в таких условиях возникнуть и развиваться фантастика, которую мы привыкли связывать с представлением о высокоразвитой в научном и техническом отношении стране?!

Парадокс фантастики заключается в том, что она может быть порождена и в полярно противоположных условиях; в то время как «сытая» Америка производила фантастическую продукцию, отмеченную всеми чертами «духовной сытости» и в первую очередь чертами охранительницы существующего социального порядка, в голодной России возникла фантастика, заряженная страстным желанием в мечте приблизить новое социальное будущее, фантастика, которая давала воображению мост от настоящего к близкому грядущему. Воспользуемся (весьма приблизительным) термином «литература мечты». В то время как ранняя американская фантастика — после Гернсбека — была литературой научно-технической и «собственнической» мечты, советская фантастика в начале 20-х годов прежде всего литература мечты социальной. Давние литературные традиции, которые мы проследили в дореволюционной русской фантастике, пакладываясь на новые социальные условия, вплетаясь в причудливо-ценовторимый быт 20-х годов, породили совершенно своеобразную фантастическую литературу, открывавшую новые пути и формы, полную динамики сложных противоречий.

С другой стороны, пусть не покажется кому-нибудь, что разруха и неграмотность исчерпывали содержание тогдашней жизни. Перенеся чудовищные удары и грандиозные потрясения, Россия осталась в ряду передовых в научном отношении стран.

Процесс становления советской науки косвенно отразился и на развитии фантастики. Если на первых порах социальный элемент явно перевешивал в ней элемент научный, то во второй половине 20-х годов начинается заметное преобладание научной тематики, разработка оригинальных научно-фантасти-

ческих гипотез, использование все более широкого круга научных проблем. Были и другие причины, действовавшие в том же направлении; об этом ниже.

Каков был литературный фон, на котором возникла советская фантастика?

Специальных журналов на первых порах не существовало; этим объясняется отсутствие рассказов в фантастике начала 20-х годов. Только с 1925—1926 годов начали издаваться такие журналы и альманахи, как «Борьба миров», «Всемирный следопыт», «Знание — сила», «Мир приключений». Частные издательства заваливали рынок огромным количеством переводной приключенческой и псевдофантастической литературы, вроде «марсианского цикла» Э. Берроуза («Дочь 1000 Джеддаков», «Владыка Марса», «Принцесса Марса» и т. п.), мистических романов Р. Айхакера («Погоня за метеором») и экзотически слашавых фантазий Пьера Бенуа («Атлантида»). Более серьезная научно-фантастическая продукция Запада, вроде книг Ж. Тудуза, О. Гайля, М. Ренара, появилась в русском переводе уже во второй половине 20-х годов, но и тогда им пришлось конкурировать с произведениями, в которых фантастика использовалась для прикрытия мистики, порнографии или как оправдание самых невероятных и бессмысленных приключений (П. Мак-Орлан, Б. Никольсен, Ф. Ридлей). Вообще, по подсчетам Б. Ляпунова, с 1923 по 1930 год было издано более 100 переводных научно-фантастических романов, новостей и рассказов (не считая переводов Жюля Верна и Герберта Уэллса). Для сравнения укажем, что число отечественных произведений за это же время чуть меньше 100. Но это сравнение еще мало о чем говорит. Гораздо существеннее то, что большая часть переводной литературы была того рода, который порождает в умах читателей извращенное представление о науке, ее подлинной силе и слабости, о подлинной расстановке социальных сил в классовом мире; это было, грубо говоря, низкопробное чтиво. Зарождающаяся советская фантастика противопоставляла ему свой социальный оптимизм, чувство исторической перспективы; таким образом, шла незримая, но отчетливая борьба за умы читателей; шла борьба двух противоположных тенденций в фантастике. В отечественных произведениях тех лет можно зачастую подметить явный крен в сторону легкомысленного развлекательства, примитивизма, научной и социальной отсебятины — и это объясняется

не только субъективными причинами или недостаточным на первых порах знакомством с наукой и социологией, но еще и вполне очевидным влиянием популярных образцов буржуазной псевдофантастики.

Был и еще один объективный фактор, повлиявший на характер ранней нашей фантастики, и о нем нужно сказать отдельно. То была особая психология тогдашней эпохи, которую нам трудно, пожалуй, сейчас понять; психология, которую Горький, говоря о причинах популярности приключенческой литературы, определил словами: «Людям быть надоел». То было время «сдвинутого» с места быта, бурлившего обещаниями многочисленных, самых фантастических возможностей как для отдельного человека, так и для страны и мира. Еще жива была память о внезапном и грандиозном перевороте, о приключениях и опасностях, пережитых в революции и гражданской войне; еще живы были надежды на близкое, скорое завершение мировой революции; ощущение неустойчивости капиталистического мира, как говорят, носилось в воздухе.

Все это создавало психологическую основу появления особого рода литературы — так называемого «красного детектива» («Месс-Менд» Мариэтты Шагинян, «Иприт» Виктора Шкловского и Валентина Катаева), который предполагалось противопоставить детективу буржуазному. Героями этих книг были отважные рабочие и сознательные интеллигенты, разрушающие хитроумнейшие заговоры капиталистических держав против Страны Советов. Непременным элементом было некое фантастическое допущение, наукообразная, а иногда и откровенно сказочная «гипотеза» (у Шагинян — это открытие особого чудесного элемента ления или содружество вещей и рабочих; у Шкловского — изобретение сверхвзрывчатки). «Красный детектив» был откровенным выражением отчетливо сформулированного «социального» заказа; его буйно-приключенческий сюжет, перебрасывавший героев с одного континента на другой, неизменно завершался картинами мировой революции, в приближении которой решающую роль играли похождения героев.

«Красный детектив» был, по существу, гибридным жанром, совмещавшим в себе элементы детектива и фантастики; его черты во многом характерны и для главной части фантастики начала 20-х годов.

В это время наша фантастика, делавшая свои первые шаги,

выработала своеобразную форму, жанр — «роман о катастрофе». Упрощенная схема такого романа выглядит примерно так: совершается некое научное открытие (довольно часто — «лучи смерти»); оно является последним толчком, нарушающим неустойчивое равновесие капиталистического мира; в борьбе за изобретение, его использование или сокрытие сталкиваются могущественные социальные силы; это столкновение приводит к мировой катастрофе и, как следствие, к победоносной революции.

Трудно провести четкую грань между научно-фантастическим «романом о катастрофе» и псевдонаучным «красным детективом»; пожалуй, для первого характерен все-таки больший интерес к научным деталям открытия и меньший (хотя еще значительный) удельный вес собственно приключений и детектива.

В своем чистом виде указанная схема воплощена, например, в небольшой повести А. Палея «Гольфштрем». Действие повести происходит в недалеком будущем, когда мир окончательно разделился на два лагеря: капиталистические США и союз социалистических республик Старого Света (то есть Европы и Азии; деление, как видим, почти современное).

Пытаясь захватить мировое господство, американские миллиардеры планируют перегородить гигантской плотиной теплое течение Гольфстрим, согревающее Европу, и обрушить тем самым на социалистические страны ледяные волны холода. Попытка бомбардировать плотину, предпринятая летчиками союза, оканчивается неудачей и гибелью одного из героев повести. Однако в действие вступает новый фактор — солидарность мирового пролетариата: рабочие Америки восстают против своих угнетателей. Параллельно основному действию автор пытался набросать отдельные картины будущего быта. Интересные находки имеются в описании жизни американских рабочих — они разобщены, им запрещено собираться вместе, их труд напоминает бессмысленное ритмическое действие, их жизнь проходит в чудовищных подземных общежитиях. Эти картины Палей создавал, исходя из обнаружившихся уже тогда тенденций современного капитализма — тенденции к превращению рабочего в придаток к конвейеру и тенденции к разобщению рабочего класса. Второе подмечено вполне точно; тема разобщенности, отчужденности людей друг от друга — одна из главных и трагичнейших тем лучшей части со-

временной американской фантастики. Однако в изображении социалистического будущего Палею, как и большинству тогдашних фантастов, не удалось продвинуться дальше самых общих и наивных представлений.

К числу «романов о катастрофе» следует отнести и повесть Анатолия Шишко «Аппетит микробов» и роман В. Катаева «Повелитель железа». Герой повести Анатолия Шишко изобретатель Лаэрак пытается навязать свою пацифистскую программу властителям капиталистической Европы, используя в качестве орудия созданные им отряды человекоподобных автоматов. Эта наивная попытка, разумеется, оканчивается трагически для Лаэрака; однако в ходе вызванных им событий нарастает конфликт между капиталистами различных стран; конфликт перерастает в военное столкновение, в химическую войну, которая превращает Францию в отравленную, выжженную пустыню, а Париж — в жуткое кладбище миллионов людей. Доведенные до отчаяния солдаты французской армии поворачивают оружие против кучки военных авантюристов, захватывают Париж и провозглашают Советскую власть.

Интересно заметить, что в этих книгах научное открытие (фантастическая пружина сюжета) постепенно в ходе событий оттесняется на второй-третий план. Масштаб событий перерастает деятельность одиночек, как бы гениальны они ни были; в игру вступают мощные социальные силы, и она идет уже не по законам фантастики, а по реальным историческим законам. Этот переход от научно-фантастического плана к социально-историческому, широкому плану, в каком бы несовершенном виде он ни происходил, — весьма характерная особенность ранней советской фантастики.

В романе Катаева роль «спускового механизма» играло открытие ученого-пацифиста Савельева, нашедшего способ намагничивать на больших расстояниях все железные предметы. И тут ученый-пацифист пытается навязать свою волю правительству, угрожая намагнитить все оружие их армий; и здесь он терпит поражение в своей благородной и наивной попытке, но его вмешательство инициирует цепь событий, завершающихся революцией в Индии.

Крах пацифистских иллюзий, крах попыток гениальных одиночек «организовать» историю по придуманной схеме, торжество «самоорганизующейся» исторической необходимости — эти идеи, общие для произведений данного типа, можно рас-

сматривать как первое, зародышевое воплощение очень важных для фантастики проблем: «механизм взаимосвязи науки и общества», «механизм взаимодействия усилий личности (здесь — ученого, его открытия и т. д.) с историческим процессом». Конечно, в те времена это еще не осознавалось так обнаженно, как сейчас, когда мы уже получили такие уроки сложности, как открытие атомной энергии, например. Но фантасты, угадывавшие великое будущее науки, догадывались и о ее серьезном влиянии на судьбы общества и пытались это влияние показать. Тем самым фантастика отходила от узко понятой «специфики жанра», которая, по мнению некоторых тогдашних критиков, заключалась в беллетризованной популяризации научных знаний и вырывалась, как говорится, на «оперативный простор» социальных обобщений. Давняя традиция получает новое развитие.

Сегодня нам трудно представить себе фантастику без социального аспекта, научно-фантастический сюжет без исторического, глобального эха, и потому раннюю нашу фантастику мы склонны скорее недооценивать. Нужно изменить уровень отсчета — сравнить, например, «Бунт атомов» Владимира Орловского с основной массой дореволюционной фантастики, чтобы увидеть, какое произошло изменение за каких-нибудь 10—15 лет. Появился, по существу, новый тип фантастического произведения, близкий к раннему Уэллсу по заинтересованности социальными проблемами, но и от уэллсовских романов тоже отличающийся.

Этот тип широко представлен в ранней советской фантастике; кроме названных уже произведений, можно упомянуть еще повести и романы С. Григорьева «Гибель Британии», Н. Карпова «Лучи смерти», В. Орловского «Машина ужаса» и «Бунт атомов», И. Винниченко «Солнечная машина», рассказы В. Позднякова «Черный конус», П. Н. Г. «Стальной замок» и др. Лучшим образцом этого рода фантастики, «романа о катастрофе», является, несомненно, роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В этой книге обычной для произведений такого типа схема разработана с огромным мастерством. Благодаря этому она оказала прямое влияние как на фантастику конца 20-х годов (произведения Александра Беляева), так и на фантастику следующего десятилетия («Пылающий остров» А. Казанцева и др.).

Многие из перечисленных книг оказались бы, на мой

взгляд, интересны и для сегодняшнего читателя. Конечно, детали устарели, предвидения уже сбылись или не оправдались, история двинулась так, как не снি�лось ни одному из любителей формальной логики, — фантастика 20-х годов не может не показаться нам во многом наивной. Такова судьба фантастики вообще: она стареет быстрее любого другого вида литературы. Но как свидетельство о своем времени, о мыслях и мечтах людей своей эпохи, эта фантастика и сегодня не утратила интереса.

Горький очень высоко отзывался о повести С. Григорьева «Гибель Британии»; он говорил, что она поразила его своей густотой и какой-то своеобразно-русской фантастикой. Мир будущего, изображенный в повести (ее первоначальное название — «Московские факиры»), тоже представлялся автору разделенным на два лагеря. Оплотом старого была Британия. Любопытно, что Григорьев, рассказывая предысторию «нынешней» Британии, сообщал, что революция совершилась и на Британских островах, но так как она не сопровождалась революцией технической, установлением новых форм и организации труда, то это привело к уродливому общественному строю — гильдиям. Британия стала тормозом развития общества, главной угрозой для Новой страны, как называет Сергей Григорьев страну социализма. Самая интересная часть повести — это, несомненно, описание общественной структуры, быта, технических достижений Новой страны. Об этом в повести рассказывают люди Новой страны приехавшему к ним репортеру.

Можно увидеть в повести Григорьева многое из того, что характерно для тогдашней фантастики: картины будущего, развернутые в авторских описаниях или лекциях (несомненная дань утопической схеме); гигантские стройки в Азии и Сибири (не забудем: 1925 год!) и упрощенно-коммунальный быт; множество интересных научно-технических предвидений (автоматизация, самокатные дороги, реорганизация речной системы страны и т. д.) наряду с наивными социальными схемами и надуманными общественными конструкциями (например, разделение Новой страны на шестиугольники; обязательное деление ее подземных дворцов на шестиугольники и т. п.). Странным кажется нам сейчас и такое представление, будто грандиозное социалистическое строительство будет происходить в полной тайне от окружающего мира, так что попавшие

в Новую страну люди «с того берега» будут потрясены неожиданностью, неслыханностью увиденного. Все это продолжение каких-то имевших тогда место, начинавшихся процессов, тенденций, которые, однако, вскоре прекратились, исчезли, и только в старой фантастике их можно увидеть в законченной форме. Описанное Григорьевым столкновение экономических интересов Новой страны и британских гильдий быстро перерастает в политическое, а затем и военное столкновение, завершающееся «гибелью» старой Британии; отсюда и название повести.

Очень интересным и серьезным фантастом 20-х годов был Владимир Орловский — автор двух романов и нескольких научно-фантастических рассказов. В особенностях его манеры — стремление к глубокой разработке научной и психологической стороны сюжета, стремление избежать примитивизма в изображении социального механизма событий. В романе «Бунт атомов» Орловский рассказывает о работах по расщеплению ядра, проводившихся немецким ученым Флиднером. Интересная деталь: Флиднер, как и герой многих других произведений Орловского, — матерый реваншист, мечтающий поставить науку на службу возрождающемуся немецкому империализму. Его работы приводят к открытию ядерной цепной реакции: атомы воздуха, вступая в реакцию, образуют огненный шар, непрерывно увеличивающийся в размере. Шар вырывается из лаборатории, проносится над Берлином, над Германией, над Европой, вызывая на своем пути разрушения, бедствия и народные волнения. Умело вплетая в эти картины сюжетную нить, связанную с приключениями русского инженера Дерюгина и его невесты — дочери Флиднера, Орловский делает своих героев свидетелями революционного брожения в Париже и Берлине, научных конгрессов в Москве и охоты за шаром в Румынии. Этот путь отмечен трагическими жертвами и переломами в личной судьбе героев. Дерюгин становится одним из руководителей операции по выбрасыванию шара за пределы атмосферы, предпринятой силами объединенной, советской уже Европы; его невеста гибнет, не преодолев душевного кризиса.

В другом романе, «Машина ужаса», Орловский описывает замысел архимиллионера Элликота, создавшего питаемую солнечной энергией машину, посылающую на далекое расстояние психические волны беспринципного ужаса (более подробно эта

идея развернута в романе Александра Беляева «Властелин мира»), и пытающегося с помощью этой машины подчинить себе весь мир. Русский ученый Морев уничтожает машину Элликота, а охватившая Америку анархия перерастает в революцию: «...машина Элликота послужила искрой, которая взорвала напряженную атмосферу классовых противоречий». В изображении революционных событий Орловский далек от поверхностной облегченности, присущей, например, «красному детективу» или таким фантастическим произведениям, как книга Н. Карпова «Лучи смерти»; Орловский стремится передать сложность в расстановке классовых сил и поведении людей. Аналогичный, но более узкий по масштабу сюжет мы встречаем и в рассказе Орловского «Человек, укравший газ».

Яркое, во многом противоречивое, но очень интересное фантастическое произведение создал известный украинский писатель Иван Винниченко. Интересна история создания романа «Солнечная машина». До революции 1905 года Винниченко «кокетничал» с марксизмом, но, вернувшись из ссылки, перешел в лагерь украинских националистов, а после Октября эмигрировал. Однако несколько лет спустя он вернулся на родину и какое-то время даже сотрудничал с Советской властью. К этому периоду и относится роман, отражающий приход Винниченко к пониманию необходимости и великой созидательной силы революции. Вскоре после этого Винниченко опять эмигрировал, но в дальнейшем больше уже не выступал против Советской власти.

События «Солнечной машины» развертываются в послеверсальской Германии. Герой романа молодой ученый Рудольф изобретает необыкновенную «солнечную машину»: поглощая солнечные лучи, она превращает обычную траву в идеальную пищу; тем самым она избавляет человека от необходимости работать, подрывает идею труда как основы существования общества (сходные мотивы мы найдем в повести Александра Беляева «Вечный хлеб»). Для своего времени это была только дерзкая фантастическая гипотеза. История, как мы знаем, идет иным путем, освобождая человека от физического труда с помощью глобальной автоматизации; но это не снимает вопроса, поставленного Винниченко: как будет вести себя человечество, внезапно прыгнувшее из «царства необходимости» в «царство свободы»? Напротив, в последние годы сходная проблема поднимается в целом ряде фантастических произведений (вспом-

ним хотя бы «Возвращение со звезд» Ст. Лема или «Хищные вещи века» А. и Б. Стругацких) и всерьез обсуждается социологами.

В романе Винниченко глубоко и серьезно раскрыты позиции представителей различных слоев общества, различные варианты решения проблемы. Экономические магнаты пытаются скрыть машину от народа, после краха этих попыток в стране воцаряется анархия. На поверхность всплывают мелкобуржуазные и деклассированные элементы; рушатся основы старого быта, устоявшиеся связи, идет мучительная, сопровождающаяся личными трагедиями ломка привычных представлений и постепенное образование новых. И вот сквозь хаос разваливающегося старого общества пробиваются первые ростки нового: появляются бытовые и производственные коммуны, рабочие и сознательная интеллигенция становятся зачинщиками коллективного, сознательного и добровольного труда.

В романе Винниченко, где события и психология героев прослежены наиболее подробно, особенно заметны общие ошибки для произведений этого типа. Социальный переворот изображается в них чаще всего как неорганизованное, неуправляемое, стихийное движение. И, может быть, поэтому в сравнении с той сложностью общественных процессов, которую показывает нам современная фантастика, романы 20-х годов кажутся нам сейчас во многом упрощенными. Но, с другой стороны, в них впервые в нашей фантастике развитие науки было показано в атмосфере реальных социальных противоречий; впервые были уловлены ведущие тенденции современности, взятой в целом, глобально, в масштабах всего человечества. Не менее важно и то, что, говоря о науке, ранняя наша фантастика стремилась избежать пессимистической или оптимистической односторонности в оценке ее возможностей, показывая, что именно социальные условия определяют, чем обернется для человечества научное открытие.

Самое талантливое воплощение эта линия нашей фантастики нашла в романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Используя готовую схему «романа о катастрофе», Толстой сумел наполнить ее плотью реальных подробностей современности. Он очень точно и достоверно вычертит линии, связывающие авантюриста и честолюбца Гарина с «королем» химической промышленности Роллингом, а последнего — с озлобленным белогвардейским подпольем; точно обрисовал

социальную механику капиталистического общества, приведшую Гарина на трон диктатора. По существу, Толстой в чем-то предугадал историю Гитлера, получившего свою власть из рук германских империалистических монополий, нуждавшихся в «сильном человеке». Блистательная удача Толстого — создание образа Гарина, человека талантливого и аморального, сочетающего сильную волю с необузданым стремлением к власти. Этот тип был скорее предугадан, чем открыт — во времена Толстого еще не было ни Ленардов с их «арийской физикой», ни Теллера с его «крестовым походом против коммунизма»; но Гарин уже готовился провести в жизнь свою программу «мозговых операций», делящих мир на расу господ и расу рабов.

Для развития фантастики большое значение имела удача Толстого, сумевшего вплести фантастический сюжет в ткань реальной политической, социальной и бытовой современности, удача в выявлении подспудных тенденций и показе их возможного развития; не меньшее значение имел и его опыт сочетания научного элемента повествования с глубокой психологической проработкой человеческих характеров. Как и у большинства советских фантастов, сюжетную линию в романе Толстого образует «судьба открытия», «приключения открытия». Это проистекает из творческой установки: показать механизм воздействия научного открытия на процессы в обществе. Таким образом, роль фантастической гипотезы, фантастического открытия несколько иная, чем в ранних романах Уэллса, где, по признанию самого автора, научное открытие играло скорее роль «палочки мага», позволяющей переносить действие в нужную обстановку или время. Вспомним «Машину времени»; сама машина «не работает» на события, не участвует в них, тогда как гиперболоид Гарина или машина Элликота — необходимый, действенный компонент событий.

Но «роман о катастрофе» не исчерпывалось содержание советской фантастики 20-х годов. Широко был представлен в ней и жанр утопии, и космический роман, и оригинальное сочетание космического и утопического романа.

Глубокими и остросовременными историческими раздумьями насыщен замечательный роман А. Толстого «Аэлита», появившийся в «Красной нови» в 1922 году, ознаменовавший, по существу, зарождение советской фантастики и оказавший огромное влияние на ее последующее развитие.

История пребывания инженера Лося и бывшего красноармейца Гусева на Марсе послужила Толстому сюжетной канвой, в которую были органически вплетены его размышления о революции, об истории, о человеке, о любви. Да, и о любви; конечно, «Аэлита» — это не просто «роман о необыкновенной любви», любовь Лося и Аэлиты — нечто неизмеримо более глубокое, чем сюжетная уловка (как это имело место в «космической» бульварной литературе).

В истории Марса Толстой набросал возможный «технократический» вариант эволюции человечества. Ставшая особенно известной в наше время, эта концепция уже и тогда имела много сторонников, которые видели в холодном рационализме технократии панацею от безумных, «нелогичных» противоречий современности. Толстой показал, что правление совета инженеров не спасает марсиансское общество от классового расслоения; совет превращается во «власть над народом» и идет к логическому завершению своей деятельности — к подавлению революции силой оружия.

В рассказе Аэлиты о прошлом Марса отчетливо ощущается сквозная мысль романа: история Марса и Земли — это две ветви, выросшие из одного ствола, но разошедшиеся в разные стороны; это два варианта истории, ее эволюционная и революционная возможности. Будущее Марса — вырождение и гибель цивилизации под пятой технократии; революция пришла и на Марс, но она трагически запоздала — существуют, стало быть, такие туники истории, в которых цивилизации грозит неизбежная гибель. Лось и Гусев приносят на Марс дыхание земной революции, и, глядя на них, умирающий Гор говорит: «Нужно было свирепо и жадно любить жизнь...» Революция в «Аэлите» предстает как могучий фермент жизнестойкости цивилизации, как обновление через страдания, насилие, кровь, это возрождение любви к жизни. Но то же обновление и ужас несет Аэлите любовь к Лосю. Вместе с миром меняется, обновляется человек. Возникает органическая параллель: любовь — революция.

Для понимания этой параллели много дает второй рассказ Аэлиты, наиболее полно выражавший историческую концепцию Толстого. По Толстому, история человечества — это циклическая смена цивилизаций и культур, достигавших возвышения, а затем клонившихся к упадку и вновь воскресавших за счет прилива «дикой крови», наполненной свежей волей к жизни.

ни. Так и начало марсианской цивилизации положено скрещением крови жестоких Магацитлов, аристократов эпохи упадка атлантидской земной культуры, с кровью мечтательных марсианских дикарей.

В какой-то степени эта концепция навеяна отголосками модного в ту пору шпенглеровского учения о «закате Европы»; но Толстой не приемлет пессимистических выводов теории Шпенглера; он дополняет заимствованную концепцию идеей возрождения через революцию, что сразу меняет соотношение идеиных акцентов. В «Аэлите» Толстой как бы спорит с самим собой, со своим страхом перед революцией, со своими иллюзиями о возможности мирного пути. Не революцию вообще, а именно русскую революцию он делает символом духовного и чуть ли не биологического возрождения человечества; выражением этой мысли служит великолепный, полнокровный образ при рожденного революционера, бунтаря по крови Гусева. Второй, «малый круг» идеиного кровообращения в повести связан с образами Лося и Аэлиты. Человек оказывается подобным человечеству в своих циклах развития: утомленный разумом, разочарованный в его щщете, он возрождается к новой жизни через новую любовь к женщине, носительнице жизни. Высокоученые Лось с Аэлитой и «дикий» Гусев — два выражения двуединой мысли о вечном круговороте жизни, в которой все — от пылинки и человека до звезд и цивилизаций — проходит циклы смерти, безмолвия, мрака и возрождения, нового узнавания жизни. Клич Аэлиты не случайно назван «голосом любви и вечности» — это голос жизни, умирающей и тоскующей по обновлению, голос Аэлиты, Марса, вселенной.

«Аэлита» шире «Гиперболоида» в историческом размахе, но уступает ему в социальной, мировоззренческой точности; в понимании революции ощущается расплывчатый биокосмизм; ни возникновение технократии, ни тускобовская философия «предсмертного пира элиты» не имеют корней в самом романе. Концепция «Аэлиты» чрезмерно обобщена — в отличие от предельно конкретной концепции «Гиперболоида». Но эти недостатки не могут изменить общей оценки повести, которая и сейчас остается лучшим образцом мировой фантастики.

Значительно бледнее выглядели на фоне «Аэлиты» такие космические и космоутопические романы, как «Катастрофа» Н. Тасина, «Пылающие бездны» Н. Муханова. «Повести о Марсе», «Подарок селенитов» и «Человек, побывавший на

Марсе» А. Арельского, «Путешествие на Луну» С. Граве, «Путешествие на Луну и Марс» В. Явицкого, «Психомашину» и «Межпланетный путешественник» В. Гончарова. В романе Тасина нападение марсиан-зоотавров на Землю является лишь удобным предлогом показать будущее Земли, реакцию будущего общества на такую угрозу. «Бесклассовое общество» будущего управляется, по Тасину, благотельными друзьями человечества — инженерами, которые в конце концов отбивают нападение марсиан. Интересны стилевые находки в книге — умелое сочетание газетных вырезок, протоколов, сводок, отчетов, беллетризованных кусков, оказавшееся очень удачным для изображения массовых сцен, хроники событий. Произведения С. Граве и В. Явицкого — это скорее фантастика жюль-верновского толка без каких бы то ни было отклонений в социальные и тем более философские проблемы. Очень плодовитый Арельский специализировался на изготовлении романов, искусно имитировавших приемы переводной развлекательной псевдофантастики. Интересный замысел Н. Муханова — показать конфликты будущего — нацело перечеркнут примитивностью разработки: Муханов не нашел ничего лучшего, чем снова (в который раз!) изобразить грядущую войну Земли с Марсом, коварные происки марсианских шпионов на Земле и опасные приключения благородных землян в подземельях Марса. В третьей, заключительной части повести герои Муханова уже совершают буквально чудеса, вроде замедления вращения Марса на расстоянии с помощью карманного планетарного тормоза. Очень вольно обращался с научным материалом и В. Гончаров. Молодые комсомольцы, герои его «Психомашины», преследуют на Луне контрреволюционера Вепрева, замыслившего «выкачать» всю психическую энергию из коммунистов и сочувствующих им в России. Невероятные приключения завершаются участием героев в восстании угнетенных жителей Луны. В «Межпланетном путешественнике» В. Гончаров рассказывает, как его герой странствовал на ракете, движимой психоэнергией, переносясь с одного двойника Земли на другой; все эти двойники рассыпаны в космосе и отличаются друг от друга тем, что каждый представляет какой-то этап будущего нашей Земли, которое, к сожалению, показано у Гончарова, помимо воли автора, в плане анекдотическом. Беда Гончарова, писателя, несомненно, талантливого, одаренного живым юмором, состояла в том, что у него было слишком буйное воображение и

слишком сильное пристрастие к приключениям при полном или почти полном отсутствии серьезных научных и социальных идей; поэтому он широко использовал чужие идеи и сюжеты. Это видно и по двум другим его романам — «Искатели детрита» (пожалуй, самое интересное и самостоятельное его произведение) и «Долина гигантов».

Строго утопическими были книги Я. Окунева «Грядущий мир» (блестящие иллюстрированная ныне известным режиссером Н. П. Акимовым) и В. Д. Никольского «Через 1000 лет». В повести Окунева герои — несколько неврастеничный интеллигент Викентьев и дочь профессора Морана Евгения — погружались в анабиоз с помощью газа, открытого Мораном, с тем чтобы проснуться через 200 лет. За это время над Землей прошумели грозы мировой революции, образовалась мировая социалистическая система. Каков же мир будущего в изображении Окунева? Это всемирный, сплошной город, где устранен всякий политический строй, а управление осуществляется органами учета и распределения. Описывая технику будущего, Окунев сумел предугадать широкое развитие телевидения, биоэлектрического управления механизмами, гипнотического обучения во сне; он развивал гипотезу идеографии, то есть прямого мысленного общения; интересны высказанные им мысли о воспитании детей в обществе будущего, близкие к тем, которые в «Туманности Андромеды» развивает И. Ефремов. Значительно менее удались Окуневу образы людей будущего, которые, по его представлениям, будут лишены внешних половых различий, не будут знать семьи и т. п. В мире будущего царит «свободная» любовь (явный отголосок модного в ту пору лозунга, мелкобуржуазную суть которого отмечал еще Ленин). Психология людей будущего в изображении Окунева бедна, изобилует странными пережитками агрессивности, тщеславия (таков образ гениального ученого XXII столетия), а общественно-социальные понятия не выходят за рамки вульгарно понятого «коллективизма»: человек счастлив, когда ощущает себя нужным винтиком общественного механизма. Несомненно, именно с этой массовой безликостью связаны и представления об отмирании семьи, половых различий и т. д.; в общем это дает цельную картину будущего как гигантской, четко организованной и технически могущественной, но обесчеловеченной коммуны. В ней нет главного — расцвета человеческой личности.

Повесть Окунева интересна как выражение бытовавших тогда поверхностных представлений о коммунизме, не имевших ничего общего с марксистским пониманием подлинного взаимодействия личности и коллектива в коммунистическом обществе. Эти вульгарные представления породили в литературе той эпохи острую проблему «личность — коллектив» (вспомним «День второй» И. Эренбурга, «Зависть» Ю. Олеши).

Отголоски споров 20-х годов ощущаются и в повести В. Д. Никольского. Его герой попадают в мир будущего на машине времени. Никольский нашел интересный сюжетный прием, усиливающий иллюзию достоверности: люди будущего, оказывается, ждут прибытия героев, так как, производя раскопки, они обнаружили, что в 1925 году навстречу их эпохе двинулась машина времени.

Никольский подробнее рисует и технические достижения будущего (синтетическая пища, восстановление тканей и организмов, продление жизни до нескольких сот лет, выращивание поющих и мыслящих (!) растений, завоевание Марса и т. д.), набрасывает контуры трудного исторического пути, пройденного человечеством за эти тысячелетия (любопытно предсказание, что первые атомные взрывы прозвучат в 1945 году), пытается нарисовать образы красивых, жизнерадостных, гармоничных людей будущего, предугадать характер их отношений. Последнее最难的 всего и удается Никольскому менее всего. Кроме того, что люди будущего ходят в древнегреческих туниках; летают на крыльях; живут в городах, вытянутых, как села, вдоль трансконтинентальных дорог; поют, танцуют, занимаются искусством или наукой, — кроме этого, мы ничего не узнаем об этих людях; а все рассказанное о них — пресно, напыщенно-скучно и неодухотворенно. Создается впечатление, что эти люди попросту не знают, как убить время, и придумывают для себя танцы и полеты на крыльях. Это впечатление усиливается, когда мы узнаем, что в обществе будущего труд людей искусственно осложнен: развитие мелкой промышленности заторможено на уровне надомного, полукустарного производства, чтобы не лишать людей радости труда (тяжелая промышленность «безлюдна» — она автоматизирована).

В обеих утопиях отчетливо ощущается отсутствие перспектив дальнейшего развития того общества, которое они изображают, отсутствие движения. Это сказывается даже в том, что

авторы вынуждены «вносить» какое-то движение в мир будущего искусственно, с помощью сюжета, связанного со своими героями, и оба раза это оказывается ходульный любовный треугольник (заимствованный чуть ли не у А. Богданова). В чем же причина этого? Перспектива, движение общества — это те цели, которые оно себе ставит, те цели, которые воодушевляют его людей; движение общества немыслимо без трудовой деятельности людей (будь то производственная, научная или другая деятельность). Этот важнейший компонент: труд людей и его цель — выпал из поля зрения первых советских утопистов, что и привело к обеднению, искаложению как человеческих образов, так и картины будущего в целом.

Тем более интересно вспомнить о незаслуженно забытой утопии Вивиана Итина «Открытие Риэля»; в ней была сделана попытка изобразить внутренний мир человека будущего — мыслителя, деятеля, творца, человека беспокойной души и страстной мысли. Герой повести, революционер Гелий, находясь в царской тюрьме в ожидании казни, во сне переносится в страну будущего — Страну Гонгур, где становится одним из замечательнейших людей своего времени — ученым Риэлем.

Это «воплощение» в другие существования напоминает прием, использованный Джеком Лондоном в «Межзвездном скитальце». Однако у Лондона воплощение и вообще странствия сквозь эпохи основаны на идее «переселения душ». Итин говорит о памяти прошлого, хранящейся в подсознании (идея, получившая сейчас в фантастике широкое хождение), и о различии течения времени в сновидении и действительности.

Скупыми, но яркими чертами Итин обрисовывает блестящую Страну Гонгур, ее огромные, шумные города, храмы наук, библиотечные залы и достигает ощущения чего-то, быть может, смутного, но прекрасного и праздничного. Он нарочно смотрит на этот мир не глазами пришельца, постороннего в нем человека, а глазами Риэля, родившегося и выросшего в этом мире и потому замечательного лишь то, что становится особенно важным на его жизненном пути.

Попытка создать утопию с «внутренним», а не «внешним» героем очень интересна и перспективна для фантастики, особенно в настоящее время, когда классическая схема с внешним, посторонним «героем-экскурсантом» стала сковывать развитие фантастической литературы.

Риэль у Итина ощущает творческую неудовлетворенность настоящим. Вместе со знаменитыми космонавтами он участвует в труднейшей экспедиции на одну из планет своей солнечной системы; затем обращается к науке, делает ряд открытий, наконец, приходит к главному делу своей жизни — находит путь к превращению вещества в свет. В созданном им приборе можно проследить историю той частицы вещества, которая стала световым лучом. Одна из этих микрочастиц рассказывает Риэлю свою историю, в которой мы угадываем поданную в странном, неожиданном ракурсе, «чужими глазами увиденную» историю Земли; и в этой кровавой, мучительной истории Риэль видит повторение того, что видел в космической экспедиции, что знает о развитии своего мира; его мысль пытливо ищет всеобщий закон, управляющий жизнью на всех этапах вселенной; ему кажется, что это закон повторения страданий, жестокости и насилия, и, надломленный этим пессимистическим выводом, он уходит из жизни. Эта философская концепция не только пессимистична, но и метафизична по сути. Однако не это определяет значение повести, а несомненная удача Итина в создании образа Риэля. Его герой мыслит, чувствует, действует незаурядно, и это сразу выделяет его из ве-рениц тех «героев будущего», которых читатель ощущает глупее себя и потому признать своими достойными потомками внутренне не соглашается. При всей путанице мыслей Риэля в его неутомимом стремлении к пределам познания чувствуется что-то родственное страстной тоске ефремовского Мвена Маса (впрочем, многие стилевые особенности повести Итина поразительно напоминают «Туманность Андромеды», особенно там, где Итин начинает широкими, обобщенными и чуть торжественными мазками набрасывать контуры свершений страны будущего).

В лучших произведениях ранней советской фантастики — как в жанре «романа о катастрофе», так и в утопическом жанре — уже в те годы были поставлены, таким образом, значительные проблемы: соотношение науки и общества, закономерности и возможные пути исторического развития общества, соотношение и взаимовлияние личности и общества, главные тенденции современности и возможные черты будущего мира и человека будущего. Эти проблемы живо напоминают те вопросы, которые ставит перед собой наша современная «большая» фантастика. Это одни из главных интеллектуальных

вопросов нашего века, с особой остротой и обнаженностью поставленные в порядок дня революцией. Прошедшие десятилетия не сняли этих вопросов; они лишь видоизменили, конкретизировали и дополнили их; как и десятилетия назад, вопросы эти являются тем «запасником идей», откуда их черпает «большая фантастика», говорящая о глобальных явлениях современности. В этой обращенности именно к глобальным явлениям, глобальным тенденциям и проблемам реальной действительности — главная традиционная связь фантастики 60-х годов с фантастикой 20-х.

В 20-е годы в романах о катастрофе и утопических романах только закладывалась эта традиция. Злободневность (в лучшем смысле слова) этой фантастики видна из того, что вся она, по существу, объединена общей внутренней темой: революционная критика старого мира, пафос революционного переустройства жизни, утверждение коммунистического идеала.

Во второй половине 20-х годов (с 1926, особенно 1927 года) в фантастике начинает отчетливо ощущаться трансформация прежних тем, прежних мотивов. Это происходит на фоне изменившейся международной и внутренней обстановки: иллюзии близкого торжества мировой революции, для которого якобы достаточен «последний толчок», сменяются трезвым пониманием факта стабилизации мира, расколотого на два лагеря, пониманием новых задач — задач начавшегося социалистического строительства.

Соответственно и в фантастике общее направление изменений идет в сторону отказа от грандиозности, глобальности, космичности в пользу деловитости, будничности, конкретности — это еще не тот рационалистический сверхоптимизм, которым отмечена фантастика 30-х годов; в 20-е годы советская фантастика еще сохраняет романтичность. Только точка приложения романтики постепенно переносится с грандиозных социальных катастроф на «необычайное»: необычайные научные перспективы, или открытия, или приключения.

Изменяется общая схема научно-фантастического романа; теперь уже в нем научное (фантастическое) открытие не вызывает мировой социальной революции. В лучшем случае его следствием оказываются локальные и затухающие социальные колебания на общем фоне стабилизированного в целом мира. Но именно локальность событий в сочетании с традицией показа научного открытия, как точки приложения противобор-

ствующих социальных сил, вынуждает фантастов к большей детализации механизма действия этих сил; фантастика проигрывает в масштабности, но зато выигрывает в глубине, в социальной и психологической достоверности.

Другим важным изменением является переход от изображения картин далекого будущего (утопий) к картинам самого ближайшего «завтра», отдаленного от настоящего десятилетиями, годами, а то и днями. Такое будущее не только зримо и психологически понятно; оно вполне надежно, потому что виден уже реальный путь к нему — через социалистическую индустриализацию, через научно-технический прогресс. Все это вызывает в фантастике конца 20-х годов появление большого количества произведений, основанных на отдельных, разрозненных научно-технических идеях, вкрапленных в слегка измененный, «завтрашний» быт. В это время, как уже отмечалось, начинают выходить первые советские приключенческие журналы; быстро развивается жанр научно-фантастического рассказа, в котором не делается никаких попыток изобразить даже ближайшее будущее, а сохраняется лишь стремление выдвинуть оригинальную фантастическую гипотезу, показать ее в действии, чаще всего с помощью приключенческого сюжета.

Возникла странная ситуация. Ни в романах, ни в рассказах научно-фантастические открытия, допущения, гипотезы не имели, по существу, «жизненного пространства» для развития; в романах их существование и влияние на действительность исчислялось годами, в рассказах — днями. Их приходилось «убивать на корню» (в большинстве рассказов история кончается гибелью ученого и открытия), приходилось ограничиваться все более узкими локальными идеями, которые как бы скользили над бытом, не задевая и не изменения его. Поиски сюжетного пространства привели многих авторов к теме космических путешествий (таковы повести Ярославского «Аргонавты вселенной», Л. Калинина «Переговоры с Марсом», А. Палея «Планета Ким», многочисленные рассказы, к ним косвенно можно причислить интереснейший рассказ Андрея Платонова «Лунная бомба»), к теме «необыкновенных путешествий», заимствованных у Жюля Верна (такую линию представляют повести С. Семенова «Кровь земли», Г. Берсенева «Погибшая страна», А. Беляева «Остров погибших кораблей» и «Последний человек из Атлантиды», Вал. Язвицкого «Остров Тасмир»).

и другие рассказы, вроде «Подземных часов» того же С. Семёнова или «Страны гиперболоев» Л. Гумилевского, «Страны великанов» Н. Афанасьева или «Тайны полярного моря» Н. Жураковского). Эта вторая линия зародилась в нашей фантастике раньше; она была представлена в ней известными и сегодняшнему читателю талантливыми романами В. А. Обручева «Плутония» и «Земля Санникова», но только во второй половине 20-х годов эта линия получила наибольшее развитие.

Немалую роль в этом росте познавательного, научно-популярного элемента фантастики сыграли объективные факторы: конкретные успехи социалистического строительства, развитие и организационное оформление советской науки (в частности, рост популярности работ Циолковского), возросший интерес общественности к происходящему в те годы завоеванию полярных стран, воздушного и подводного океанов.

Как бы то ни было, фантастика становилась конкретнее, точнее, деловитее и — суще.

Эмоциональная бедность не означала скучности идеиной; напротив: именно в эти годы советская фантастика поражает (особенно в сравнении с немногочисленными схемами более ранних произведений) обилием интересных научно-фантастических идей, многие из которых — разумеется, в переводе на современные термины — могли бы смело встретиться и в современной литературе. Так, в повести М. Гирели «Преступление профессора Звездочетова» (произведении в общем-то неудачном из-за сильного увлечения автора «прямыми страстями») появляется интересная гипотеза (ныне возродившаяся во многих вариантах уже на «кибернетическом уровне») о возможности «вхождения» одного сознания в другое. В повести есть оригинальные попытки чувственного представления двумерного или четырехмерного мира, показывающие несомненную ярость фантастического воображения автора. Железняков в рассказе «Прозрачный дом» высказывает идею «выращивания» зданий из особого раствора на специальном каркасе и — на первый взгляд сумасбродную, но упорно проводимую через весь рассказ — мысль о возможности существования овеществленных «следов вчерашних разговоров», «следов мыслей» и т. п. В рассказе Б. Циммермана «Чужая жизнь» метеор заносит на Землю споры иной жизни, которые дают начало ускоренно протекающей эволюции; автор связывает скорость течения времени с масштабами пространства, говорит о воз-

можности биологически наследуемой приспособляемости организмов к темпу «своего» времени и т. д. Фантастическая гипотеза о существовании «параллельных миров», которые могут частично пересечься при «изгибании» трехмерного пространства, высказывается в рассказе «Из другого мира».

Характерной чертой рассматриваемого периода является значительное увеличение удельного веса фантастической сатиры, фантастического гротеска («Конец здравого смысла» А. Шишко, «Блеск» Рис Уилки Ли), появляющегося не только в «собственно фантастике», но и в творчестве многих крупных писателей-реалистов (таковы более ранние «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, «Крушение республики Итль» Б. Лавренева).

Если в ранней фантастике критика буржуазной действительности и утверждение революционного идеала шли параллельно и «катастрофа», сметающая один строй и устанавливающая другой, была сюжетным выражением этого двуединого идеиного мотива, то в фантастической сатире и гротеске этот мотив расщепляется, оставляя лишь свой критический, обличительный пафос.

Наконец, появляются фантастическая сатира, обращенная «внутрь», клеймящая мещанство, бюрократизм — главных противников социалистического строительства, — и фантастический гротеск, порожденный фантасмагорическим нэповским бытом.

Лучшим образцом такой сатиры были «Клоп» и «Баня» Владимира Маяковского; талантливым, но долго замалчивавшимся создателем советского фантастического гротеска был Михаил Булгаков («Дьяволиада», «Роковые яйца», «Мастер и Маргарита»).

Таким образом, в фантастике в конце 20-х годов происходили как бы уменьшение внутренней масштабности событий и одновременно переход фантастического элемента на роль вспомогательного приема; но в то же время расширялся диапазон фантастики в целом, она проникала в соседние жанры и виды литературы, осваивала новые темы, обживала «мир деталей».

В лучших произведениях фантастики того времени легко заметить все эти особенности. Характерными образцами могут служить, например, книги Юрия Смолича «Хозяйство доктора Гальвапеску», «Еще одна прекрасная катастрофа». В первой рассказывается об экспериментах фашистующего румынского ученого, который пытается «оздоровить» и спасти капитализм

с помощью создания «живых роботов», о борьбе советских и румынских комсомольцев с Гальванеску, борьбе, которая кончается поражением Гальванеску, несмотря на то, что за ним стоит вся сила буржуазной государственно-полицейской машины. Во второй книге Смолич рисует крах наивной попытки прогрессивного индийского ученого создать в условиях капиталистического общества «социальную медицину», сочетающую фантастическое достижение науки (открытие целебных свойств цветных излучений) с улучшением быта тружеников. Катастрофа, постигшая героя, «прекрасна», ибо она обнажает подлинную, антигуманную природу капиталистического строя.

«Катастрофы» этой фантастики не ниспровергают капитализм; они его разоблачают, показывают его противоречивость, которая сама должна привести к краху.

В повести Вс. Валюсинского «Большая Земля» рассказывается о фантастическом средстве, уменьшающем размеры живых существ; за открытием охотятся промышленные магнаты: еще бы! — можно превратить рабочих в покорных пигмеев. И хотя в повести рассказывается о начале войны капиталистических держав против СССР (оккупация Архангельска), однако далее события не развиваются: и мир, и люди, и герои возвращаются к норме, к обычной жизни.

Сходная узость в решении темы ощущается и во втором романе этого, несомненно, талантливого писателя — «Пять бессмертных».

Интересно, что в слабых, подражательных романах Сергея Беляева — «Радиомозг» и «Истребитель 2У» (переизданный накануне войны под названием «Истребитель 2Z») — внешнее сюжетное сходство с «Гиперболоидом инженера Гарина» особенно резко подчеркивает принципиально изменившийся подход к теме: вместо исторически обусловленного краха затеи Гарина — здесь обусловленное роковыми случайностями поражение Урландо; вместо глобальных социальных противоречий и борьбы двух лагерей — здесь шпионско-диверсионная борьба, приключечество и т. д.

Как уже отмечалось, почти совершенно исчезла художественная, развернутая утопия (если не считать фантастических очерков о будущем, посвященных отдельным граням развития быта, науки, техники); в таких книгах, как «Что было потом» Ю. Смолича, «Борьба в эфире» Александра Беляева, действие хотя и происходило в нашей стране и в будущем, но интерес

авторов сосредоточивался вокруг частных проблем (у Беляева — вокруг внедрения радио в быт и производство, у Смолича — вокруг перспектив биологии).

Фантастика, как ни парадоксально это выглядит, стремилась увлечь читателя реальностью своих предвидений, заразить его уверенностью в их осуществимости в самом близком будущем — отсюда зачастую художественная робость, приземленность ее картин при всей их технологической точности. Но нельзя не отдать и должное подобной фантастике: своей «реалистичностью», научной конкретностью гипотез она заразила многих и многих своих читателей страстным стремлением участвовать в претворении мечты в жизнь. Сколько людей обя заны выбором своего жизненного пути книгам А. Беляева, В. А. Обручева и других наших фантастов!

Самым крупным и своеобразным фантастом этого периода был Александр Беляев. В его творчестве с наибольшей силой выразились особенности развития фантастики того времени. Будучи самым деятельным, самым талантливым нашим писателем-фантастом конца 20-х годов, он, по существу, был разведчиком новых путей для тех, кто следовал за ним. Именно с приходом Беляева в фантастику (1925 год) в ней появилась, а затем укрепилась особая тема — судьба открытия (а с ним — и человека) в буржуазном мире. В творчестве Беляева она представлена широко известными книгами, созданными в конце 20-х годов («Голова профессора Доуэля», «Человек, потерявший лицо», «Властелин мира», «Продавец воздуха», «Вечный хлеб», «Человек-амфибия»).

А. Беляев показывает, как смелый творческий поиск больших ученых (Сальвадор, Доуэль и другие) приходит в противоречие с господствующими в буржуазном мире законами хищничества, стремления к наживе, уродующими людей и их отношения. Герои Беляева бегут из этого мира (уходят Ихтиандр и Престо, погибают Доуэль и Энгельбрехт) — это символическое выражение разлада мечты и действительности в капиталистическом обществе.

Как и в ранней советской фантастике, научное открытие в романах А. Беляева имеет определенный социальный резонанс; в отличие от своих предшественников Беляев много конкретнее в детализации обстановки, характеров, противоречий; в тяготении к социальным аспектам науки он продолжатель традиций, но в подходе к теме — оригинальный, своеобразный

новатор, сумевший создать неповторимый сплав социального с романтическим. Это удалось Беляеву потому, что он последовательно ставил в центр своих произведений романтического героя, находящегося в разладе с действительностью и одержимого поистине романтической мечтой о будущем. Если собрать вместе повести, романы и рассказы А. Беляева 20-х годов, то окажется, что большинство из них связано единой, общей и очень романтически звучащей темой: мечтой о победе науки над несовершенством человека, о беспредельных будущих горизонтах человеческих возможностей. Человек как объект научного открытия — одна из главных оригинальных тем фантастики Беляева (человек-рыба, человек-птица, человек — генератор волн, человек-термо, человеческий мозг в теле слона и т. д. и т. д.); и это позволяло ему «очеловечить науку», сделать переживания людей, а не технические детали главным в фантастике. (Внешним выражением этих особенностей явился преимущественный интерес Беляева к биологии, а не к технике, как это было в предшествовавшей ему фантастике.)

Беляев резко повысил и научную достоверность советской фантастики, расширил ее сюжетные возможности, широко вводя в нее приключенческий элемент. Все это снискало непреходящую популярность его книгам. Интересно заметить, как изменилась роль всех этих компонентов фантастики к этому времени. Отказ от глобальности в пользу локальности событий означал отказ от широких исторических обобщений; у А. Беляева «потеря истории» восполнялась «очеловечиванием науки»; у его продолжателей она не компенсировалась ничем. Приключения в ранней советской фантастике были естественным компонентом, порожденным самим бытом тех лет; теперь они становились внешним элементом. (В своих теоретических статьях о фантастике Беляев сознательно выдвигал это как технологический прием — в этом была заложена угроза превращения приключенчества в самоцель; утрата исторической перспективы ограничивала показ общественных классовых противоречий изображением примитивной шпионско-диверсионной деятельности враждующих разведок. Вместо развертывания, продолжения в будущее общественных социальных тенденций — преобладание научно-технической фантастики, которая поневоле (из-за отсутствия исторической перспективы) была ограничена показом локальных, хотя и интересных, научных и технических возможностей. Научно-технический па-

фос и деловитая мечта постепенно вытесняли из фантастики художественное обобщение и эмоционально-доступный образ.

Критика противоречий капиталистического общества нередко перерастала в фантастике в едкий памфлет, сатиру, гротеск. Элементы памфлета есть уже в «Человеке, потерявшем лицо» Беляева. Удачные фантастические памфлеты создали Б. Туров («Остров гориллондов») и М. Зуев-Ордынец («Панургово стадо»), высмеявшие бредовые замыслы империалистов использовать животных как солдат в борьбе с Советской Россией. Цинизм государственных деятелей империалистической Британии, извращенность отношений в мире всеобщей «купли-продажи» высмеял в своем эксцентрическом памфлете «Конец здравого смысла» Ан. Шишко, рассказав о похождениях ловкого авантюриста, который фантастическим путем приобрел сходство с принцем Уэльским. Сатирическое изображение волчьих нравов американской цивилизации дал скрывшийся под псевдонимом Рис Уилки Ли автор звонкого фантастического памфлета «Блеф». Герои «Блефа» — три молодых американца, которые выдавали себя... за марсиан. Десять лет спустя таким же «блефом» Орсон Уэллс ошеломил всю Америку. Близки по стилевым особенностям, по использованию фантастических элементов к фантастическим памфлетам упомянутые выше сатирические романы И. Эренбурга и Б. Лавренева, где также подвергалась осмеянию вырождающаяся буржуазная демократия.

Однако многие фантастические сатиры тех лет страдали мелкотемьем, ведь лишь наличие «дальнего прицела», крупномасштабность, непрерывное сопоставление настоящего с эталоном будущих веков могло позволить создать настоящую, большую сатирическую фантастику. Таким «дальним» видением обладал Вл. Маяковский. Уже его поэзии свойственны были гиперболичность, глобальность и историчность мышления. Вспомним разговор с потомками (в поэмах «Про это», «Во весь голос»). Это не формальный прием, не оригинальничанье, а внутреннее мироощущение поэта, остро чувствовавшего движение истории, слитность мировой жизни в единое целое. Исследователь творчества Маяковского, А. Метченко, удачно замечает, что, только глядя из космоса, можно было написать строки: «Дремлет мир, на Черноморский округ синь — слезищу морем обропя». Это было написано вскоре после романтической сказки «Летающий пролетарий», в которой поэт пытался

заглянуть в будущее, в быт коммунизма, в будни людей, переделавших землю и покоривших воздух.

В «Клопе» Маяковский судил мещанство от имени будущего. Это была едва ли не первая в мировой литературе попытка скрещения драматического жанра с научной фантастикой. Перенос Присыпкина в будущее для Маяковского опять-таки не формальный прием, а органическое продолжение сюжета, выражающее развитие мысли. Утопические конструкции мира будущего, эскизно набросанные Маяковским, подчинены одной цели — показать мир труда, радости и света, мир гармоничных людей и отношений, то есть всего того, что принципиально несовместимо с присыпкинским мещанством.

Интересны новаторские находки Маяковского, до сих пор не оцененные в фантастике. Прежде всего он нашел оригинальный путь решения одной из труднейших задач фантастики — «овеществления», то есть превращения в чувственную реальность, в зримый образ абстрактного понятия «тенденция развития общества». Занимаясь по преимуществу тенденциями, фантастика зачастую только иллюстрирует их. Присыпкин — живой, до ужаса живой и живучий мещанин, и его случайное воскрешение дает возможность увидеть «тенденции овеществления» в чистом, удобном для исследования виде — в стерильной (для мещанства) лаборатории будущего. По существу, Маяковский здесь «остраняет» явление, то есть моделирует его в иных, непривычных условиях, рассматривает под новым углом зрения, позволяющим взглянуть на него свежим, не утомленным привычкой взглядом.

Маяковский показывает и образец решения «проблемы человека» в фантастике. Его Присыпкин не экскурсант, разглядывающий мир будущего; нет, это законченное эгоистическое «я», нехитрую механику которого раскрывает пьеса. И это исследование сегодняшнего человека через сопоставление его с будущим тоже очень интересный и оригинальный прием; ведь в подавляющем большинстве случаев схема классической фантастики («встреча с Неведомым») исчерпывается тем, что будущее познается через сопоставление его с сегодняшним человеком.

«Баня» атакует бюрократизм с тех же позиций — требований завтрашнего дня. Заметим, как блестяще выбрал Маяковский направления главных ударов — угроза мещанства и угроза обюрокрачивания государственного аппарата; пройдут десяти-

летия, и только тогда фантасты схватятся за перья и сделают обличение именно этих тенденций (правда, уже в изменившемся виде) главной темой своего творчества.

В «Клопе» настоящее и будущее были разделены; в «Бане» они просвечивают друг сквозь друга, как реальная обстановка — сквозь Фосфорическую женщину. Фантастика в «Бане» несет иную нагрузку; это прием, позволяющий непрерывно контролировать происходящее по нормам будущего. Противостоящие силы — фантастически гротескный Главничпупс и фантастически романтическая Машина времени — условные формы воплощения не олицетворенных в реальности и враждебных сил: потока времени и плотины казенного равнодушия, преступной бюрократической системы, пытающейся остановить время, или, перефразируя Оптимистенко, удержаться за место и удержать место на месте. Посланец будущего позволяет «взглянуть со стороны» на настоящее, увидеть эти подспудные тенденции, понять величие «малых дел» настоящего.

Фантастические пьесы Маяковского, конечно, далеки от психологизма Ал. Толстого; это лежит вне их творческой установки. Они ближе к современной фантастике с ее «мыслепным экспериментированием», ставящим героев или мир в необычные условия. «Аэлиту» или «Гиперболоид» никто не назовет иначе, как фантастическими произведениями; однако, сопоставляя их с пьесами Маяковского, можно заметить, что, пожалуй, книги Толстого по внутренней схеме ближе к традиционному реалистическому ряду, чем «Клоп» или «Баня». Пьесы Маяковского — и в этом их главное, новаторское, но в те годы не замеченное значение — это прежде всего типичные «мысленные эксперименты», и в этом плане сравнивать их можно, например, с «Возвращением со звезд» Ст. Лема, «Операцией Вега» Ф. Дюрренматта или «Попыткой к бегству» А. и Б. Стругацких.

Книги Алексея Толстого и Александра Беляева, пьесы Владимира Маяковского — наиболее крупные, новаторские произведения советской фантастики 20-х годов. Но как было показано выше, они не исчерпывают всего многообразия имен, направлений, которые в совокупности образовали фундамент нашей фантастики в первое десятилетие ее существования. Деятельность «крупных» шла на фоне сложного и противоречивого развития фантастической литературы, которое мы пытались изобразить.

Таким образом, 20-е годы были очень важным этапом в становлении советской фантастики. В это время сложились некоторые устойчивые признаки ее. Это прежде всего значительно более тесная, чем в американской science fiction, связь с действительностью, с настоящим. И стремление выразить свое ощущение связанные научного развития с общественным, показать социальное значение научного открытия. И постепенно складывавшийся гуманистический идеал, воодушевлявший фантастику и в ее попытках заглянуть в будущее и при кризисе буржуазного строя. Зарождается стремление к научности самой фантастики. Появляются многочисленные варианты некоторых устойчивых тем; зарождаются жанры внутри самой фантастики.

Кое-что оттесняется временем. Романтическое ощущение глобальности событий, подвижности, изменчивости действительности, чувство истории, присущее очень несовершенным еще романам начала десятилетия, исчезает в фантастике конца этого периода; угасает и утопический жанр; ослабевают уэлловские традиции сочетания научного, социального с историческим и психологическим. Уже не внутреннее движение истории, а ее внешний, причудливый, прихотливый облик отображается фантастикой, вернее, частью ее, становится темой памфлета и гротеска. Основная масса фантастики к концу десятилетия все более тяготеет к показу научно-технического прогресса вне связи с отдаленной исторической перспективой, к показу осуществимого и близкого будущего.

Это тяготение вполне понятно психологически. Романтика «последнего» революционного натиска на твердыни капитала к концу 20-х годов полностью уступила место новой идеи — планомерного, организованного натиска на отсталость России, идеи победоносного социалистического строительства, подкрепленного научно-техническим прогрессом.

Но вспомним еще раз, как неясны были в то время пути и перспективы этого движения, какие кипели идеиные бои с его противниками! В те годы вульгаризаторы из РАППа нападали на фантастику за то, что она, дескать, отрывается от непосредственных, реальных задач, от показа близкой победы на новом пути. Между тем, не поднимаясь к будущему, отказываясь от далекого продолжения в будущее того, что только назревало в современности, фантастика неминуемо обрекала себя на скольжение по поверхности настоящего. Задачи фантастики

критика тех времен сводила к популяризации знаний, к просветительству; именно такой характер носили постоянные придики к Беляеву по поводу «отрыва от науки».

В фантастике конца 20-х годов постепенно складывался новый облик «продолженной действительности» — не той, что меняется громадными революционными скачками, а той, где расцвет общества становится прямым и автоматическим следствием научно-технического прогресса и не требует сознательной деятельности людей.

Преуменьшение сложности истории, преувеличение роли науки способствовали складыванию своеобразного «рационалистического мифа» в советской фантастике на рубеже 30-х годов. Но это уже другая история, как говорится.

Говорят ли нам что-нибудь о развитии современной фантастики этот обзор советской фантастической литературы 20-х годов?

В основных особенностях ранней советской фантастики, в присущем ей обостренном чувстве историзма, в самом факте быстрого расцвета ее в первые же годы революции ощущается, на наш взгляд, одно важное обстоятельство. Фантастика рождается не только успехами науки и техники, и связь ее с этими успехами на первых порах еще чисто внешняя и слабая. Истинная причина «взрыва фантастики» — в революционных катаклизмах, потрясших действительность, показавших идущее на глазах превращение настоящего в будущее, движение истории. Именно острое ощущение того, что на наших глазах новая действительность вторгается в старую, стоит на ее пороге, — именно оно и породило советскую фантастику с ее чувством «катастрофы» на первых порах и чувством «близкого будущего» на более поздних.

Это была фантастика, рожденная революцией и тесно связанная с ее действительностью.

# СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

1964 — 1965 годы

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

В указателе зарегистрированы отдельно изданные произведения советских фантастов, опубликованные в нашей стране на протяжении 1964—1965 годов, и рецензии на эти произведения. Не учтена литература, переведенная с зарубежных языков, а также произведения советских авторов, опубликованные в периодических изданиях, и произведения, переведенные на зарубежные языки.

При описаниях сборников перечислены произведения, включенные в сборник, чтобы можно было представить его состав.

### 1964 год

#### ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

1. Альманах научной фантастики. Вып. 1. [Сост. К. А н д р е е в]. М., «Знание», 1964, 328 стр., 115 000 экз.

Содерж.: Е. П а р в о в и М. Е м ц е в, Бунт тридцати триллионов. — Г. Г о р, Уэра. — С. Г а н с о в с к и й, День гнёва; Соприкосновенье. — А. К л а р к, До Эдема. — А. К о б о, Тоталоскоп. — Э. У. Г р и ф ф и т, Слушайте, слушайте!.. — А. Г р о м о в а, Двойной лик грядущего. — В. Ш и б и н е в, Биохимия бессмертия. — В. В о л к о в, Тайна кашалота. — В. К о м а р о в, Жизнь на Венере. Вып. 2 и 3 — см. № 55 и 56.

2. В мире фантастики и приключений. [Сборник. Сост. В. И. Д м и т р е в с к и й. Предисл. Е. Б р а н д и с а и В. Д м и т р е в с к о г о.] Л., Лениздат, 1964, 712 стр., с илл., 300 000 экз.

Содерж.: В. Н е в и н с к и й, Под одним солнцем. — И. В а р ш а в с к и й, Тревожных симптомов нет. — Г. Г о р, Электронный Мельмот. — А. Ш а л и м о в. Все началось с «Евы». — О. Л а р и о н о в а, Киска. — С. Л е м, Непобедимый. — В. Ж у р а в л е в а, Леонардо. — Р. К и м, Кто украл Пуннакана? — А. С т р у г а ц к и й и Б. С т р у г а ц к и й, Путь на Амальтею. — Г. Г у р е в и ч, Пленники астероида.

3. Лучший из миров. Сборник научно-фантастич. рассказов, отмеченный на Междунар. конкурсе фантастики семи стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. М., «Молодая гвардия», 1964, 256 стр., с илл., 115 000 экз.

4. Мир приключений. Альманах. № 10. М., «Дет. литература», 1964, 800 стр., с илл., 100 000 экз.

В альманах включены след. научно-фантастич. произведения: С. Гансовский, Восемнадцатое царство; Мечта. — И. Рosoхovatский, Виток истории. Сценарий-шутка. — Ю. Котляр, «Темное». — Е. Парнов и М. Емцев, Зеленая креветка.

Вып. 11 — см. № 61.

5. На сушу и на море. Повести, рассказы, очерки. [Вып. 5.] М., «Мысль», 1964, 608 стр., с илл.; 16 л. илл., 100 000 экз.

В сборник включены след. научно-фантастич. произведения: В. Курдакий, Дыхание Харута. — В. Глухов, Последний лемур. — М. Лейстнер, Критическая разница. — С. Лем, Путешествия профессора Тарантоги.

Вып. 6 — см. № 62.

6. Спутник. Наука, фантастика, приключения. [Сборник.] Рига, Союз журналистов Латв. ССР, 1964, 192 стр., с илл., 50 000 экз. — На латыш. яз.

7. Фантастика. 1964 год. [Сборник. Сост. Г. Смирнов.] М., «Молодая гвардия», 1964, 368 стр., 115 000 экз.

Содерж.: Г. Смирнов, Фантастика, 1964 год. — А. Стругацкий и Б. Стругацкий, Суeta вокруг дивана. — В. Савченко, Алгоритм успеха. — Е. Парнов и М. Емцев, Последняя дверь! — А. Днепров, Ферма «Станлю»; Случайный выстрел. — В. Григорьев, Рог изобилия; Дважды два старика робота; Коллега — я назвал его так. — И. Варшавский, Новое о Холмсе; «Цунами» откладывается; Секреты жанра; Происшествие на Чайн-Род; Лекции по парapsихологии; Мистер Харэм в тартарараках. — Б. Зубков и Е. Муслин, Самозванец Стамп; Синий мешок. — В. Щербаков, Кратер; Возвращение Сухарева. — Д. Жуков, Рэм и Гений. — Д. Биленкин, Прилежный мальчик и невидимка; Обыкновенная минеральная вода. — Р. Подольный, Путешествие в Англию; Впервые; Мореплавание невозможно. — Г. Альтов и В. Журавлева, Путешествие к эпицентру полемики. — Р. Яров, Пусть они скажут. — Р. Нудельман, Разговор в купе.

Вып. за 1965 г. — см. № 63, 64 и 65.

Рец.: И. Соловьева, От фантастики научной к фантастике художественной. — «Лит. Россия», 1965, 26 марта, стр. 10.

8. Формула невозможного. Фантастич. рассказы, повесть и пьеса. Баку, Азербайджан, 1964, 188 стр., 200 000 экз.

Содерж.: Е. Войсунский и И. Лукодянов, Формула невозможного. — Э. Махмудов, Лекарство из облака; Феномен. — М. Ибрагимбеков, Исчезновение Стива Брайта. — Р. Бахматов, Прыжок в высоту; Открытие. — В. Журавлева, Буря. — И. Милькин, Иду к тебе. — В. Антонов, Двенадцатая машина. — Г. Альтов, Машина открытий. — Н. Гайджали, Сокровища сгоревшей планеты. Пьеса.

## ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРОВ:

### *I. На русском языке*

#### А. Первые издания

9. Варшавский И. И., Молекулярное кафе. Научно-фантастич. рассказы. Л., Лениздат, 1964, 255 стр., с илл., 65 000 экз.  
Разделы: Автоматы и люди. — Большой космос. — Секреты жанра.  
Рец.: 1) А. Горловский, Пищающим и читающим! — «Лит. Россия», 1965, 26 марта, стр. 10—11; 2) М. Дмитриев. — «Звезда», 1964, № 11, стр. 219; 3) Л. Михайлов, Заглядывая в мир будущего. — «Нева», 1965, № 4, стр. 186; 4) В. Ревин, Секреты жанра. — «Фантастика», 1965. Вып. 1. М., 1965, стр. 278—283.
10. Велтисов Е. С., Электроник — мальчик из чемодана. Повесть-фантазия. М., «Дет. литература», 1964, 174 стр., с илл., 65 000 экз.
11. Войсунский Е. Л. и Лукодьянов И. Б., На перекрестках времени. Научно-фантастич. рассказы. [Послесловия И. Борисова и И. Розенгауза.] М., «Знание», 1964, 127 стр., 100 000 экз.  
Содерж.: Алатыры-камень. — Прощание на берегу. — На перекрестках времени. — Формула невозможного. — Полноземлие.
12. Гнедина Т. Е., Последний день туготронов. Повести-сказки. М., «Молодая гвардия», 1964, 176 стр., с илл., 115 000 экз.  
Содерж.: Последний день туготронов. — Остров на кристаллах воображения.
13. Голованов Я. К., Кузнецы грома. [Фантастич. повесть]. М., «Сов. Россия», 1964, 112 стр., 100 000 экз.  
Рец.: Н. Лагина. — «Знамя», 1964, № 4, стр. 253—254. [Рец. на публикацию в журн. «Юность», 1964, № 1.]
14. Гор Г., Докучливый собеседник. Научно-фантастич. повесть. — В кн.: Г. Гор., Университетская набережная. М.—Л., «Худож. литература», 1964, стр. 329—487.
15. Емцев М. Т. и Парнов Е. И., Падение сверхновой. Научно-фантастич. рассказы. [Послесл. В. Волкова.] М., «Знание», 1964, 152 стр., 180 000 экз.  
Содерж.: Падение сверхновой. — Запонки с кохеонидой. — Операция «Кашалот». — Угодный Солнцу. — Аналогия. — Цепная реакция. Не оставляющий следа.
16. Емцев М. Т. и Парнов Е. И., Уравнение с Бледного Нептуна. Фантастич. повести. [М.], «Молодая гвардия», 1964, 256 стр., с илл., 100 000 экз.  
Содерж.: Уравнение с Бледного Нептуна. — Душа Мира.  
Рец.: Р. Нудельман, Трагедия Арефьева. — «Лит. Россия», 1965, 23 апреля, стр. 11.
17. Ефремов И., Лезвие бритвы. Роман приключений. [М.], «Молодая гвардия», 1964, 638 стр., с илл.; 8 л. илл., 115 000 экз.  
См. также № 92.

Рец.: 1) В. Быстров, «Воспитать человека!» — «Дон», 1964, № 1, стр. 161—164; 2) И. Золотуский, Ценность эксперимента. — «Москва», 1964, № 4, стр. 213—216; 3) Л. Крайнов, Книга серьезная и нужная. — «Горьк. правда», 1963, 1 декабря; 4) А. Лебедев, На грани или за границу? — «Новый мир», 1964, № 4, стр. 236—239; 5) К. Платонов, Сквозь призму фантастики. — «Комсомольская правда», 1965, 20 февраля; 6) В. Сурганов, «Лезвие братьев» Ивана Ефремова. — «Лит. Россия», 1964, 6 марта, стр. 18—19; 7) В. Турбин, Апокрифы нашего времени. — «Молодая гвардия», 1964, № 8, стр. 282—299. — Часть рецензий рассматривает публикацию романа в журн. «Нева», 1963, № 6—9.

18. Ефремов И., Сердце змеи. [Повести и рассказы.] М., «Дет. литература», 1964, 366 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Встреча над Тускарой. — Озеро Горных Духов. — Олгой-Хорхой. — Белый Рог. — Бухта радужных струй. — Обсерватория Нури-Дешт. — Тень минувшего. — Сердце змеи. — Юрта Ворона. — Афандеор, дочь Ахархеллена.

Рец.: В. Мотяшов, Первооткрыватели. — «Учительская газ.», 1965, 28 сентября.

19. Казанцев А. П., Льды возвращаются. Фантастич. роман. [М.], «Сов. Россия», 1964, 479 стр., с илл., 200 000 экз.

Рец.: 1) С. Иванов, Солнце будет светить! — «Красная звезда», 1965, 26 ноября; 2) Ф. Левин, На грани пародии. — «Лит. Россия», 1965, 26 ноября, стр. 16—17; 3) Д. Петров, О некоторых важных вопросах научной фантастики. — «Сиб. огни», 1965, № 4, стр. 177—183; 4) В. Ревич, Лед и пламень. — «Новый мир», 1965, № 6, стр. 255—257; 5) Е. Фадеевич, Тепло доброй фантазии. [Рец. на публикацию в журн. «Дон», 1963, № 10—11 и 1964, № 1—3] — «Учитольская газ.», 1964, 12 декабря.

20. Колпаков А., Море мечты. Научно-фантастич. повесть и рассказ. М., «Сов. Россия», 1964, 73 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Море мечты. Повесть. — Альфа Эридана.

21. Коннова А. В., Осколки тяжести. Фантастич. повести. [Иркутск, Вост.-Сиб. книж. изд-во, 1964.] 216 стр., с илл., 65 000 экз.

Содерж.: Осколки тяжести. — Голос вечности.

22. Кутуй А., Приключения Рустема. [Фантастич. роман. Перев. с татар. Р. Кутуй.] Казань, Таткнигоиздат, 1964, 84 стр., с илл.: 4л. илл., 150 000 экз.

23. Михановский В., Тайна одной лаборатории. Фантастич. рассказы. Харьков, «Пропор», 1964, 287 стр., с илл., 65 000 экз.

Рец.: В. Владко, Удачный дебют. — «Правда Украины», 1965, 30 мая.

24. Немченко М. П. и Немченко Л. Д., Летящие к братьям. [Фантастич. рассказы]. Свердловск, Сред.-Уральское книж. изд-во, 1964, 133 стр., с илл., 30 000 экз.

Содерж.: Летящие к братьям. — «Н. М.». — Тайна Чарльза Робинса. — Случай на полуострове Маяковского. — Преимущества живых. — Там, за Плутоном. — Пари. — Земля Юавов.

Рец.: О. Коряков, Бригантина поднимает паруса. — «Уральский рабочий», 1964, 8 декабря.

25. Новиков В., Путешествие «Геоса». [Научно-фантастич. повесть.] Алма-Ата, Казгослитиздат, 1964, 136 стр., с илл., 110 000 экз.

Рец.: 1) М. Симашко, Повесть о людях будущего. — «Простор», 1965, № 1, стр. 95—96; 2) Худосочный кибер. — «Лит. газ.», 1965, 19 июня.

26. Полещук А. Л., Падает вверх. Научно-фантастич. повесть. [М.], «Молодая гвардия», 1964, 222 стр., с илл., 115 000 экз.

Рец.: И. Питляр, «Падает вверх», или немного о законах восприятия... — «Фантастика», 1965». Вып. 1. М., 1965, стр. 273—277.

27. Рич В. и Черненко М., Мушкетеры. Фантастич. повесть. М., «Дет. литература», 1964, 174 стр., с илл., 75 000 экз.

28. Сарсекеев М., Волнистый ток. Научно-фантастич. повесть. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1964, 169 стр., с илл., 20 000 экз.

29. Стругацкий А. и Стругацкий Б., Далекая радуга. Фантастич. повести. [Послесл. Р. Нудельмана.] М., «Молодая гвардия», 1964, 335 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Далекая радуга. — Трудно быть богом.

Рец.: 1) К. Андреев, Почти такие же... — «Лит. газ.», 1965, 27 мая; 2) А. Громова, Молнии будут служить добру. — «Лит. Россия», 1965, 26 марта, стр. 11; 3) В. Ревич, Прекрасно быть человеком. — «Вечерняя Москва», 1964, 16 сентября.

30. Томан Н., В созвездии трапеции. [Фантастич. повесть.] М., «Дет. литература», 1964, 173 стр., с илл., 100 000 экз.

Рец.: С. Баруздин. — «Октябрь», 1965, № 4, стр. 223—224.

## Б. Повторные издания

31—34. Беляев А. Р., Собрание сочинений в 8 томах. М., «Молодая гвардия», 1964, 200 000 экз.

Т. 5. Прыжок в ничто. — Воздушный корабль. 400 стр., с илл.; 8 л. илл.

Т. 6. Звезда КЭЦ. — Лаборатория дубль-вэ. 462 стр., с илл., 6 л. илл.

Т. 7. Человек, напечатавший свое лицо. — Ариэль. 339 стр., с илл.; 8 л. илл.

Т. 8. Рассказы. [Сост. Б. Япунов. Биогр. очерк О. Орлова] — Библиогр. сост. Б. Япунов. 527 стр., с илл.; 8 л. илл.

Тт. 1—4 вышли в 1963 г.

35. Ефремов И. А., Туманность Андромеды. [Научно-фантастич. роман. Архангельск.] Сев.-Зап. книж. изд-во, 1964, 303 стр., 90 000 экз.

См. также № 93.

36. Обручев В. А., Плутония. Земля Санникова. [Научно-фантастич. романы. Челябинск.] Южно-Уральское книж. изд-во, 1964, 463 стр., с илл., 75 000 экз. См. также № 94 и 104.

См. также № 38, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53 и 54.

## II. На языках народов СССР

37. А б а ш е л и А., Женщина в зеркале. Фантастич. роман. Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1964, 210 стр., с илл., 30 000 экз. — На груз. яз.
38. А д а м о в Г. Б., Тайна двух океанов. [Научно-фантастич. роман Перев. М. Мкртчяна.] Ереван, Айпетрат, 1964, 584 стр., с илл., 20 000 экз. — На арм. яз.  
См. также № 95.
39. Б е л я е в А. Р., Человек-амфибия. Научно-фантастич. роман. [Перев. Н. Камилова.] Ташкент, «Ёш гвардия», 1964, 236 стр., с илл., 20 000 экз. — На узбек. яз.  
См. также № 97.
40. Б е л я е в А., Человек, нашедший свое лицо. [Научно-фантастич. роман. Перев. В. Саакяна.] Ереван, Айпетрат, 1964, 463 стр., с илл., 30 000 экз. — На арм. яз.
41. В а н ю ш и н В. Ф., Вторая жизнь. [Научно-фантастич. роман. Перев. К. Толбаяев.] Фрунзе, «Кыргызстан», 1964, 276 стр., с илл., 3500 экз. — На киргиз. яз.
42. Г е р а с и м е н к о Ю. Г., Когда умирает бессмертный. [Фантастич. повесть.] Киев, Гослитиздат Украины, 1964, 244 стр., с илл., 15 000 экз. — На укр. яз.
- Рец.: В. Холод, Обличающая фантастика. — «Красное знамя». Харьков, 1965, 27 февраля.
43. Ж у р а в л е в а В. Н., Поправка па икс. [Научно-фантастич. рассказы. Перев. Ф. М. Дицько.] Киев, «Молодь», 1964, 103 стр., с илл., 30 000 экз. — На укр. яз.
44. М а х м у д о в Э., Исчезнувшие звуки. [Научно-фантастич. рассказы и драма.] Баку, Азернешр, 1964, 88 стр., с илл., 7000 экз. — На азербайдж. яз.
45. П о л е щ у к А. Л., Ошибка Алексея Алексеева. Фантастич. повесть. [Перев. А. Иманалиев.] Фрунзе, «Кыргызстан», 1964, 171 стр., 4000 экз. — На киргиз. яз.  
См. также № 106.
46. Р о с о х о в а т с к и й И. М., Стрелки часов. [Научно-фантастич. повесть.] Киев, «Рад. письменник», 1964, 48 стр., 25 000 экз. — На укр. яз.
47. С а в ч е н к о В., Привидение времени. [Научно-фантастич. повесть. Перев. с русск. В. Р. Лихогруд и Н. И. Свеникова.] Киев, «Молодь», 1964, 122 стр., с илл., 30 000 экз. — На укр. яз.
48. С а п а р и н В., Суд над Танталусом. [Научно-фантастич. рассказы. Перев. В. Василян.] Ереван, Айпетрат, 1964, 260 стр., с илл., 10 000 экз. — На арм. яз.
49. С т р у г а ц к и й А. и С т р у г а ц к и й Б., Стажеры. [Научно-фантастич. повесть. Перев. В. Милюнас.] Вильнюс, Госполитиздат, 1964, 15 000 экз. — На литов. яз.

50. Султанбеков Т., Кочующее золото. [Научно-фантастич. рассказы.] Алма-Ата, Карагослитиздат, 1964, 91 стр., с илл., 9100 экз. — На казах. яз.

51. Теплов Л., Странные истории. [Научно-фантастич. рассказы. Перев. Н. И. Тищенко.] Киев, «Молодь», 1964, 111 стр., с илл., 43 000 экз. — На укр. яз.

52. Толстой А. Н., Гиперболоид инженера Гарина. [Роман. Перев. М. Рзакулидзе.] Баку, Азернешр, 1964, 305 стр., с илл., 10 000 экз. — На азербайдж. яз.

53. Томан Н. В., Говорит Космос! [Научно-фантастич. повести. Перев. Ж. Рахматулин.] Фрунзе, «Мектеп», 1964, 204 стр., с илл., 3000 экз. — На киргиз. яз.

54. Циолковский К. Э., Вне Земли. [Научно-фантастич. повесть. Перев. Ф. Хасанов.] Казань, Таткнигоиздат, 1964, 182 стр. — На татар. яз.

См. также № 6.

## 1965 год

### ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

55. Альманах научной фантастики. [Вып. 2.] М., «Знание», 1965, 296 стр., 215 000 экз

Содерж.: А. Днепров, Голубое зарево. — Е. Войскунский и И. Лукодемьяннов, Трое в горах. — И. Варшавский, Гомункулус; Перпетуум мобиле. — С. Лем, Странный гость профессора Тарантоги; Сказка о цифровой машине, которая сражалась с драконом; Автоинтервью. — А. Громова, Лем смеется. — Д. Финней, О пропавших без вести. — А. Азимов, Паштет из гусиной печеники.

Вып. 1 и 3 — см. № 1 и 56.

56. Альманах научной фантастики. Вып. 3. [Сост. Е. Брандис и В. Дмитревский.] М., «Знание», 1965, 280 стр., 215 000 экз.

Содерж.: О. Ларионова, Леопард с вершины Килиманджаро. Роман. — Г. Гор, Ольга Нсу. — И. Варшавский, Предварительные изыскания. — А. Шалимов, Концентратор гравитации. — Л. Биггл-младший, Музыкодел. — А. Кларк. Стена мрака.

57 и 58. Библиотека фантастики и путешествий. В 5 томах. Приложение к журн. «Сельская молодежь». М., «Молодая гвардия», 1965, 47 000 экз.:

Т. 1. А. Громова, Поединок с собой. — А. Днепров, Уравнение Максвелла; Мир, в котором я исчез; Машина «ЭС, модель № 1»; Крабы идут по острову. — Г. Альтов, «Богатырская симфония»; Полигон «Звездная река»; Икар и Дедал; Сверхновая Аретина; Огненный цветок. — И. Варшавский, Экзамен; Путешествие в Ничто; Под ногами Земля; Пути, которые мы выбираем; Опыт профессора Эрдоха. 431 стр.

Т. З. И. Ефремов, Сердце Змеи; Последний марсель. — А. Стругацкий и Б. Стругацкий, Далекая радуга. — С. Гансовский, Шаги в неизвестное; Новая сигнальная. — Д. Биленкин, Прилежный мальчик и невидимка; Обыкновенная минеральная вода; Грозная звезда; Гость из времени; Опасность спокойствия. — В. Григорьев, Рог изобилия; И ничто человеческое нам не чуждо; Коллега — я называл его так; А могла бы и быть...; Весна инженера Петрова. 416 стр.

59. Вас зовут «Четверть третьего»? Сборник научно-фантастич. рассказов и повестей. Свердловск, Сред.-Уральское книж. изд-во, 1965, 306 стр., 85 000 экз.

Содерж.: М. Гренинов. Маша; Золотой лотос. — И. Рогоховатский, Разрушенные ступени; Встреча во времени. — С. Гансовский, Миша Перышкин и антимир. — А. Шейкин, Ангелы. — М. Немчевко и Л. Немчевко, Только человек; Бог и беспокойная планета. — В. Служкин и Е. Карапашев, Вас зовут «Четверть третьего»? — И. Давыдов, Девушка из Пантикея. — Ю. Котляр, Расплата. — В. Крапивин, Я иду встречать брата.

60. Знак зодиака. Сборник научно-фантастич. рассказов. Киев, «Веселка», 1965, 136 стр., с илл., 65 000 экз. — На укр. яз.

61. Мир приключений. Альманах № 11. М., «Дет. литература», 1965, 784 стр., с илл., 100 000 экз.

В альманах включены след. научно-фантастич. произведения: Г. Альтов, Шальная компания. — С. Гансовский, Чужая планета. — М. Емцев и Е. Парков, Только четыре дня. Фантастич. повесть. — Р. Яров, Нужно, чтоб чувствовалася... — К. Булычев, Девочка, с которой ничего не случится. Рассказы о жизни маленькой девочки в XXI веке, записанные ее отцом. — Б. Ляпунов, Любителям научной фантастики. [Обзор изданий за 1961—1964 гг.]

Вып. 10 — см. № 4.

62. На суще и на море. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. [Вып. 6.] М., «Мысль», 1965, 646 стр., с илл.; 16 л. илл., 105 000 экз.

В сборник включены след. научно-фантастич. произведения: Г. Чижевский, За завесой огня. — Е. Иорданишивили, Объект Мейолла. — Б. Лавренко, Загадки пучины. — Б. Борин, Земное притяжение. — Н. Шульц, Тайна древнего манускрипта. — И. Рогоховатский, Разрушенные ступени. — Р. Брэдбери, Здесь воятся тигры.

Вып. 5 — см. № 5.

63. Фантастика, 1965. Вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1965, 287 стр., 165 000 экз.

Содерж.: В. Сапарин, Чудовище подводного каньона. — А. Диопров, Интервью с регулировщиком уличного движения. — И. Варшавский, В атолле; Решайся, пилот! — Б. Зубков и Е. Мусили, Бочная машина; Бунт. — Г. ОナンЯП, Цель. — Ю. Иоффе, Мальчишки; Земное небо. — А. Львов, Мой старший брат, которого не было. — З. Юрьев, Финансист на четвереньках. — А. Закгейм, Соперник времени. — Б. Гурфинкель, Эмоция жалости. — М. Перельман, «Развлекательная литература» и научный сотрудник. — Критика: В. Травинский, Модель характерной ошибки. — И. Питляр,

«Падает вверх», или немного о законах восприятия... — В. Ревич, Секреты жанра. — Библиография фантастики, 1963 — 1964 гг. Вып. за 1964 г. — см. № 7.

64. Фантастика, 1965. Вып. 2. [Сост. А. Стругацкий.] М., «Молодая гвардия», 1965, 360 стр., 165 000 экз.

Содерж.: Г. Гор, Мальчик. — А. Громова, В круге света. — В. Берестов, Алло, Парнас! — А. Львов, Человек с чужими руками. — Г. Альтов, Порт Каменных Бурь. — А. Шаров, Остров Пиратов. — Р. Яров, Основание цивилизации. — В. Ревич, Сенсация. — О. Ларионова, Пока ты работала. — М. Каганов, За что мы любим научную фантастику. — Д. Биленкин. Фантастика и подделка. — Н. Разговоров, Блеск и нищета роботов.

65. Фантастика, 1965. Вып. 3. [Сост. В. Ревич.] М., «Молодая гвардия», 1965, 224 стр., 165 000 экз.

Содерж.: Н. Соколова, Захвати с собой улыбку на дорогу... — М. Аничаров, Сода-солице. — Р. Казакова, Эксперимент. — Г. Максимов, Последний порог. — Н. Эйдельман, Пра-пра... — В. Ревич, Штурмовая неделя. — Ю. Кагарлицкий, Был ли Свифт научным фантастом?

См. также № 107.

## ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРОВ

### *I. На русском языке*

#### А. Первые издания

66. Варшавский И. И., Человек, который видел антимир. Научно-фантастич. рассказы. [Предисл. Е. Брандиса и В. Дмитревского.] М., «Знание», 1965, 133 стр., с илл., 115 000 экз.

Содерж.: Гомункулус. — Поединок. — Прищельцы. — СУС. — Перpetуумobile. — Конфликт. — Пари. — Опасная зона. — Дельтариум. — Маскарад. — Джейн. — Экзамен. — Путешествие в ни-что. — Под ногами Земля. — Пути, которые мы выбираем. — Опыт профессора Эрдоха. — Диктатор. — На пороге бессмертия. — «Цунами» откладываютяся. — Человек, который видел антимир.

67. Винник А. Я., Сумерки Бизнесонии. Фантастич. повести-памфлеты. Довецк, «Донбасс», 1965, 304 стр., с илл., 65 000 экз.

Содерж.: Тайна доктора Хента. — Охота за невидимками. — Катастрофа в Мерятауне. — Фиолетовый шар.

68. Гансовский С. Ф., Шесть гениев. Научно-фантастич. повесть и рассказы. М., «Знание», 1965, 238 стр., с илл., 115 000 экз.

Содерж.: Шесть гениев. — Соприкосновение. — День гнева. — Голос. — Двоое.

69. Гуревич Г. И., Мы из солнечной системы. Научно-фантастич. повесть. М., «Мысль», 1965, 415 стр., с илл., 75 000 экз.

70. Днепров А., Пурпурная мумия. М., «Дет. литература», 1965, 285 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Импульс «Д». — Уравнение Максвелла. — Пурпурная мумия. — Когда задают вопросы. — Новое направление. — Суэма. — Игра. — Случайный выстрел. — Крабы идут по острову. — Полосатый Боб. — Электронный молот. — Перпетуум-мобилю. — Прямое доказательство.

Рец.: В. Мотяшов, Первооткрыватели. — «Учительская газ.», 1965, 28 сентября.

71. Емцев М. Т. и Парнов Е. И., Последнее путешествие полковника Фосетта. Фантастико-приключенч. рассказы. М., «Молодая гвардия», 1965, 223 стр., с илл., 115 000 экз.

Содерж.: Лоцман Кид. — Последнее путешествие полковника Фосетта. — De profundis. — Из глубины. — Снежок. — Фигуры на плоскости.

72. Забелин И. М., Загадки Хаирхана. Записки хроноскописта. Научно-фантастич. повести. М., «Сов. Россия», 1965, 304 стр., с илл., 74 000 экз.

Содерж.: Долина Четырех Крестов. — Легенда о «земляных людях». — Загадки Хаирхана. — Сказы о братстве. — «Найти и не сдаваться». — Устремленные к небу.

73. Залуцкий А. Т., Трои в одном. Научно-фантастич. повесть. Фрунзе, «Мектеп», 1965, 151 стр., с илл., 6000 экз.

Рец.: И. Соловьева, Но книга-то издана... — «Лит. Россия», 1966, 13 мая, стр. 10.

74. Зориев Э. П., Следы ведут в Карагаш. (Пришельцы с Аристилла.) Фантастико-приключенч. повесть. Ташкент, «Ёш гвардия», 1965, 192 стр., с илл., 30 000 экз.

75. Мартынов Г., Гианэн. Фантастич. роман. Л., «Дет. литература», 1965, 278 стр., с илл., 100 000 экз.

Рец.: В. Мотяшов, Первооткрыватели. — «Учительская газ.», 1965, 28 сентября.

76. Мееров А. А., Сиреневый кристалл. Записки Алексея Курбатова. Научно-фантастич. роман. М., «Мысль», 1965, 389 стр., с илл., 150 000 экз.

77. Немцов В. И., Альтаир. (Счастливая звезда.) Научно-фантастич. роман. — Осколок солнца. Научно-фантастич. повесть. — Последний полустанок Романа. М., «Сов. писатель», 1965, 839 стр., с илл., 75 000 экз.

78. Полещук А. Л., Великое Делавие, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой. Фантастич. повесть [2-е изд.]. М., «Дет. литература», 1965, 192 стр., с илл., 75 000 экз.

79. Реймерс Г. К., Загадка впадины Лао. Фантастич. повести. Тула, Приокское книж. изд-во, 1965, 152 стр., с илл., 75 000 экз.

Содерж.: Загадка впадины Лао. — Соната-фантазия.

80. Сергеев Д. Г., Доломитовое ущелье. Фантастика и приключе-

ния. Рассказы. Иркутск, Вост.-Сиб. книж. изд-во, 1965, 192 стр., с илл., 75 000 экз.

Содерж.: Севка. — Пророчество черного дракона. — Пациент профессора Бравина. — Поединок динозавров. — Пластиинка из развалин Керкинитиды. — Доломитовое ущелье. — Древняя долина.

81. Станюкович К., Тайну охраняет пламя. Фантастич. рассказы и повести. Душанбе, «Ирфон», 1965, 231 стр., с илл., 50 000 экз.

Содерж.: Тайну охраняет пламя. — Обратите внимание на волнение озера в полдень. — Человек, который его видел. — Удивительный луч профессора Комачко.

Рец.: 1) Б. Голодовский, Осторожно, брак! — В мире книг, 1965, № 7, стр. 18; 2) В. Маштаков, По следам тайн и легенд. — «Коммунист Таджикистана», 1965, 19 марта.

82. Стругацкий А. Н. и Стругацкий Б. Н., Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста. М., «Дет. литература», 1965, 223 стр., 100 000 экз.

83. Стругацкий А. Н. и Стругацкий Б. Н., Хищные вещи века. Фантастич. повести. [Предисл. И. Ефремова] М., «Молодая гвардия», 1965, 319 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Попытка к бегству. — Хищные вещи века.

Рец.: 1) В. Ган, Верните душу людям! — «Знание — сила», 1966, № 2, стр. 48; 2) М. Федорович, Не только занимательное чтение. — «Лит. газ.», 1966, 10 февраля.

84. Тейдриков В. Ф., Путешествие длиной в век. Научно-фантастич. повесть. Вологда, Сев.-Зап. книж. изд-во, 1965, 120 стр., 100 000 экз.

Рец.: 1) Д. Нагаев, Далекие будни. — «Лит. Россия», 1965, 26 марта; 2) В. Смилга, Фантастическая наука и научная фантастика. [Рец. на публикацию в журн. «Наука и жизнь», 1963, № 9—12.] — «Знание — сила», 1964, № 12, стр. 22—26.

85. Шагурина И., Тайна декабриста. Приключенч. и научно-фантастич. повести и рассказы. Красноярск, Книж. изд-во, 1965, 136 стр., с илл., 30 000 экз.

Содерж.: Повести: Тайна декабриста. — Операция «Синий гном». — Рассказы: Задача с тремя неизвестными. — Возвращение звездного охотника. — Межпланетный патруль.

86. Шалимов А., Когда молчат экраны. Научно-фантастич. повести и рассказы. Л., «Дет. литература», 1965, 205 стр., с илл., 100 000 экз.

Содерж.: Повести: Цена бессмертия. — Когда молчат экраны. — Рассказы: Стажировка. — Концентратор гравитации. — Пленник кратера Арзахель.

87. Шефнер В. С., Девушка у обрыва, или Записки Ковригина. — В кн.: В. С. Шефнер, Счастливый неудачник. М. — Л., «Сов. писатель», 1965, стр. 245—462.

88. Шпаков Ю., Один процент риска. Научно-фантастич. рассказы и повесть. Кемерово, Книж. изд-во, 1965, 147 стр., с илл., 50 000 экз.  
Содерж.: Рассказы: Один процент риска. — Алхимик. — Вымпел. — Корабль остается на орбите. — Повесть: Здравствуйте, братья!  
Рец.: М. Крюков, Кузбасс, 1966, 24 стр.

89. Яновский Ю. Л., Аристотель двадцатого века. Фантастич. повести. Ростов-на-Дону, Книж. изд-во, 1965, 192 стр., с илл., 30 000 экз.  
Содерж.: Аристотель двадцатого века. — Лонговит. — Эстафета времени.

Рец.: К. Самарин, Грядущее не придет само. — «Молот», Ростов-на-Дону, 1965, 12 ноября.

### Б. Повторные издания

90. Беляев А. Р., Голова профессора Доуэля. — Человек, нашедший свое лицо. Научно-фантастич. повести. Мурманск, Книж. изд-во, 1965, 325 стр., с илл., 100 000 экз.

91. Гуревич Г., Пленники астероида. Научно-фантастич. повести и рассказы. [Изд. 2-е, доп.] М., «Дет. литература», 1965, 269 стр., с илл., 75 000 экз.

Содерж.: Прохождение Немеиды. — Пленники астероида. — Функция Шорипа. — Первый день творения. — Мы — с переднего края. — Аст Ллун — архитектор неба.

92. Ефремов И., Лезвие бритвы. Роман приключений. М., «Молодая гвардия», 1965, 638 стр., с илл., 100 000 экз.  
См. также № 17.

93. Ефремов И. А., Туманность Андромеды. — Звездные корабли. [Предисловия: Е. Брандис и В. Дмитревский; М. Емцев и Е. Парнов.] М., «Молодая гвардия», 1965, 464 стр.; портр. (Б-ка соврем. фантастики. Т. 1.) 215 000 экз.

См. также № 35.

94. Обручев В. А., Путешествия в прошлое и будущее. Научно-фантастич. произведения. [Изд. 2-е, доп.] М., «Наука», 1965, 243 стр., с илл.; 1 л. портр., 75 000 экз. — См. также № 36 и 104.

См. также № 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и 110.

### II. На языках народов СССР

95. Адамов Г., Тайна двух океанов. Переv. Л. Аминов. Ташкент. «Ещ гвардия», 1965, 526 стр., с илл., 20 000 экз. — На узбек. яз.  
См. также № 38.

96. Бодзик Ю., Над планетой — «Левиниан». Фантастич. повесть. Киев, «Рад. письменник», 1965, 243 стр., с илл., 65 000 экз. — На укр. яз.

97. Беляев А., Человек-амфибия. Роман. [Перев. М. Сарсекеев.] Алма-Ата, «Жазушы», 1965, 207 стр., с илл., 155 000 экз. — На казах. яз.  
См. также № 39.

98. Бережной В., Истина рядом. Фантастич. повесть. Киев, «Рад. письменник», 1965, 159 стр., с илл., 65 000 экз.— На укр. яз.
99. Владко В., Фиолетовая гибель. Фантастич. повесть. Киев, «Молодь», 1965, 194 стр., с илл., 45 000 экз.— На укр. яз.
100. Герасименко Ю., Каждый увидит солнце. Фантастич. повести и рассказы. Харьков, «Пропор», 1965, 246 стр., с илл., 15 000 экз.— На укр. яз.
101. Голубев Г., Огонь-хранитель. Научно-фантастич. повесть. [Перев. с рус. В. Костюченко.] Киев, «Веселка», 1965, 163 стр., с илл., 30 000 экз.— На укр. яз.
102. Днепров А. П., Сурма. Научно-фантастич. повесть. [Перев. с рус. В. Данилейко.] Киев, «Веселка», 1965, 112 стр., с илл., 65 000 экз.— На укр. яз.
103. Журавлева В., Человек, создавший Атлантиду. Научно-фантастич. рассказы. [Перев. И. Капницием.] Рига, «Лиесма», 1965, 127 стр., с илл., 30 000 экз.— На латыш. яз.
104. Обручев В. А., Плутония. Научно-фантастич. роман. [Перев. Ж. Умуралиев.] Фрунзе, «Мектен», 1965, 344 стр., с илл., 3500 экз.— На киргиз. яз.  
См. также № 36 и 94.
105. Полещук А., Звездный человек. Фантастич. повесть. [Перев. с рус. П. Гилюнас и Е. Рамонайтене.] Вильнюс, «Вага», 1965, 260 стр., с илл., 65 000 экз.— На литов. яз.
106. Полещук А. Л., Ошибка Алексея Алексеева. Научно-фантастич. повесть. [Перев. с рус. В. Крекотень.] Киев, «Веселка», 1965, 220 стр., с илл., 65 000 экз.— На укр. яз.  
См. также № 45.
107. Попытка к бегству. Научно-фантастич. рассказы. Сборник. [Перев. с рус. Р. Томинг.] Таллин, «Ээсти раамат», 1965, 358 стр., с илл.; 6 л. илл., 30 000 экз.— На эстон. яз.
108. Сейталиев М., Путешествие в века. Фантастич. поэма. Фрунзе, «Мектеп», 1965, 74 стр., с илл., 2500 экз.— На киргиз. яз.
109. Смолич Ю., Прекрасные катастрофы. Научно-фантастич. романы. Киев, «Рад. письменник», 1965, 412 стр., с илл., 100 000 экз.— На укр. яз.
110. Шалимов А., Тайна Гремящей расщелины. Научно-фантастич. рассказы и повести. [Перев. Я. Озолс.] Рига, «Лиесма», 1965, 285 стр., с илл., 30 000 экз.— На латыш. яз.

Указатель составил  
РАТМИР ТУМАНОВСКИЙ

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя . . . . .	6
Д. Биленкин, Десант на Меркурий . . . . .	9
З. Юрьев, Башня Мозга . . . . .	58
П. Багряк, Кто? . . . . .	126
М. Анчаров, Голубая жилка Афродиты . . . . .	177
И. Суханова, Ошибка размером в столетие . . . . .	240
В. Щербаков, «Мы играли под твоим окном...» . . . . .	273
Р. Яров, Неизвестная планета . . . . .	284
Экспериментальный квартал . . . . .	285
Б. Зубков, Е. Муслип, Призраки . . . . .	288
Роботы улыбаются . . . . .	325
Р. Пудельман, Фантастика, рожденная революцией . . . . .	330
Р. Тумановский, Библиографический указатель . . . . .	370

Фантастика., 1966. Вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1966.  
384 с. (Фантастика. Приключения.  
Путешествия.)

P2

Редактор А. Лобанова  
Художник И. Огурцов  
Худож. редактор А. Степанова  
Техн. редактор Н. Михайлова

А00776. Подп. к печ. 14/II 1967 г.  
Бум. 60×84 $\frac{1}{16}$ . Печ. л. 24(22,32). Уч.-  
изд. л. 21,9. Тираж 65 000 экз. Заказ  
1809. Цена 78 коп. Т. П. 1966 г., № 246.

Типография «Красное знамя» изд-ва  
«Молодая гвардия». Москва, А-30,  
Сущевская, 21.



78 коп.

ФАНТАСТИКА 1966

3

ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ